М. КАРАТЕЕВ



ЖЕЛЕЗНЫЙ ХРОМЕЦ

ВОЗВРАЩЕНИЕ

ИСТОРИЧЕСКИЕ
РОМАНЫ

конец XIV—
начало XV веков

М. КАРАТЕЕВ

ЖЕЛЕЗНЫЙ ХРОМЕЦ

ВОЗВРАЩЕНИЕ



МОСКВА — 1992
«Апрель»

На обложке использован рисунок В. Уварова.
Оформление художника В. Виганта.

Каратеев М. Д.
Железный Хромец. Возвращение: Исторические романы. М.: «Апрель». — 1992. 400 с.

Исторические романы «Железный хромец» и «Возвращение» завершают пятитомную эпопею «Русь и Орда» и в увлекательной форме повествуют о жизни Руси и соседних с ней государств в конце XIV — начале XV веков.

ISBN 5—85031—001—0

СЮЖЕТНАЯ ЛИНИЯ ПРЕДЫДУЩИХ КНИГ

В 1338 году умер великий князь Пантелеймон Мстиславич — внук святого Михаила Черниговского и государь независимого в ту пору княжества Карачевского. На княжение в Карачеве вступил его единственный сын и законный наследник — молодой князь Василий Пантелеевич. Но вскоре против него составили заговор подчиненные ему удельные князья — его дяди Тит Мстиславич Козельский и Андрей Мстиславич Звенигородский. Посланный ими в Орду княжич Святослав Титович сумел очернить перед золотоордынским ханом Узбеком князя Василия и получить ярлык на княжение в Карачеве для своего отца.

Однако, опасаясь того, что Василий Пантелеевич без борьбы не уйдет из Карачева, заговорщики, прежде чем объявить ему ханскую волю, пригласили его якобы на семейный совет в город Козельск и тут попытались схватить. Но князю Василию удалось вырваться из западни, причем он зарубил насмерть князя Андрея Звенигородского. После этого, спасаясь от гнева хана Узбека, он вынужден был бежать в зауральскую Белую Орду, которая находилась в острой вражде с Золотой Ордой, подвластной хану Узбеку.

Великий хан Белой Орды — Мубарек-ходжа, принял князя Василия хорошо, вскоре женил его на своей племяннице — царевне Фейзуле и дал ему улус в Заралье. Год спустя от этого брака родился сын, получивший у татар имя Карач-мурзы. Еще несколько месяцев спустя князь Василий погиб от предательской стрелы завистника, а мальчик остался в Орде, у своей татарской родни. Он рос и воспитывался как татарский царевич, но при нем до четырнадцатилетнего возраста неотлучно находился бывший стремянный его отца — Никита Толбугин, который научил его говорить по-русски и сумел навсегда привить ему любовь и уважение к Руси.

Карач-мурза, вместе со своим двоюродным братом и сверстником — царевичем Тохтамышем, отрочество провел в городе Сыгнаке, при дворе своего деда, великого хана Чимтая. Отличаясь любовью к знаниям, позже он отправился в город Ургенч — столицу Хорезма и крупнейший культурный центр Средней Азии, там получил хорошее образование и женился на Наир, дочери хорезмийского эмира. От этого брака вскоре родились сыновья-погодки, Рустем и Юсуф.

В молодых годах Карач-мурза вступает на службу в качестве темника[1] к золотоордынскому хану Азизу-ходже. Три года спустя последний отправляет его послом на Русь для разбора тяжбы между враждующими князьями Московским и Тверским. Здесь, под влиянием митрополита Алексея, он становится верным другом Московского князя Дмитрия Ивановича (впоследствии Донского) и решает дело в его пользу.

Закончив свою миссию в Москве, Карач-мурза, под видом русского боярина, отправляется в отчину своих русских предков — княжество Карачевское, которое в ту пору находилось уже под властью Литвы, а княжил в Карачеве злейший враг его отца — Святослав Титович, женатый на дочери литовского государя Ольгерда.

Случайно оказавшись гостем карачевского помещика Софонова, Карач-мурза задерживается в его усадьбе, и тут расцветает любовь между ним и молодой вдовой Ириной, которую все (и она сама в том числе) считают родной дочерью Софонова. Но ее мать, узнав, кем является в действительности их гость, немедленно отсылает Ирину к родственникам в другой город, а Карач-мурзе, который в это время лежит раненый (на охоте лосем), открывает тайну: Ирина — его сестра, незаконная дочь князя Василия Пантелеевича.

Выздоровев, Карач-мурза возвращается в Орду и тут узнает, что хан Азиз-ходжа свергнут с престола и убит своим соперником. У него просит защиты и помощи вдова убитого хана — Тулюбек-ханум. Собрав в своем улусе достаточно войска, год спустя Карач-мурза помогает ей овладеть золотоордынским престолом. В течение трех лет оставаясь при ней первым советником и наиболее влиятельным лицом в Сарае, он успевает оказать важные услуги Московскому князю Дмитрию Ивановичу, затем, потеряв расположение ханши, уезжает

[1] Темник — начальник десятитысячного отряда войска.

в Ургенч, к своей семье. Тут его находит друг детства — царевич Тохтамыш, который в это время готовится, при поддержке Тимура, вступить со своим дядей — Урус-ханом — в борьбу за Белоордынский престол. Он уговаривает Карач-мурзу помочь ему в этом, последний соглашается и навсегда связывает свою судьбу с Тохтамышем. Оба отправляются в Самарканд, столицу Тимура, который, желая иметь на Белоордынском престоле своего ставленника, оказывает им широкую помощь и дает войско, необходимое для захвата власти.

После нескольких неудач Тохтамышу удается овладеть столицей Белой Орды — Сыгнаком и провозгласить себя великим ханом. Два года спустя он разгромил и золотоордынского властителя Мамая, который был уже ослаблен поражением в битве с русскими на Куликовом поле.

Но, сделавшись таким образом единым повелителем обоих татарских государств и сосредоточив в своих руках всю огромную воинскую силу объединенной Орды, Тохтамыш, конечно, не собирался оставаться подручным Тимура: он сам мечтал о власти над всей Средней Азией и потому сразу же начал деятельно готовиться к предстоящей борьбе.

Прежде всего ему нужно было обезопасить свой тыл и снова привести к покорности Московскую Русь, которая, разбив орду Мамая, вышла из подчинения татарским ханам. На повеление Тохтамыша уплатить дань и явиться в Орду для переговоров Дмитрий Донской ответил отказом. Тогда, в 1382 году, Тохтамыш с огромным войском выступил в поход и осадил Москву. Она стойко оборонялась, отбивая все приступы, но благодаря предательству Нижегородских князей, татары взяли ее обманом и подвергли страшному разгрому.

Карач-мурза с воцарением Тохтамыша сделался в Орде одним из первых вельмож. Он член ханского дивана, обладатель великолепного дворца в Сарае, к улусу его присоединены новые обширные владения. Но в походе на Москву он не участвовал: не желая поднимать оружие против родной страны своего отца, с которой он и сам чувствовал свою кровную связь, он воспользовался возможностью отправиться в это время ханским послом к Тимуру. Но его старший сын Рустем при осаде Москвы был убит.

После победы над Русью Тохтамыш для мирных переговоров отправляет послом к Дмитрию Донскому

Карач-мурзу. И мир, благодаря его посредничеству, был заключен на очень легких для Руси условиях: она должна номинально признать свою зависимость от Орды и платить ей небольшую, почти символическую дань в размере пяти тысяч рублей в год. Тохтамыш со своей стороны обязался прекратить татарские набеги на Русь, не вмешиваться в ее внутренние дела и признать за Дмитрием Донским и его потомками право на наследственную власть над русской землей.

Обласканный Дмитрием Донским, Карач-мурза возвращается после этого в Орду, к Тохтамышу, который теперь готовится вступить в открытую борьбу с Тимуром.

ЖЕЛЕЗНЫЙ ХРОМЕЦ

Историчсский роман
эпохи завоеваний Тимура

ЧАСТЬ ПЕРВАЯ

ХАНУМ-ХАТЕДЖЕ

ГЛАВА I

«Знай, что меч и перо — это два орудия правителя, помогающие ему в управлении. Но ему больше нужен меч, чем перо, потому что перо лишь слуга, а меч — помощник и друг»

Ибн-Халдун, арабский философ XIV века

Удачный поход на Русь не только значительно усилил Тохтамыша, но и укрепил его веру в себя. До тех пор ему приходилось иметь дело с другими татарскими ханами, в столкновении с которыми победа предрешалась не столько преобладанием воинских сил, сколько подкупом, правильностью политического расчета и заинтересованностью ордынских военачальников. Русский же поход показал Тохтамышу, что вся Орда теперь повинуется его единой воле и что в его руках находится сила, достаточная для завоевания господства в Средней Азии. А потому, приведя Московского князя к покорности, он сразу же решился бросить открытый вызов Тимуру: отлично зная, что последний уже считает себя хозяином Хорезма[1] и рассматривает его властителя, эмира Сулеймана Суфи, как своего вассала, Тохтамыш летом 1383 года поставил в Ургенче и в других хорезмийских городах татарские гарнизоны и приказал чеканить там монету с его именем.

Занятый в это время завоеванием Персии, Тимур ничем не ответил на этот выпад. Но он уже давно понял, что на покорность Тохтамыша рассчитывать не может и что между ними неизбежна жестокая и, может быть, длительная борьба. Оба соперника к ней готовились, но осторожный Тимур, прежде чем начать ее, хотел обеспечить свои тылы и прочно закрепиться в Пер-

[1] Хорезм — государство в Средней Азии, позже известное под названием Хивинского ханства. В пору монгольских завоеваний входило в состав Золотой Орды.

сии и в Азербайджане. Тохтамыш, уже обеспечивший свой тыл победой над Русью, старался, наоборот, развязать войну, прежде чем Железный Хромец усилится присоединением и ограблением этих стран.

Окрыленный своим легким успехом в Хорезме, он перешел к решительным действиям в Азербайджане, стараясь и тут опередить противника: Тимур к этому времени уже овладел значительной частью Персии и хорошо подготовил почву к захвату Азербайджана. Последний, после распада Хулагидского государства[1], находился под властью независимого, но чуждого азербайджанцам хана Ахмеда. Это был жестокий и коварный деспот, от тирании которого страдало не только низовое население страны, но и высшая знать, а потому Тимуру без труда удалось найти среди нее деятельных пособников, которые употребили все свое влияние на то, чтобы Тимура, когда он вступит в Азербайджан, встретили здесь не как врага, а как освободителя.

Тохтамышу о том было известно, и он не хотел этого допустить. Кроме того, успехи Тимура в Персии наносили чувствительный ущерб золотоордынской торговле, а потому осенью 1385 года великий хан двинул стотысячную орду на Азербайджан и осадил его столицу Тебриз.

Город отчаянно защищался и в течение восьми дней успешно отбивал все приступы татарского войска. Тогда Тохтамыш пошел на ту же хитрость, которая помогла ему овладеть Москвой: он обещал снять осаду, если Тебриз даст ему откуп в размере двухсот пятидесяти золотых туманов[2]. Сумма была по тем временам огромная, но богатые тебризские купцы все же ее собрали и вручили татарскому хану. Последний, действительно, осаду снял и принялся захватывать и грабить другие азербайджанские города, но вскоре внезапно опять появился под Тебризом и, ворвавшись в город, предал его жесточайшему разграблению.

Осенью следующего года, заслышав о приближении Тимура, Тохтамыш отвел свою орду к Дербенту, возле которого стал на зимовку. Этот поход принес ему гро-

---

[1] Государство Хулагидов образовалось в пору монгольских завоеваний и включало Персию, часть Афганистана, Бададский халифат и Закавказье. В нем правила династия, идущая от хана Хулагу, внука Чингиз-хана от его младшего сына Тулая.

[2] Один золотой туман равнялся приблизительно тысяче серебряных рублей того времени.

мадную добычу: не считая захваченных богатств, скота и имущества, он увел из Азербайджана около двухсот тысяч молодых мужчин, чем лишил Тимура возможности пополнить здесь свое войско.

Однако зная, что Железный Хромец и без того обладает мощными резервами воинской силы и что война с ним будет чрезвычайно трудной, Тохтамыш сейчас же отправил посольство с богатыми дарами к египетскому султану, пытаясь склонить его к союзу против Тимура. Султан принял послов великого хана с большой честью и тоже не поскупился на подарки, но ответ дал уклончивый. Он был очень обеспокоен продвижением Тимура в сторону Египта и потому дружбой Тохтамыша пренебрегать не мог. Но пока завоеватель не посягал на его владения, боялся раздражать и его.

Едва отошла орда Тохтамыша, в Азербайджан вступил Тимур. Войско его, понесшее в Персии значительные потери, нуждалось в пополнениях и в отдыхе. Пополнений он здесь не нашел — страна была опустошена и безлюдна, но пастбища Азербайджана были великолепны, а потому он остался тут на зимовку, ожидая подкреплений из Мавераннахра[1] и ничего пока не предпринимая против Тохтамыша.

Но Тохтамыш весной сам двинулся на Азербайджан. Передовой отряд Тимура, встретившись с татарами возле реки Куры, уклонился от битвы, причем начальник этого отряда заявил, что таково распоряжение Тимура, который помнит свою старую дружбу с великим ханом и все, ныне происходящее, считает только недоразумением и следствием дурных советов, которые хан получает от их общих врагов. Однако Тохтамыш, справедливо заключив из этого, что его противник просто не уверен в своих силах, продолжал двигаться вперед. Тогда Тимур выслал ему навстречу большое войско под начальством своего сына Мираншаха. Произошло сражение, окончившееся вничью. Но Тохтамыш, получивший известие о том, что к Тимуру подходят подкрепления, все же счел благоразумным отойти за Куру и военные действия приостановить.

Тимур, со своей стороны, открыто показывал, что ищет мира. Нескольких приближенных Тохтамыша, за-

---

[1] Мавераннахр — среднеазиатское государство, включавшее Бухару и Самаркандскую область. При разделе империи Чингиз-хана оно досталось его второму сыну Чагатаю.

хваченных в плен во время сражения, он всячески обласкал и отпустил на свободу, повторяя, что относится к Тохтамышу, как к сыну, хочет ему только добра и объясняет себе его враждебные действия лишь влиянием дурных советников, которых стоило бы общими силами наказать и восстановить дружеские отношения.

Наступил период затишья, в течение которого оба противника крепили свои силы, не доверяя один другому и понимая, что борьба между ними только начинается.

Тимур, воспользовавшись раздорами грузинских князей, без особого труда овладел Грузией. Оставив там сильное войско, которое должно было ударить в тыл Тохтамышу, если последний начнет продвигаться вглубь Азербайджана, и обезопасив себя с этой стороны, сам он возвратился к завоеванию Персии. Но Тохтамыш, учитывая это положение, тоже переменил план действий: он сумел подбить на восстание некоторых подвластных Тимуру эмиров Средней Азии и отправил им на помощь большое войско под начальством царевича Ак-ходжи. Другой татарский отряд, в соединении со всеми силами эмира Сулеймана Суфи, одновременно выступил из Хорезма.

Осенью 1387 года оба эти войска неожиданно вторглись с двух сторон в Мавераннахр — самое сердце владений Тимура. Находившийся там сын его, Омар-шейх, со всеми наличными силами выступил против татар, но был разбит и заперся в Самарканде. Ордынцы растеклись по всей стране, осадили Сауран и Бухару, захватили Ташкент, Гузар, Карш и многие другие города, постепенно стягивая кольцо вокруг Самарканда. Узнав об этом, Тимур понял, что теперь на карте стоит его судьба. Он покинул Персию и со всем войском спешно двинулся на выручку своей столицы.

Но Тохтамыш еще не надеялся победить Тимура в открытом единоборстве и потому не стал его ожидать. Мавераннахр был уже им основательно ограблен, а удержать за собой эту страну он и не рассчитывал. Кроме того, как раз в это время среди его собственных военачальников был раскрыт обширный заговор, имевший целью свержение Тохтамыша, на место которого заговорщики хотели посадить царевича Кутлук-Тимура[1]. С первых же шагов расследования выяснилось, что

---

[1] Кутлук-Тимур был внуком Урус-хана и сыном белоордынского хана Тимур-Мелика, свергнутого Тохтамышем.

дело зашло очень далеко, и Тохтамыш, не доверяя больше своему войску, поспешил вывести его из Мавераннахра.

Всю силу своего мщения Железный Хромец обрушил на пособника Тохтамыша, эмира Сулеймана Суфи: наводнив своими войсками Хорезм, он предал его небывалому опустошению. Когда был взят Ургенч, Тимур повелел половину его двухсоттысячного населения перебить, остальных выселить в Мавераннахр, самый город стереть с лица земли, а место, на котором он стоял, вспахать и засеять ячменем. Этот страшный приказ в меру возможности был выполнен. Полностью сделать этого не удалось — мешали груды развалин огромного города и его исполинских стен. Но, так или иначе, великолепная столица хорезмшахов и один из величайших культурных центров Азии перестал существовать, и только три года спустя Тимур разрешил отстроить там один квартал. Сулейман Суфи успел бежать к Тохтамышу и до конца жизни оставался в его войске темником.

Тохтамыш, между тем, приводил свою орду в порядок и расправлялся с военачальниками, заподозренными в измене. Душой заговора оказался эмир Идику[1] — ближайший советник и зять великого хана, пользовавшийся его неограниченным доверием.

Трудно понять, что именно побудило Идику, столь высоко вознесенного Тохтамышем, стать на путь измены. От воцарения Кутлук-Тимура он не так уж много выгадывал, а сам, не будучи чингизидом, права на престол не имел. И потому многие историки склонны все это объяснять его желанием отомстить за своего отца, эмира Балтыкчи, казненного Тохтамышем за приверженность к его противнику, хану Тимур-Мелику.

Однако в правильности такого объяснения позволительно усомниться: если это и играло какую-нибудь роль, то далеко не главную, ибо ради захвата власти и возвышения татарские князья и ханы в ту пору и сами редко останавливались перед убийством своих отцов. И едва ли такой прожженный интриган и честолюбец, каким история рисует нам Эдигея, во имя сыновних чувств поставил бы на карту все свое жизненное благополучие.

Тут скорее можно предположить, что в основе все-

---

[1] Русские летописи называют его Эдигеем.

го лежала какая-то любовная история, ставившая под угрозу жизнь Эдигея, который путем свержения Тохтамыша хотел себя обезопасить. В пользу такой догадки говорит то обстоятельство, что когда заговор был раскрыт, а Кутлук-Тимур и Эдигей бежали к Тимуру, Тохтамыш почему-то приказал казнить свою главную жену, хатунь Тавлин-беки, от которой имел шестерых детей. Были казнены также многие военачальники и вельможи, уличенные или заподозренные в причастности к этому делу. Некоторые другие, опасаясь такой же участи, бежали вслед за Эдигеем к Тимуру или к Московскому князю[1].

Когда все это успокоилось, Тохтамыш, желая отомстить Тимуру за разорение Хорезма и за покровительство, оказанное его врагам, по словам восточной летописи, «собрал со всего своего улуса войско из татар и подвластных народов, булгар, кипчаков, русских[2], башкиров, мордвы, фрягов, аланов и других, и было у него воинов больше, чем листьев на деревьях большого леса или водяных капель во время дождя». Со всей этой ордой, осенью 1388 года Тохтамыш снова вторгся в пределы Мавераннахра, взял крепость Яссы и некоторые другие города, а затем, опустошая все на своем пути, двинулся к Самарканду.

Тимур не располагал достаточными силами, чтобы сразу отразить это грозное нашествие. Он вызвал к себе подкрепления из всех подвластных ему областей Средней Азии, а сам приготовился отсиживаться в своей столице.

Но начавшаяся рано зима, с сильными холодами и снегопадом, задержала Тохтамыша и поставила его войско в очень тяжелое положение: из-за скудности пастбищ пришлось разделить его на несколько отдельных частей, жертвуя военными преимуществами ради спасения конского поголовья.

Железный Хромец не замедлил этим воспользоваться: получив некоторые подкрепления, он заслал в тыл Тохтамышу сильный отряд под начальством царевича Кутлук-Тимура. Последнему удалось напасть на татар

[1] Из этих татарских вельмож нам известны: Аслан-мурза, родоначальник Ртищевых, Ждановых, Сомовых и Павловых; князь Исахар — родоначальник Загряжских; Бахты-ходжа, родоначальник Лихаревых; Магмет-ходжа, Кидыр-бек и др.

[2] Известно, что в этом походе принимали участие Нижегородские князья Василий и Семен Дмитриевичи, со своими ополчениями.

врасплох и нанести им большой урон, вследствие чего хан предпочел отвести свое войско за Сырдарью. Весной, собрав значительные силы, Тимур нанес Тохтамышу новое поражение, но добить его не успел, так как вспыхнувшие в его тылах восстания заставили его прекратить преследование отступавшей орды.

Таким образом, этот поход окончился для Тохтамыша полной неудачей: он не отвоевал Хорезма, лишился выгодных позиций в Средней Азии и потерял свой собственный город Сыгнак — столицу Белой Орды, захваченную Тимуром. Войско его было измучено и пало духом, нужно было время, чтобы его пополнить и привести в порядок. Но побежденным Тохтамыш себя не считал и стал готовиться к новому походу.

Однако на этот раз Тимур не стал ожидать его нападения, а быстро расправившись с непокорными эмирами, сам решил идти в земли врага. К этому его усиленно побуждал Эдигей, который выдал все военные тайны и уязвимые места Тохтамыша и уверял, что победа будет легка, так как татарского хана покинули все его лучшие военачальники, а войско охвачено недовольством и не будет хорошо сражаться.

Став на зимовку в окрестностях Ташкента, где были отличные пастбища, Железный Хромец принялся отовсюду стягивать сюда войска, намереваясь весной 1391 года выступить с ними в поход.

Тохтамыш не был готов к отпору, а потому, узнав о сборах Тимура, решил сделать попытку его умилостивить и склонить к миру. Он отправил к нему посла с письмом, в котором писал, что впредь обещает великому эмиру полное повиновение и просит простить сделанные ошибки, виня в них дурных советников и прежде всего Эдигея, «который и тебя сейчас подстрекает против меня».

Вместе с письмом великий хан посылал Тимуру девять великолепных коней, редчайшего по своим качествам сокола и другие богатые дары, а также возвращал ему всех пленных, захваченных при последнем нападении на Мавераннахр, и в том числе племянницу Тимура, ханум Хатедже, вдову эмира Фарука, бывшего хакимом[1] в Яссах и убитого при защите города.

Возглавлять это посольство было поручено Карач-мурзе.

---

[1] Хаким — правитель области, губернатор.

ГЛАВА II

«Если твой враг судья, то тебе и Аллах не поможет».

Татарская пословица

О том, что Железный Хромец готовится в поход и собирает войско возле Ташкента, Тохтамыш узнал через своих лазутчиков в конце лета 1390 года. Было совершенно очевидно, что к осени Тимур готов не будет, а выступит ранней весной, чтобы миновать засушливые пустыни юга, пока летнее солнце не выжжет в них всю траву.

Таким образом, времени было достаточно, и Карач-мурза тронулся из Сарая-Берке во второй половине сентября, рассчитывая за три месяца покрыть четыреста фарсахов[1] лежащего перед ним пути и к началу поздней южной зимы быть в ставке Тимура. Двигаться быстрее он не мог: помимо его свиты, состоявшей из нескольких татарских князей, с изрядным количеством слуг, и шестисот нукеров[2] сопровождения, с ним шли три с половиной тысячи пленников и большой обоз с имуществом людей, припасами и кибитками.

Отряд выступил по берегу Волги, дорогой, идущей на Хаджи-Тархань[3], но на пятый день пути свернул влево и растянувшейся на целый фарсах темной змеей пополз по бескрайней низине к берегам Джанка[4]. Змея извивалась и часто меняла направление: среди необозримых россыпей песка и отложений бесплодной глины нужно было придерживаться полосы причудливо разбросанных оазисов жизни, где имелись сносные пастбища и питьевая вода.

Карач-мурза хорошо знал этот путь. — Сколько уже раз им езжено, — думал он, дремотно покачиваясь в седле впереди отряда, — и сколько еще доведется проехать? Мудрость Востока говорит, что к сорока годам силы и ум человека достигают своего предела. Значит, уже почти девять лет он живет, теряя каждый день какую-то крупицу из сокровищницы ума и жизненной силы. Надолго ли хватит того, что было накоплено за первые сорок лет жизни? И насколько быстры ноги ко-

---

[1] Фарсáх — среднеазиатская мера длины, примерно семь верст.
[2] Нукер — дружинник.
[3] Хаджи-Тархань — позднейшая Астрахань.
[4] Джанк — татарское название реки Урал.

ня настигающей старости? Нет, ум его еще не на ущербе, и мышцы крепки по-прежнему. Но дух его наверное стареет... Раньше он был жаден к жизни и горяч — он всегда устремлялся вперед, к неизвестному и новому, и тело ему послушно повиновалось. А теперь он больше любит покой, он будто прирос к телу и говорит ему: ну, неси меня само, куда хочешь, если ты такое непоседливое и если думаешь, что впереди есть что-нибудь новое и интересное...

Вечерами, выбрав подходящее место для ночлега, растянувшаяся по степи змея сворачивалась в клубок. Ее обмякшее, потерявшее упругость тело рассыпалось на отдельные звенья, обращаясь в разбитые на траве шатры, в полукругом поставленные повозки, в кучки сгрудившихся у костров людей и в россыпь стреноженных коней, разбредающихся по пастбищу.

Все становилось обычным: по тысячелетиями заведенному укладу текла кочевая жизнь — не все ли равно, в каком уголке степи сидеть у костра с поджатыми под себя ногами, пережевывая лепешку с хурутом[1], потягивая кумыс и ведя неторопливые разговоры? Пахло полынью и дымом, день догорал, и, было приятно, что догорает он медленно, уважая часы безделья усталых людей, степь исподволь наливалась сумраком ночи и все громче звенела цикадами. И когда к черным вершинам неба начинала приближаться Колесница Вечности[2], внизу смолкали голоса правоверных, гасли последние костры и стойбище погружалось в сон. А утром возникший здесь кочевой городок быстро сворачивался и исчезал в пустынном мареве, чтобы к вечеру возродиться на пять или шесть фарсахов дальше.

На девятнадцатый день пути отряд подошел к городу Сараил-Джадиду[3], где существовал наплавной мост, по которому предстояло переправиться на левый берег Джаика.

Город был довольно велик и благоустроен. В нем было несколько красивых мечетей с минаретами, отделанными цветными камнями и мозаикой, два или три обширных караван-сарая, обнесенных гранитными сте-

---

[1] Хурут — овечий сыр, брынза.

[2] Колесница Вечности — татарское название созвездия Большой Медведицы.

[3] Сараил-Джадид, по русским летописям Сарайчик, — татарский город, стоявший на берегу Урала, на 60 верст выше нынешнего Гурьева.

нами, мраморный, с желтыми прожилками, дворец, выстроенный здесь Ильбани-ханом, и много больших каменных домов, украшенных узорчатой керамикой. По сравнению с другими татарскими городами, в строительстве Сараил-Джадида поражало обилие мрамора и гранита, голубого и белого с черной крапью. Эти камни добывались поблизости, выше по течению реки, и почти без затрат доставлялись водным путем прямо к месту стройки.

Впрочем, Карач-мурзу достопримечательности Сараил-Джадида мало интересовали, он бывал здесь уже не раз. Гораздо больше его занимало состояние моста, который часто страдал от наводнений, ветров и плывших по реке древесных стволов, а потому далеко не всегда находился в исправности. Но, подъехав к берегу, Карач-мурза убедился, что все в порядке: мост чуть приметно колыхался на сонной воде, и несколько мальчишек удили с него рыбу.

Джаик имел тут в ширину не меньше ста двадцати сажень. От одного берега к другому, на небольшом расстоянии друг от друга, тянулся ряд закрепленных якорями плоскодонных барок, которые служили опорой бревенчатому настилу моста[1]. При большой нагрузке мост ходил ходуном и прогибался, но все же пропускал целые караваны. Только ради этого они шли через Сараил-Джадид, что весьма способствовало торговле и процветанию города.

Еще до захода солнца переправившись на левый берег, где трава была лучше, посольский отряд расположился станом на зеленом, чуть покатом лугу. Карач-мурза решил дать здесь двухдневный отдых лошадям, а заодно пополнить на рынке Сараил-Джадида запасы всего необходимого, ибо теперь, на протяжении двухсот фарсахов — до самого Ургенча — на их пути могли встретиться лишь редкие степные кочевья. Да и от Ургенча, если верить тому, что говорят, теперь не осталось даже стен... Карач-мурза еще не видел его после разрушения Тимуром, но он просто не мог себе представить, что на месте этого огромного, тысячеликого города, с которым так тесно были связаны лучшие годы его жизни, сейчас только степной ветер шевелит колосья ячменя. Нет, наверно все эти слухи преувеличивают дей-

[1] Этот мост видел и описал арабский путешественник XIV века Ибн Батута.

ствительность и крепкое сердце столицы хорезмшахов еще не перестало биться.

На следующий день утром Карач-мурза, в сопровождении нескольких лиц своей свиты и десятка нукеров, выехал в город. Тут все было как обычно и только на рыночной площади, у высокой стены караван-сарая, он обратил внимание на толпу людей, обступившую что-то, чего ему издали не было видно.

Полагая, что народ привлечен каким-нибудь интересным зрелищем или ученым спором между представителями двух различных вероучений[1], он подъехал ближе, но с удивлением увидел совсем другое: к врытому у стены столбу была привязана женщина. По ее стройной фигуре было видно, что она еще молода, но лица нельзя было как следует рассмотреть: голова женщины бессильно свесилась, глаза были закрыты, и только веревка, охватывающая ее под грудью, не позволяла ей упасть на землю.

Рядом с ней, на перевернутом вверх дном бочонке лежала палка, очевидно для того, чтобы каждый желающий мог ее ударить. Но, по-видимому, никто из присутствующих не захотел воспользоваться этим правом.

— Какое преступление совершила эта женщина, и кто приказал привязать ее к позорному столбу? — спросил Карач-мурза, въезжая в середину круга, сквозь почтительно расступившуюся толпу.

— Она украла коня у почтенного ясакчи[2] мурзы Халила, — ответил стоявший возле столба воин, очевидно поставленный здесь именно для того, чтобы давать подобные пояснения. — И мудрый ясакчи, мурза Халил, приговорил ее к смерти.

Суровость Ясы была хорошо известна Карач-мурзе. Она определяла смертную казнь за преступления семи родов: убийство, нарушение приказа, оскорбление ханского достоинства, выдачу себя за посла или за должностное лицо, прелюбодеяние с чужой женой, колдов-

---

[1] У татар разрешались такие публичные диспуты между представителями любых вероучений, но под страхом смертной казни требовалось, чтобы они велись в пристойной форме, без оскорблений верований оппонента и его достоинства.

[2] Ясакчи — судья, судивший по Ясе, то есть по правовым и судебным нормам, установленным Чингиз-ханом. Яса, что значит «наказ», делилась на пять отделов: 1. Преступления, караемые смертью. 2. Военное устройство и правила ведения войны. 3. Семья и семейный уклад. 4. Похвальные доблести. 5. Различные запрещения.

ство, если оно явилось причиной чьей-либо смерти, и крупную кражу. За мелкую кражу полагалось от семи до трехсот семи ударов палкой — обычно виновного тоже забивали насмерть. Но он освобождался от наказания, если мог уплатить пострадавшему десятикратную стоимость украденного.

С принятием ислама у татар вошло в силу также и общее мусульманское право, и, помимо ясакчи, появился другой разряд судей, так называемых кади, судивших по шариату[1]. Но несмотря на то, что мусульманские законы были гораздо гуманней, преклонение перед памятью Чингиза было столь велико, что его уложение оставалось в силе, и Яса неизменно подтверждалась каждым царствующим ханом.

Чтобы избежать возможных осложнений, за преступления служебные и уголовные в Орде обычно судили Ясакчи, а дела, связанные с семейной и религиозной жизнью, решал кади. Каждый из этих судей старался не вмешиваться в дела другого, но этого не всегда можно было избежать, и если между ними происходило столкновение, верх почти всегда брал ясакчи: эту должность обычно занимал какой-нибудь представитель знати, тогда как кади принадлежали к духовному сословию, которое у татар не имело особой силы.

Все это мгновенно промелькнуло в мозгу Карач-мурзы. Вспомнил он и то, что за кражу коня по Ясе был положен самый жестокий вид смертной казни: рассечение мечом на части. С чувством невольной жалости он посмотрел на несчастную женщину, которая теперь подняла голову и, широко открыв глаза, глядела с надеждой на стоявшего перед ней незнакомого, но, судя по всему, очень знатного всадника.

— Это правда, что ты украла коня? — спросил Карач-мурза.

— Я не хотела его украсть, великий господин, — воскликнула женщина. — Я убежала на нем от мурзы Халила, да покарает его справедливый Аллах, потому что он насильно сделал меня своей наложницей, а у меня есть муж! И люди мурзы Халила схватили меня, когда я скакала на этом коне.

Карач-мурза нахмурился. Если женщина не лгала,

---

[1] Шариат — совокупность законов и правил, которыми должен был руководствоваться в жизни каждый мусульманин.

дело в корне менялось и не меньшая кара, по Ясе, должна была обрушиться на самого ясакчи.

— Кто может подтвердить, что эта женщина говорит правду? — спросил он, обводя взором толпу. Но все хранили молчание. Отделившись от задних рядов, несколько человек поспешно зашагали прочь. Толпа стала заметно редеть.

— Никто не осмелится говорить здесь против ясакчи, — с отчаянием промолвила женщина. — Его даже хаким боится: при дворе великого хана у него есть могущественные покровители.

— Ах, так! — воскликнул Карач-мурза. — А ну, ты! — обратился он к одному из стоявших поблизости людей. — Что ты знаешь про эту женщину?

— Это Фатима, жена Нуха, пресветлый оглан, — низко кланяясь, ответил спрошенный, очевидно знавший, с кем он имеет дело. — Ее муж был в войске у великого хана Тохтамыша — да вознесет Аллах до неба шатер его величия — и не вернулся из последнего похода. Но никто не видел его убитым, и теперь его милость ясакчи Халил говорит, что он мертв, а она, наверное по глупости, думает, что он жив, благородный оглан.

— И ясакчи сделал ее своей наложницей?

— Этого я не знаю, оглан. Всем известно, что почтенный ясакчи Халил взял ее к себе в дом, чтобы она отработала долг своего мужа. А была ли она его наложницей, кто может это знать, пресветлый оглан?

— Когда должны казнить эту женщину? — спросил Карач-мурза у приставленного к ней воина.

— Сегодня, за час до захода солнца, оглан.

— Отвяжи ее от столба и отведи в мой лагерь! Я сам разберу это дело. И скажи ясакчи, чтобы явился ко мне за два часа до захода солнца.

— Я не могу отвязать ее без разрешения ясакчи, сиятельный господин! Я слышу, что тебя называют огланом, и сам вижу, что ты большой начальник. Наверно ты настолько же выше ясакчи, насколько ясакчи выше меня. Но ясакчи отдал мне приказ, и я обязан ему повиноваться.

— Я двоюродный брат и посол великого хана Тохтамыша. И его священным именем повелеваю тебе сделать то, что ты слышал, — спокойно промолвил Карач-

мурза, вынимая из кармана золотую пайцзу[1]. Воин, как подкошенный, упал на колени и, распростершись ниц, поцеловал землю возле копыт его коня.

— Да прославится имя великого хана по всей земле! Я повинуюсь, пресветлый оглан! — воскликнул он и сейчас же, вскочив на ноги, принялся отвязывать женщину.

* *
*

Возвратившись в стойбище, Карач-мурза велел привести к нему Фатиму. Она уже оправилась немного от пережитых потрясений, привела себя в порядок и оказалась женщиной редкой красоты. Эта красота и послужила причиной ее беды.

То, что она рассказала, почти не оставляло сомнений в ее правдивости, но все же, выслушав и отпустив ее, Карач-мурза сейчас же послал в город двух своих людей с поручением выведать, что говорят об этом деле в народе. Они возвратились через два часа, и их доклад полностью подтвердил слова Фатимы.

Одному из них даже удалось узнать, что местный кади был возмущен действиями ясакчи и вынесенным им приговором. Он сказал об этом самому хакиму, но хаким посоветовал ему не вмешиваться не в свое дело и решения ясакчи не отменил.

Выслушав это, Карач-мурза минутку подумал и приказал, помимо ясакчи, вызвать к себе кади и хакима.

ГЛАВА III

«Входите все в покорность и не следуйте по стопам сатаны: он главный враг ваш».

Коран

За час до указанного ему срока ясакчи был уже у шатра Карач-мурзы. От воина, сторожившего Фатиму, он узнал все, что произошло на площади, и чувствовал, что предстоящий разговор с ханским послом не сулит

[1] Пайцза — золотая, серебряная или бронзовая пластинка, с выгравированным на ней текстом, служившая в Орде пропуском или знаком особых полномочий.

ему ничего хорошего. И потому он решил приехать пораньше, чтобы попытаться уладить дело при помощи подарков, целый тюк с которыми вез сопровождавший его слуга. Но Карач-мурза его не принял, подарки тоже не позволил внести в шатер и через своего нукера велел ясакчи ожидать снаружи, пока его не позовут.

Точно в назначенный час явились хаким и кади, которые, вместе с ясакчи, сейчас же были введены в шатер царевича. Карач-мурза, сухо ответив на приветствия вошедших, окинул их внимательным взглядом.

Хаким Курджи-оглан, пожилой худощавый человек с беспокойно бегающим взглядом, как было известно Карач-мурзе, принадлежал к захиревшей ветви Батыева рода. Теперь, когда почти все руководящие посты в Орде были заняты белоордынскими царевичами и князьями, он чувствовал себя на своем месте не очень прочно, а потому старался угодить каждому, кто имел солидные связи в ставке великого хана.

Ясакчи Халил, сорокалетний мужчина могучего сложения, такие связи как раз имел и потому в Сараил-Джадиде привык ни с кем не считаться. Он понимал, что по своему положению Карач-мурза может сделать с ним все, что захочет, но твердо рассчитывал на поддержку хакима и на то, что во всем городе никто не осмелится свидетельствовать против него, а потому держался хотя и почтительно, но с достоинством.

Кади был глубокий старик, с короткой, белой, как снег, бородой и с лицом аскета. На Карач-мурзу он сразу произвел хорошее впечатление.

— Садись, аксакал[1], — сказал он, обращаясь к кади и не предлагая сесть другим. — Садись и расскажи, что тебе известно о Фатиме, жене Нуха?

— Нух и Фатима были очень бедны, высокородный оглан, — садясь на подушку и помолчав немного, промолвил старик. — Но справедливый Аллах дал им то, что дороже богатства, ибо во всем нашем городе, а может быть и во всей нашей Орде, не было пары счастливее их. Нух никогда не хотел взять вторую жену. Они любили друг друга, как Лейла и Меджнун[2], и мои старые глаза всегда радовались, когда видели их вместе...

---

[1] Аксакал, дословно «белая борода», — почтительное обращение к уважаемым старикам.

[2] Лейла и Меджнун — герои одноименной поэмы азербайджанского поэта XII века Низами.

— И где теперь этот Нух?

— Только всевидящему Аллаху это известно, пресветлый оглан. Нух не вернулся из последнего похода, когда великий хан Тохтамыш, — да охватит его слава всю землю, — ходил на Мавераннахр. Но никто не видел Нуха убитым, и Фатима думает, что он находится в плену у Тимур-бека.

— Может быть, ясакчи знает об этом больше? — спросил Карач-мурза, повернув голову к Халилу.

— Я знаю только то, что знают другие, благородный оглан, — ответил ясакчи, не почувствовавший в этом вопросе ловушки. — Нух ушел в поход и назад не вернулся. И я думаю, что если он так любил свою жену, как говорит почтенный кади, то одна лишь смерть могла помешать ему возвратиться к ней или прислать о себе какую-нибудь весть.

— Ход твоей мысли показывает, что ты не находишься во вражде с разумом. Но все же это только предположение, а я хочу знать: есть ли в вашем городе такой человек, который может с уверенностью сказать, что Нух умер?

— Нет, пресветлый оглан, я не знаю такого человека и никто не знает, — промолвил ясакчи, недоумевая в душе, почему ханский посол так интересуется судьбой ничтожного десятника Нуха. А вместе с тем, это было очень просто: сожительство с вдовой по Ясе не считалось преступлением, а за прелюбодеяние с женщиной, имеющей мужа, она карала смертной казнью. Впрочем, ясакчи на этот счет не беспокоился, полагая, что никак нельзя доказать того, что Фатима была его наложницей, а одних ее обвинений было недостаточно.

— Хорошо, — сказал Карач-мурза. — Теперь расскажи, за какое преступление ты приговорил Фатиму к такой жестокой казни?

— Она украла у меня коня, оглан. Ее поймали с поличным и я судил ее по Ясе великого Чингиза. А в Ясе сказано: укравший коня да будет разрублен мечом на части.

— Я вижу, что ты хорошо знаешь законы. Так вот, скажи: если человек, попавший во власть разбойника, пытается спастись на его коне, можно ли считать это кражей?

— Это совсем другое, пресветлый оглан! Разве я разбойник, и разве я держал Фатиму в неволе? Она

была у меня служанкой. А если слуга украл у своего господина, по Ясе следует увеличить ему наказание. И потому я велел привязать Фатиму к позорному столбу.

— Она говорит, что ты заставил ее отрабатывать долг Нуха и насильно сделал своей наложницей. А потом испугался, что это станет известно, и захотел от нее избавиться, потому что, как ясакчи, ты лучше других знаешь, какое наказание положено по Ясе за прелюбодеяние с чужой женой, даже если оно совершено без насилия.

— Эта женщина солгала тебе, оглан. Она не была моей наложницей.

— Ты можешь доказать это?

— Нужно доказывать не то, чего не было, а то, в чем человека обвиняют, мудрейший оглан. Пусть Фатима докажет, что я сделал ее своей наложницей! Этого нельзя доказать, а в Ясе великого Чингиза сказано, кто не может быть наказан за преступление, которое не доказано, или виновник которого не сознался.

— Это истина. Но если тут нельзя доказать преступления, то можно сделать так, что виновник сознается.

— Я никогда не сознаюсь в том, чего не было, оглан!

— Этого я от тебя не жду. Но будет достаточно, если ты сознаешься в том, что было. Скажи, кроме твоих жен, кто-нибудь видел тебя раздетым?

— Никто не видел, благородный оглан, — ответил ясакчи, изумленный таким вопросом.

— Подумай крепко!

— Клянусь тебе, пресветлый оглан!

— Хорошо. Так вот, если ты больше ничего не хочешь добавить, я сейчас позову сюда Фатиму, и, может быть, она нам скажет про какой-нибудь след от раны или другой знак, который имеется у тебя на теле. А потом ты снимешь халат, и если мы этот знак на тебе увидим, я прикажу привязать тебя к тому самому столбу, к которому была привязана Фатима, а рядом положить палку вдвое толще той, которая лежала рядом с ней. И поверь, что все мои шестьсот нукеров сумеют очень хорошо воспользоваться этой палкой, если тебя побоятся бить жители города.

Пока Карач-мурза говорил это, лоснящееся лицо Халила быстро меняло свою окраску, из бронзово-крас-

ного превращаясь в землисто-серое. Но думал он не долго и, едва обретя дар речи, пробормотал:

— Пощади, многомилостивый оглан...

— Значит, сознаешься?

— Сознаюсь, оглан. Но ведь у нее нет мужа.

— Ты сам сказал, что этого нельзя доказать. И еще сказал, что Яса ничего не принимает без доказательств. Поэтому надо считать, что у Фатимы есть муж, и за свое преступление ты, по Ясе, заслуживаешь смерти. Но кроме Ясы у нас, благодарение великому Пророку, есть Коран, а в Коране сказано: будь милосерден даже к преступнику, если он может исправиться. Я думаю, что ты можешь исправиться и потому оставляю тебе жизнь. Но для должности ясакчи ты не годишься — хаким назначит на твое место другого. А теперь иди.

Кланяясь и прижимая руки к груди, Халил начал пятиться к выходу.

— Погоди, — окликнул его Карач-мурза. — Ты, кажется, принес мне подарки? Прикажи внести их сюда.

Минуту спустя слуга Халила внес в шатер тюк с подарками и развернул его перед Карач-мурзой. Сверху лежала сабля в драгоценных ножнах, под нею золотое блюдо, толстая связка собольих мехов и два больших свертка китайского шелка.

— Я думаю, что эта сабля стоит много больше того, что тебе остался должен Нух, — сказал Карач-мурза. — Возьми ее себе в уплату этого долга, а все остальное пойдет Фатиме за то бесчестие, которое ты ей нанес.

Когда Халил ушел, Карач-мурза, по-прежнему не глядя на хакима, обратился к кади:

— Мне говорили, аксакал, что ты был не согласен с судом ясакчи и даже просил хакима, чтобы он своей властью отменил приговор. Верно ли это?

— Это истина, премудрый оглан. В нашем городе нет такого человека, который бы не знал того, что мурза Халил преследовал Фатиму и потом несправедливо осудил ее на смерть. В Коране сказано: если ты видишь, что совершается несправедливость, старайся не допустить ее. И я сказал об этом сиятельному хакиму Курджи-оглану.

— Ну и что тебе ответил хаким?

— Сиятельный хаким Курджи-оглан мне ответил: «Что там было раньше, я не знаю и знать не хочу. Ясакчи судил Фатиму за кражу коня и судил правиль-

но: по Ясе за такое преступление виновный должен быть разрублен мечом на части. Но я думаю, что великий Чингиз, — да будет священна его память, — когда писал Ясу, не знал того, что после его смерти коней начнут красть женщины. Если бы он мог это знать, то наверное не захотел бы так уродовать женское тело. И потому я прикажу, чтобы Фатиму не разрубали на куски, а удавили ремнем».

— Я вижу, что в этом деле ты проявил истинное милосердие, оглан, — насмешливо сказал Карач-мурза, обращаясь к хакиму, который стоял, как на раскаленных угольях. — Но вижу и другое: под твоим управлением очень хорошо живется насильникам и негодяям. Плохо, когда начальник боится своих подчиненных, а не они боятся его. Это иногда кончается тем, что такой начальник получает от великого хана шелковый шнурок в подарок[1]. Помни об этом! Завтра ты назначишь другого ясакчи — почтенный кади поможет тебе сделать хороший выбор. А Халилу, если он вздумает чем-нибудь мстить Фатиме, дашь на базарной площади сто палок. Надеюсь, ты все понял?

— Понял, великий оглан! Это, наверное, шайтан, — да будут прокляты и посрамлены его козни, — вчера затуманил мой разум. Но больше этого никогда не будет, великий оглан!

— Посмотрим. На обратном пути я еще сюда заеду.

ГЛАВА IV

«Судьба затем судьбою и зовется,
Что отвратить ее нам не дано:
Для стрел ее что занавес из шелка,
Что щит из крепкой стали — все равно».

Мухаммад ас-Захири,
персидский писатель XII века

Когда все ушли, Карач-мурза велел позвать к нему Фатиму.

— Ну вот, — сказал он, когда она вошла и робко остановилась у входа, — ты свободна и можешь спокой-

---

[1] В мусульманских странах получение вельможей такого шнурка означало, что монарх не хочет позорить его публичной казнью и предлагает покончить самоубийством.

но возвращаться домой. Никто тебя больше не будет тревожить, об этом позаботится сам хаким. Кроме того, возьми вот это, — добавил он, указывая на подарки, оставленные Халилом. — Эти вещи помогут тебе прожить безбедно.

— Да воздаст тебе великий Аллах годами счастья за все, что ты для меня сделал, благородный оглан, а я не забуду этого, если бы даже прожила тысячу лет. И не думай, что у меня нет стыда, если я тебя попрошу еще об одной милости, сиятельный оглан...

— Говори, — промолвил Карач-мурза.

— Позволь мне ехать с твоим караваном. Говорят, ты едешь в Мавераннахр, к великому Тимур-беку. Может быть, Аллах будет ко мне милостив до конца, и я найду там своего мужа. Теперь у меня есть, чем выкупить его, если он в плену. А здесь я боюсь оставаться: у ясакчи Халила очень длинные руки.

— Этого не бойся. Он больше не ясакчи и теперь не посмеет тебе ничего сделать.

— Он ничего и не сделает, оглан, но если он захочет, со мной всегда может случиться какое-нибудь несчастье. Разве он отвечает, если я утону в реке, или загорится ночью моя юрта, или меня укусит ядовитая змея?

— Хорошо, — сказал Карач-мурза, немного подумав. — Приходи ко мне завтра утром. Может быть я сумею устроить так, что ты поедешь с нами.

* *
*

Ханум Хатедже, вверенная попечениям Карач-мурзы, ехала при его отряде на совершенно особом положении. Напутствуя его в дорогу, хан Тохтамыш сказал:

— Говорят, Хромой очень любит свою племянницу, и потому важно, чтобы с нею у нас не случилось ничего плохого и чтобы ты привез ее в Ташкент живой и здоровой. Пусть лучше передохнут в пути все другие пленники, чем с ее головы упадет хотя бы один волос! Не забывай также, что Тимур ей поверит больше, чем нам, а потому нужно сделать так, чтобы она говорила о нас хорошо. Будь с ней почтителен, следи, чтобы ей было удобно ехать и чтобы она ни на что не могла пожаловаться. В дороге она должна чувствовать себя не пленницей, а важной госпожой, которой все готовы служить.

И Карач-мурза строго следовал полученным наставлениям. Хатедже ехала в удобной кибитке, в сопровождении нескольких служанок и рабынь; на ночь ей разбивали походный шатер, убранство которого могло бы удовлетворить самую избалованную женщину; у нее всегда, даже при переходе через пустыни, было вдоволь свежих фруктов, которые она особенно любила.

Ежедневно Карач-мурза справлялся о ее здоровье и о том, нет ли у нее каких-нибудь жалоб или пожеланий. Но, не желая своим присутствием напоминать ей о том, что она все-таки пленница и в общем порядке подчинена ему, обычно он это делал через кого-либо из своих приближенных, и потому Хатедже немного удивилась, когда в этот вечер он явился к ней лично.

— Селям-алейкюм, благороднейшая ханум, — сказал он, получив разрешение войти в шатер. — Я надеюсь, что Аллах хранит твое драгоценное здоровье и что ты хорошо отдохнула за эти два дня.

— Алейкюм-селям, оглан, — ответила Хатедже. — Милостью Аллаха я здорова, а благодаря твоим заботам путешествие меня совсем не утомляет.

Голос у Хатедже был низкий и приятный, а в последних ее словах, хотя они и были обычным проявлением восточной вежливости, прозвучала неподдельная искренность. Карач-мурза внимательно поглядел на нее.

Хатедже нельзя было назвать красивой, к тому же, по понятиям Востока, молодость ее уже ушла: ей было под тридцать. Но небольшой рост, хрупкость и стройное сложение возмещали ей ту долю прелести, которую отнял возраст. Ее смуглое, слегка поблекшее лицо, с темным пушком над хорошо очерченными и еще не потерявшими свою свежесть губами и с чуть раскосым разрезом глаз, было привлекательно, а сами глаза, карие и ясные, с какой-то завораживающей теплинкой в них, были на редкость хороши.

— Я рад это слышать, ханум, — промолвил Карач-мурза. — Но нам нужно пройти еще три раза столько, сколько мы до сих пор прошли. И я никогда не простил бы себе, если бы к концу этого путешествия ты потеряла хотя бы ничтожную долю твоего здоровья и...

— И чего еще? — с улыбкой спросила Хатедже, видя, что Карач-мурза запнулся.

— И твоей красоты, ханум.

— Я вижу, что ты честный человек, оглан, ибо хотел удержать свой язык, прежде чем он вымолвит эту неправду. Красота моя, если и была когда-нибудь, уже ушла, а здоровья хватит еще на много таких путешествий. Могу я спросить, когда мы выступаем отсюда?

— Завтра, через два часа после восхода солнца, ханум, если ты не хочешь отдохнуть еще один день.

— Но я же говорю тебе, что я совсем не устала. Ехать даже приятней, чем стоять на одном месте.

— Хорошо, ханум, завтра мы поедем. Но могу я перед этим просить у тебя об одной милости?

— Ты здесь начальник, оглан. И можешь приказывать, а не просить.

— Если я начальник для других, то для тебя я только самый почтительный слуга, ханум.

— Не будем играть словами. Итак, что я должна сделать?

— Ты не должна, ханум. Но если ты хочешь сделать доброе дело и помочь попавшей в беду женщине, которой нужно уехать отсюда, ты могла бы взять ее к себе служанкой. Я готов поклясться, что она будет хорошо служить тебе.

— А что это за женщина, и какая беда ее постигла? — спросила Хатедже, бросив на Карач-мурзу пытливый взгляд.

— Это одна здешняя татарка, ханум. Молодая и красивая. А что с ней случилось, она сама тебе расскажет. Это тебя развлечет в пути.

— Хорошо, я беру ее, оглан.

— Да вознаградит тебя Аллах за твое доброе сердце, ханум. Утром я пришлю ее к тебе.

Простившись с Хатедже, Карач-мурза возвратился в свой шатер, унося в душе какое-то безотчетное чувство тепла и умиротворения, которое не покидало его до самого сна.

ГЛАВА V

«Промысел Всевышнего простирается на всех, и все сущее подлежит его предопределению. Успех в делах — в деснице Аллаха, и удача сопутствует тому, кто для нее создан».

Абу-Насер Фараби,
тюркский философ IX—X веков

Выступив на следующее утро, отряд в обычном порядке двинулся на юго-восток, по направлению к реке Эмбе. Путь был нетруден и однообразен — бескрайняя степная низина, покрытая блеклой зеленью, которая местами переходила в бурые россыпи бесплодных песков, — ничто тут не радовало глаз путника и не привлекало к себе его внимания. И потому Карач-мурза, почти не глядя по сторонам, ехал все эти дни погрузившись в воспоминания и думы, что всегда помогало ему скоротать время таких томительно-унылых переходов.

Но если прежде подобные размышления обычно бывали приятны и вносили в его душу умиротворение и ясность, то на этот раз они были почему-то невеселы и тревожны. У него было такое чувство, словно он в своей жизни прошел мимо чего-то самого важного, не сделав того единственного, что действительно нужно было сделать. А что это было — он не знал и теперь тщетно силился это понять.

Мысленно он снова посетил все те места, где ему доводилось когда-либо побывать, воскрешая в памяти события и встречи, и в свете приобретенной с годами житейской мудрости проверяя правильность тех или иных принятых им решений. И казалось, больших ошибок не было, жизненный путь его был, несомненно, удачен и привел к тем вершинам, которых достигают только немногие избранники судьбы. Но, вместе с тем, его не покидало странное ощущение, почти уверенность в том, что все его решения и действия, кроме того единственного, которое он упустил, были совсем не важны и не нужны, и что если бы даже он решал и действовал совершенно иначе, было бы то же самое просто потому, что именно так должно быть.

Внезапно ему вспомнились предсказания карачевского колдуна Ипата. Разве он в чем-нибудь ошибся?

«Вот, делишь ты ложе и власть с прекрасной цари-

цей», — это так и было... «А вот, в почете и славе стоишь ты у самого престола могучего и грозного царя»,— все это есть сейчас. Но значит и дальше будет то, что видел и знал колдун двадцать два года тому назад: «Ты все потеряешь. Вижу, скачешь ты один по степи, и волосы твои и борода белы... Сюда скачешь, на Русь, и ляжешь в землю отцов.»

И разве не сказал ему то же самое митрополит Алексей? Значит, от его собственных решений ничего не зависит, потому что какая-то неведомая сила ведет его по заранее определенному пути, к определенной цели? К цели — да, но путь, наверное, мог бы быть иным, если бы он не упустил чего-то самого главного... А может быть и другое: митрополит Алексей и Ипат обладали каким-то таинственным знанием, которое позволяло им предугадывать, что он сделает в будущем и к чему это приведет?

«Аллах знает, что произойдет с каждым, — думал Карач-мурза, — и некоторым святым людям Он иногда открывает тайны будущего. Но вот та неведомая сила, которая ведет нас к тому, что заранее известно Аллаху, есть ли это Его воля? Если бы это было так, то люди делали бы только хорошее, потому что Аллах не может хотеть плохого. Значит Аллах руководит не всеми нашими действиями, а кое-что оставляет и на наш собственный выбор... Что же сделал я по воле Аллаха, и что по своему выбору? С какими людьми хотел меня связать Аллах и с какими я сам себя связал? Наир? Ирина? — начал он перебирать в памяти тех, с кем особенно тесно сводила его судьба. — Князь Дмитрий? Тулюбек-ханум? Тохтамыш?» И вдруг на ум ему неожиданно пришла Хатедже.

«Почему она? — удивился такой нелепости Карач-мурза. — Чужая женщина, с которой я несколько недель буду ехать одной дорогой, а потом никогда больше ее не увижу и, может быть, даже не вспомню о ней! Таких встреч у меня в жизни были тысячи, но разве кто-нибудь из этих случайно встреченных людей станет стучаться в двери моей памяти в тот миг, когда она зовет к себе только самых близких?»

Карач-мурза стал думать о другом, но Хатедже снова и снова возникала в его мыслях, и это его, наконец, обеспокоило.

«Надо посмотреть, что она делает, и узнать, не нуж-

но ли ей чего-нибудь, — подумал он. — Уже три дня я ее не видел.»

Съехав с дороги, он придержал своего коня, пока с ним не поравнялась кибитка Хатедже, шедшая сзади. День выдался теплый, полы кибитки были откинуты, и Карач-мурза увидел Хатедже, полулежавшую на подушках. Хотя прошло уже полтора года с того времени, когда она овдовела, на ней был темно-лиловый[1] шелковый халат, несколько ее старивший. Карач-мурза это сразу заметил, но мысленно вывел отсюда заключение, выгодное для Хатедже: «Она еще совсем молода, но в таком халате всякая женщина будет казаться на десять лет старше.»

— Привет тебе, благородная ханум, — сказал он, подъезжая вплотную к кибитке. — Я хочу спросить, не утомил ли тебя сегодняшний переход? До ночлега нам остается еще два часа, но если ты устала, я прикажу остановиться сейчас, и мы заночуем здесь. Степь везде одинакова.

— Благодарю тебя, светлейший оглан, за такое внимание ко мне, но я совсем не устала. Сегодня я хорошо выспалась в пути и потому могла бы ехать целую ночь.

— Тебе, наверное, не терпится приехать домой, ханум?

— Домой? Я не знаю, где теперь мой дом, оглан. В Ясах, после смерти мужа, — да упокоит его Аллах, — у меня никого не осталось.

— У тебя нет детей, ханум?

— Были сын и дочь. Но их уже давно, в одно и то же лето, унесла болезнь. В Ясах, в доме эмира Фарука, может быть, живет сейчас кто-нибудь из других его жен, со своими детьми. Но мне туда не хочется возвращаться.

— И не надо, ханум. Я отвезу тебя к твоему великому дяде, эмиру Тимур-беку, — да пошлет ему Аллах долгую жизнь, — и он позаботится о тебе.

— Да, я знаю, что он меня не оставит и что я ни в чем не буду испытывать нужды, — промолвила Хатедже, и Карач-мурза уловил в ее голосе грусть. — Он очень любит свою сестру, мою мать, оглан.

— А твоя почтенная мать жива?

— Жива. Но отец мой убит уже много лет назад, и

---

[1] Лиловый — у тюркских народов траурный цвет.

ее взял к себе старший брат отца, Дауд-ходжа, эмир Гузара[1].

— Я думаю, что если ты захочешь, то и тебя возьмет в жены кто-нибудь из родственников твоего покойного мужа, эмира Фарука, да блаженствует он вечно в садах Аллаха[2]. Я бы хотел, чтобы твоя жизнь сложилась очень счастливо, ханум.

— Благодарю тебя, оглан. Но если ты в самом деле хочешь, чтобы моя жизнь сложилась счастливо, не желай, чтобы меня взял в жены кто-нибудь из родственников покойного эмира Фарука, — смеясь, ответила Хатедже.

— Почему, ханум? Разве все они плохие люди?

— Нет, оглан, я думаю, что они не хуже, чем другие. Но я не хочу быть женой никого из них.

— Ну, тогда пусть Аллах пошлет тебе такого мужа, какого ты сама хочешь, достойнейшая ханум.

— Это другое дело. Но я пока не думаю об этом.

— Так и должно быть, ханум: об этом прежде тебя подумает тот, кому суждено стать твоим мужем.

— Тогда мне и делать нечего, — снова засмеялась Хатедже, лицо которой при этом удивительно хорошело. — Остается только ожидать, когда приедет за мной тот, кого присудил мне Аллах.

На некоторое время разговор у них оборвался. Потом Карач-мурза спросил:

— А довольна ли ты, ханум, своей служанкой Фатимой?

— Да, она очень старательна и заботлива, мне с нею хорошо, оглан. Я должна благодарить тебя за эту женщину.

— Если так, я рад за тебя и за нее, добрейшая ханум.

— Она мне рассказала о себе все, оглан. И теперь я знаю всю правду.

— Какую правду, ханум? — удивился Карач-мурза. — Разве я хотел от тебя что-нибудь скрыть? Я не рассказал тебе историю Фатимы только потому, что она могла это сделать гораздо лучше, чем я.

— Когда ты попросил меня взять ее служанкой, я

---

[1] Гузар или Гизар — город и область в Средней Азии, недалеко от Бухары.

[2] По обычаю среднеазиатских народов, когда умирал семейный мужчина, его вдов разбирали в жены ближайшие родственники покойного. Они же принимали на себя заботу о его детях.

сначала подумала совсем другое, — слегка краснея, сказала Хатедже. — И теперь мне очень стыдно перед тобой за эти недостойные мысли, оглан.

— Если бы то, что ты подумала, было правдой, ханум, зачем бы я стал хитрить и вмешивать тебя в это дело? Наши обычаи и законы очень удобны для мужчин.

— Это потому, что их придумали мужчины! Но для женщин эти законы несправедливы и жестоки. Наша доля, даже в богатых и знатных семьях, очень тяжела, оглан. И потому всякое внимание, которое нам оказывают там, где мы его не привыкли видеть, мы, женщины, ценим очень высоко. То, что ты сделал для Фатимы, говорит о том, что у тебя доброе сердце, оглан.

— Я увидел несправедливость, и в моей власти было ее исправить, — сказал Карач-мурза. — Всякий честный человек сделал бы то же самое, и не стоит больше говорить об этом, ханум.

— Можно и не говорить. Но когда в плохой жизни увидишь что-нибудь хорошее, об этом хочется потом вспоминать, оглан.

«Может быть, потому я тебя сегодня и вспоминал все время», — подумал Карач-мурза, но вслух сказал после небольшого молчания:

— Тебе ничего не нужно, ханум? Если у тебя есть какие-нибудь пожелания, скажи, и я рад буду их исполнить.

— Спасибо, оглан, но мне пока ничего не нужно.

— Ну, тогда я поеду. Да пребудет с тобою Аллах, благородная ханум!

— Аллах для всех. Он и тебя не оставит своими милостями, достойнейший оглан.

ГЛАВА VI

> **«Когда пускаешься в путь не один, твой спутник должен быть лучше тебя».**
>
> *Татарская пословица*

До Эмбы дошли на шестой день после выступления из Сараил-Джадида и заночевали на левом, восточном ее берегу, вернее, на левой стороне ее русла, ибо в это время года реки тут, собственно, не было: Эмба до-

носит свои воды до Каспия только в пору весеннего половодья. Позже она пересыхает и превращается в цепочку отдельных мочаков и небольших озер, заросших камышом и изобилующих болотной дичью.

Отсюда путь повернул прямо на юг и стал еще более унылым и безотрадным. Обходя раскинувшуюся справа песчаную пустыню и часто встречающиеся солончаки, отряд целую неделю двигался ровной, как стол, низиной, поросшей кустиками полыни и буюргуна[1]. Корма для лошадей тут было мало, колодцы и водоемы тоже встречались редко, и вода в них обычно бывала солоноватая, едва пригодная для питья, а потому Карач-мурза старался как можно скорее миновать этот участок пути. Теперь снимались со стоянки едва рассветало и с двумя-тремя короткими остановками для отдыха шли до наступления темноты.

Время этих переходов тянулось особенно медленно, казалось, что дню не будет конца. Глядеть вокруг было не на что; все, о чем хотелось вспомнить и подумать, было во всех подробностях воскрешено в памяти и обдумано, происшествий никаких не случалось, и Карач-мурза томился от скуки. Теперь его часто можно было видеть едущим не в голове отряда, как прежде, а рядом с кибиткой Хатедже. Ханум была словоохотлива, в разговоре она обнаруживала много наблюдательности и ума, беседовать с нею было приятно и интересно, а потому Карач-мурза с каждым днем уделял этому занятию все больше времени. Показаться назойливым он не боялся, ибо было вполне очевидно, что Хатедже эти встречи тоже доставляют удовольствие: даже в плохую погоду войлочный полог ее кибитки всегда был откинут с той стороны, с которой он обычно подъезжал.

Наконец равнина начала слегка повышаться, потом пошла вверх крутыми ступенями и уступами. Поднявшись по ним, отряд вступил на Устюртскую возвышенность, по которой предстояло идти дней пятнадцать. Характер местности, по-прежнему оставаясь унылым, теперь несколько изменился: песчаные почвы уступили место глинистым, исчезли солончаки, появились отдельные кустарники, а местами и целые заросли сак-

---

[1] Буюргун — полукустарниковое растение, служащее в этих местах кормом для верблюдов и топливом.

саула[1]. Но что самое важное, сейчас тут были хорошие пастбища. На Устюрте трава, совершенно выгорающая летом, осенью отрастает, и в это время года все окрестные кочевники всегда перегоняют сюда свои стада. Но к началу декабря, когда тут начинают свирепствовать сильнейшие бураны и стужи, скот гнали на Мангышлакский полуостров, где условия для его зимовки были наиболее благоприятными, и откуда он, с наступлением тепла, двигался на север, в низовья Эмбы и Джанка, наливавшиеся весенней зеленью.

По Устюрту нельзя было двигаться ни быстрей, ни медленней, чем позволяли расстояния между имевшимися здесь колодцами. Они отстояли друг от друга на пять — шесть фарсахов. Утром пустившись в путь от одного из них, останавливались на ночлег, дойдя до следующего.

Первые пять дней и тут ничто не нарушало установившегося порядка, и Карач-мурза ежедневно проводил два-три часа в разговорах с Хатедже. Но на шестой день он возле ее кибитки не появился, чем ханум была немного удивлена и обеспокоена. Однако вскоре к ней подъехал старший нукер царевича и объяснил причину его отсутствия:

— Светлейший оглан Карач-мурза, да усыплет Аллах его жизненный путь цветами счастья, — сказал нукер после обычного приветствия, — сегодня утром получил известие о том, что в пяти фарсахах отсюда кочует один из туменов[2] Мангышлакского хана и что сам хан пресветлый Кепек-Берди сейчас находится при этом тумене. Может быть ты не знаешь, благородная ханум, что пресветлый хан Кепек-Берди — это третий сын великого хана Тохтамыша и племянник нашего оглана, да возвысится их славный род над всеми живущими. Наш оглан захотел повидать племянника и взять у него свежих лошадей, взамен тех, которые у нас пали или заболели в пути. Он уехал туда раньше, чем мы выступили, и догонит нас на следующей ночевке. Но если тебе что-нибудь будет нужно, благородная ханум, светлейший оглан Карач-мурза приказал мне исполнить все, что ты пожелаешь.

---

[1] Саксаул — род кустарника, иногда невысокие деревья, растущие во многих засушливых областях Средней Азии. Ценен там как топливо.

[2] Тумен — десятитысячный отряд конницы.

Хатедже поблагодарила нукера и сказала, что ей ничего не нужно. Карач-мурза возвратился к отряду поздно вечером, когда в стойбище уже догорали последние костры. В этот день у него сильно разболелись зубы. Он почти не спал ночью. Наутро боль утихла, но зато левая щека вздулась громадной опухолью. В таком виде показываться Хатедже он не хотел, а потому и на этом переходе не приблизился к ее кибитке. Но когда остановились на ночлег и разбили стойбище, один из нукеров доложил царевичу, что пришла служанка ханум Хатедже и просит позволения говорить с ним.

— Фатима! — воскликнул Карач-мурза, узнавший вошедшую в шатер женщину. — Что-нибудь случилось с твоей госпожой?

— Нет, сиятельный оглан, благодарение Аллаху, она здорова и с ней ничего плохого не случилось. Но моя благородная госпожа сегодня видела издали, что у тебя обвязана голова, и она поручила мне узнать, здоров ли ты, пресветлый оглан, и не произошло ли с тобой какого-нибудь несчастья, когда ты ездил в стойбище Мангышлакского хана?

— То, что со мной случилось, это такая ничтожная мелочь, что о ней не стоит и говорить. Скажи это своей госпоже, и да вознаградит ее Аллах за доброе сердце.

— Я ей передам твои слова, пресветлый оглан. Но моя благородная госпожа еще спрашивает: может быть, она чем-нибудь вызвала твой гнев или обиду, и потому ты не подъезжаешь к ее кибитке?

— Да покарает меня Аллах, если я когда-нибудь допущу в свое сердце гнев или обиду на добрейшую ханум Хатедже! Но кто захочет показаться перед молодой и красивой женщиной в таком виде! — воскликнул Карач-мурза, снимая шерстяную повязку, закрывавшую его лицо. — Вот, смотри, это только половина того, что было утром. Скажи благородной ханум, что завтра я непременно приеду сам узнать о ее здоровье.

— Хорошо, оглан, я в точности повторю ей все твои слова. А сейчас мне можно идти?

— Погоди... Я давно хотел тебя спросить: хорошо ли тебе живется у ханум Хатедже и довольна ли ты своей судьбой?

— Я довольна, пресветлый оглан, а ханум Хатедже, — да сделает ее Аллах самой счастливой из женщин, — очень добра ко мне. Она обещала попросить

своего великого дядю Тимур-бека, чтобы он отпустил моего мужа, если он жив и находится в плену.

— Она это обязательно сделает, — промолвил Карач-мурза, отвечая не столько Фатиме, сколько своим собственным мыслям.

— Я тоже так думаю, оглан. Ханум Хатедже нравится делать людям добро.

— Да, но она никогда ничего не хочет для себя! Сколько раз я ее спрашивал, и всегда слышу один ответ: «Спасибо, оглан, мне ничего не нужно». Ты с нею все время вместе и должна знать, что ей хочется и чего ей не хватает. Так вот, скажи: что можно сделать такое, чтобы ей было приятно?

— Подъезжай завтра как можно раньше к ее кибитке, пресветлый оглан, — промолвила Фатима, и в глазах ее метнулась лукавая искорка.

Карач-мурза пытливо поглядел на нее, думая, что это только предпосылка, за которой последует ответ на его вопрос. Но Фатима не говорила больше ни слова. Поняв, он нахмурился и сказал:

— Женщина, мне кажется, ты позволяешь себе непочтительность по отношению к своей госпоже.

— Да сохранит меня от этого великий Аллах! — воскликнула Фатима, всплеснув руками. — Я сказала так потому, что знаю: моей благородной госпоже всегда приятно видеть тебя, светлейший оглан.

— Я тебя не об этом спрашиваю. Может быть есть вещь, которая доставила бы ей удовольствие, или какое-нибудь лакомство, которое она особенно любит?

— Сегодня ханум ничего не ела, — подумав немного, ответила Фатима. — У нее было скверное настроение, и она даже отказалась от винограда, который ты ей недавно прислал. Но потом она сказала: «Я больше всего люблю хорошие дыни. Вот, скоро мы приедем в Хорезм, и там я буду их есть каждый день».

— Дыни? Ну, хорошо, иди. Скажи благородной ханум, что я желаю ей здоровья и спокойного сна.

Едва ушла Фатима, Карач-мурза вызвал к себе четырех молодых нукеров, из числа самых расторопных и исполнительных.

— В десяти фарсахах отсюда, на заход солнца, лежит караванный путь из Хорезма в Мангышлак, — сказал он им, — а в двенадцати фарсахах к востоку проходит такой же путь на Берчагур. Возьмите каждый по хорошему сменному коню и скачите двое на

запад и двое на восток. Выйдя на эти пути, двигайтесь, как и мы, к Хорезму, навстречу идущим оттуда караванам. Мне нужны дыни, чем больше, тем лучше, но хотя бы две или три. В это время года их еще везут иногда с берегов Джейхуна[1] к столу Мангышлакского и Тургайского ханов. Вот вам деньги, чтобы их купить, кроме того, за каждую дыню, которую я получу прежде, чем минует три дня, даю вам по коню. Если ничего не достанете за неделю, возвращайтесь к отряду. Все поняли?

— Поняли, пресветлый оглан!

— Тогда идите. Сейчас можете поспать три часа, потом — в путь. Ночь сегодня лунная, вы можете ехать быстро и вскоре после восхода солнца быть уже на местах.

На третий день к вечеру нукеры, выехавшие в сторону Мангышлака, возвратились с шестью превосходными дынями. Им посчастливилось почти сразу встретить караван, в котором нашлись две корзины чарджуйских дынь, славившихся на весь Восток. Их везли в ставку хана Кепека, но имя Карач-мурзы и хорошая цена побудили караван-баши[2] к сговорчивости.

Дыни были сейчас же отправлены в шатер ханум Хатедже. А на следующее утро, когда тронулись в путь, и Карач-мурза, как обычно, подъехал к ее кибитке, она сказала:

— Да воздаст тебе Аллах годами здоровья и счастья за твой вчерашний подарок, оглан. Я так люблю дыни! Но я не понимаю, откуда ты это узнал, и как ты сумел достать их в этой пустыне?

— Я на своем веку видел немало хороших колдунов, ханум, и сам от них кое-чему научился, — улыбнулся Карач-мурза.

— Наверное, ты учился у очень добрых колдунов, оглан. Но я сейчас хотела бы знать другое...

— Спрашивай, ханум. Если я сам знаю это, я тебе отвечу.

— Хорошо, оглан, тогда скажи: ты так меня балуешь потому, что тебе это приказал великий хан Тохтамыш, или потому, что тебе это приказывает твое сердце?

---

[1] Джейхун — арабское название реки Амударьи.
[2] Караван-баши — каравановожатый.

— И то и другое, ханум-джан. Хан Тохтамыш повелел мне заботиться о том, чтобы тебе было хорошо и удобно ехать, но я никогда не думал, что мне будет так приятно исполнять это повеление!

ГЛАВА VII

«Я видел русов, когда они прибыли по своим торговым делам в землю хозар и расположились возле устья реки Итиль. Я никогда не встречал людей с более совершенными телами, чем они. Они подобны пальмам, белокуры, румяны лицами и белы телами»

Ахмед Ибн-Фадлан,
арабский путешественник X века

Два дня спустя, после особенно длинного и унылого перехода, отряд Карач-мурзы остановился на ночлег у самого края Сарыкамышской котловины, получившей свое название от густых зарослей желтого камыша[1], которые покрывали ее дно. Но прежде тут находилось огромное озеро, его поверхность достигала почти десятка тысяч квадратных верст, при глубине до пятидесяти сажень. Некогда в это озеро, которое историки древности называют Хорезмийским, впадала река Амударья. Отсюда, по пересохшей теперь реке Узбою, воды ее вливались в Каспийское море.

Но Амударья, в своих низовьях несущая большое количество ила, в силу некоторых особенностей своего течения, откладывала почти весь этот ил на левый берег, что при совершенно ровной местности вызывало постоянное смещение ее русла вправо, до тех пор, пока она не проложила себе путь в Аральское море, находившееся сравнительно недалеко. Хорезмийское озеро, лишенное притока воды, со временем высохло. Но еще и сейчас, при особенно сильных разливах, часть амударьинских вод устремляется в свое старое русло и достигает Сарыкамышской котловины, отстоящей от нынешнего русла реки всего на сто двадцать верст. И потому у многих властителей Хорезма и Персии уже

---

[1] Сары — по-татарски «желтый». Камыш тоже татарское слово.

с глубокой древности возникала мысль о возвращении Амударьи и на ее прежний путь[1].

Еще накануне Карач-мурза рассказал Хатедже все, что ему было известно о Сарыкамышской котловине, и именно по ее просьбе он приказал отклониться немного в сторону от прямого пути, чтобы показать ей это интересное место, с которым у хорезмийцев было связано много легенд и преданий.

Пока разбивали шатры и устраивали стойбище, Карач-мурза, вместе с Хатедже и сопровождавшей ее Фатимой, подошел к самому склону гигантской впадины, полого уходившему вниз на несколько десятков сажень. По склону местами были рассыпаны небольшие заросли и отдельные кусты саксаула, да тускло серебрились чахлые кустики полыни. Дно впадины, кое-где ерошившееся желтой щетиной высохших камышей, волнистой песчаной пустыней уходило вдаль и только в одном месте, совсем близко от стоявших наверху людей, виднелся небольшой оазис зеленой осоки, среди которой еле приметно поблескивала вода.

— Будет хорошо, если там вода, пригодная для питья, — сказал Карач-мурза. — Здесь, наверху, мы нашли только одну большую яму, наполненную последними дождями, но этого нам едва ли хватит. Если хочешь, ханум, спустимся вниз и попробуем эту воду, а если ты устала, я пошлю туда кого-нибудь из моих людей.

— Нет, оглан, пойдем сами, ведь это совсем близко. Я целый день сидела в кибитке и теперь буду рада походить немного.

Они начали спускаться в котловину, что оказалось совсем не так легко, как думала Хатедже, глядя на откос сверху. Местами он был довольно крут, песок осыпался и скользил под ногами, но все же, схватившись за руки и поддерживая друг друга, они со смехом спустились, вернее, сбежали вниз и попробовали воду. Она оказалась соленой и для питья была непригодна. Под

---

[1] Таким образом, этот ныне воскрешенный проект далеко не нов. В России его первым выдвинул Петр Великий, которого соблазняла возможность открытия водного пути из Волги почти к самым границам Индии. В то время ходили также слухи о том, что на дне Амударьи залегает золотой песок, который можно будет добывать в огромном количестве, отведя реку в ее прежнее русло. Для изучения этого вопроса на месте Петр отправил туда специальную экспедицию под начальством одного из образованнейших людей своего времени, князя Девлет-мурзы Бековича-Черкасского. Эта экспедиция была предательски истреблена хивинцами.

слоем нанесенного ветром песка дно впадины было покрыто солончаками, кое-где выступавшими даже на поверхность.

Отдохнув немного, они стали подниматься, что заняло гораздо больше времени, чем спуск, и выбрались на поверхность, когда совсем стемнело. В стойбище все было уже налажено: шатры и кибитки стояли в обычном порядке, всюду горели костры, на которых люди готовили себе пищу, пощипывая редкую траву, вокруг ходили стреноженные кони.

Прямо у места, куда вышли Карач-мурза и Хатедже, за жидкой порослью саксаула, пылал большой костер, возле которого сидела кучка нукеров, о чем-то оживленно беседуя. Уловив несколько слов из их разговора, Карач-мурза легонько потянул за руку свою спутницу.

— Может быть, мы услышим кое-что интересное, ханум: здесь рассказывают всякие истории, связанные с этим местом. Но если мы подойдем к костру, воины из почтения замолчат или будут говорить очень коротко. Лучше сядем здесь, по эту сторону кустов, и будем слушать.

* *
*

— Это правда, что тут было озеро, — говорил пожилой десятник Салех, очевидно продолжая спор с кем-то из товарищей. — Но попробуй объехать эту впадину кругом: если у тебя хороший конь, и если Аллах будет к тебе милостив и защитит по дороге от джинов [1], тебе понадобится для этого шесть или семь дней. Разве могло такое озеро высохнуть, как обыкновенная лужа?

— Так мне говорил в Ургенче один старый араб, который очень много знал, — ответил нукер Шахмир, сидевший по другую сторону костра.

— Это ты думаешь, что он многое знал. А я думаю, что когда Аллах раздавал людям мудрость, в мешок твоего араба ничего не попало.

— А куда же тогда девалась вода из этого озера?

---

[1] Джины — духи. По верованиям татар, они делились на черных — злых, и белых — добрых или, во всяком случае, не делавших людям особенного зла.

— Ее выпил шайтан, — промолвил один из воинов.

— Шайтан не так глуп, чтобы надуваться водой, — сказал Салех, — он может пить напитки получше. А воду из озера выпустили джины, когда им понадобилась эта яма.

— Куда выпустили?

— Под землю. Они пробили в дне озера дыру, и через эту дыру вся вода ушла в великое море, которое находится под нами.

— Говорят, что землю держит на рогах корова, а она стоит на спине рыбы, которая плавает в этом море, — сказал Шахмир. — Рыбе-то ничего, а корова могла рассвирепеть и сбросить землю со своих рогов, когда джины вылили ей на голову столько воды.

— Так думали раньше, а теперь в эту корову и рыбу не верят даже дети. Ученые люди уже узнали, что наша земля, как большая лепешка, просто плавает в великом море.

— А зачем джинам понадобилось выпускать воду из этого озера? Разве им мало места на суше?

— Им пришлось уйти оттуда, где они прежде жили, и искать себе новое убежище. Ты что, никогда не слыхал про войну черных и белых джинов?

— Кое-что слыхал, абый[1]. Но если тебе известно все, как у них было, прошу тебя рассказать, — промолвил Шахмир. — Мы все будем благодарны тебе за те дары, которые ты нам уделишь из сокровищницы твоих знаний.

— Хорошо, слушайте: когда-то очень давно, в самых богатых и цветущих землях Арабистана жил народ, который назывался хаду. И ни один другой народ на земле не был так щедро одарен всеми милостями Аллаха. Это были красивые, стройные, как пальмы, великаны, со светлыми волосами и голубыми глазами; самый маленький из них был ростом как два обыкновенных человека, поставленных один на другого, а жили они по тысяче лет и больше. Ими правил грозный и могущественный царь Шаддад, который покорил себе соседние народы, и все они платили ему дань. У хаду было все, чего только может пожелать человек: на их тучных пастбищах множились стада скота, земля сама

[1] Абый — по-татарски старший брат. Также почтительное обращение к старшему товарищу.

производила для них лучшие плоды, и им не нужно было даже работать.

Но вместо того, чтобы жить в благочестии и славить Аллаха за все его милости, хаду стали забывать его и впадать в самые черные грехи. И настал день, когда Аллах не захотел больше терпеть этого и решил сурово наказать хаду. Он навел сон на весь их народ, а потом послал страшный вихрь, который поднял их с земли и перенес далеко, в холодный полунощный край, где месяцами не видно солнца. И когда хаду проснулись, Аллах сказал их царю Шаддаду: «Там, где вы были раньше, вам жилось слишком легко, и от безделья вы впали в грехи и нечестие. Теперь я перенес вас в такую землю, где вам придется много трудиться, чтобы не умереть от голода и холода. Если это вас исправит и вы научитесь жить достойно, я возвращу вас назад. Но если и здесь не смиритесь, будет совсем худо: я переселю вас еще дальше на полночь, где никогда не восходит солнце и откуда отрезаны все пути».

Ну, хаду сначала взялись за ум и стали жить так, кал хотел Аллах. Кругом были дремучие леса, и в них много всяких зверей и птиц. Хаду сделали себе луки, стрелы и копья, стали охотиться, питаться мясом убитых животных и одеваться в звериные шкуры, из древесных стволов они построили себе теплые дома, научившись этому искусству у русов, которые были их ближайшими соседями. Русы тогда были совсем другие — низкорослые и темноволосые, но хаду стали общаться с их женщинами и вот, прошло четыреста или пятьсот лет, и все русы сделались похожими на хаду — такими же сильными, голубоглазыми и светлыми, только поменьше ростом.

— Теперь я понимаю, почему русы такие хорошие воины, — промолвил Шахмир, воспользовавшись тем, что рассказчик на минуту замолк. — Свою силу и храбрость они получили от этих великанов!

— Это так и есть, — подтвердил Салех. — И если бы хаду остались там дольше, то, наверное, эти два народа совсем бы смешались, и русы сделались бы непобедимыми. Но на счастье всех других народов, этого не случилось.

Недалеко от того места, куда Аллах перенес хаду, в глубине лесов находилось царство белых джинов, земля которых была подобна раю. Золото там лежало, как простой песок, а драгоценные камни всюду валя-

лись кучами. А черные джины жили за стеной высоких гор, в диком полунощном краю, где всегда темно и холодно. Белые джины были сильней, и черные никогда не отваживались нападать на них. Но когда здесь появился народ хаду, царь черных джинов начал уговаривать царя Шаддада вместе идти войной на белых джинов. «Я возьму себе их землю, — говорил он, — потому что в моей земле очень скверно жить, а ты возьмешь их богатства, которые сделают тебя владыкой и повелителем всех людей».

— Царь Шаддад долго не соглашался, но потом подумал: «Когда еще Аллах захочет перенести нас обратно в нашу землю? А тут, если мы победим белых джинов, мы и без помощи Аллаха станем жить лучше, чем в раю!» Ну, началась у них война, и продолжалась она девяносто лет. Вначале побеждали черные джины и их союзники хаду, которые в это время уже покинули свои леса и вышли на берега реки Итиль[1]. Но потом на помощь белым джинам пришел святой Кидырь[2] со своим волшебным копьем, и они победили врагов. Царство черных джинов было разрушено, и им пришлось искать себе другое место. И вот, тогда они прилетели сюда, выпустили воду из этого озера и поселились в его пустом ложе.

— Чем же им так приглянулась эта пустыня? — спросил молодой нукер. — Если бы я был джином, я бы выбрал место получше.

— Для черных джинов это было самое лучшее место потому, что когда они высушили озеро, получилась впадина, может быть самая глубокая на земле[3]. И тут им не надо бояться белых джинов, потому что белые джины не могут спускаться так низко, точно так, как человек не может спуститься под воду.

— Не даром говорят: у лисы от врага сто уверток, но самая лучшая из них — не лезть на глаза, — сказал один из нукеров.

— Если это верно, то да помилует нас Аллах, — сказал другой. — Здесь, внизу, полно джинов, а мы пришли сюда ночевать!

— Не бойся, — успокоил его Салех, — с нами ничего плохого не случится: наш оглан, да живет он ты-

---

[1] Итиль или Атиль — арабское и тюркское название Волги.

[2] Святой Кидырь или Хызр — Георгий Победоносец, столь же высоко почитаемый мусульманами, как и христианами.

[3] Дно этой впадины лежит на 45 метров ниже уровня моря.

сячу лет, очень ученый человек и знает верные заклинания от джинов. Разве иначе посмел бы он остановиться в таком месте?

— Ну, а что сделали белые джины с народом великанов хаду? — спросил Шахмир после небольшого молчания.

— Они загнали их туда, где прежде жили черные джины, в страну ночи и холода, а дорогу назад загородили такими высокими горами, что через них нельзя перейти. Там совсем нет зверей и птиц, водилось только огромное животное хуту, с одним рогом на носу, и еще другое — мухор[1], у которого были два длинных белых рога на голове. Великаны хаду научились убивать этих животных и питались ими, но потом белые джины послали туда громадную птицу Тавлынг, которая начала преследовать этих зверей и, спасаясь от нее, все они ушли под землю, где живут и сейчас, в пещерах, которые сделали когда-то черные джины, чтобы зимой укрываться там от стужи.

— И все хаду умерли с голода?

— Нет, Аллах не дал им погибнуть: теперь к берегам их земли два или три раза в год приплывает рыба такой величины, что нужно идти целый день, чтобы дойти от ее хвоста до головы. Хаду обрезают с этой рыбы мясо, сколько им нужно, потом рыба уплывает в море и опять обрастает мясом, и тогда возвращается к хаду, которые снова едят ее.

— И они никогда не пробовали уйти из этой гиблой страны и отыскать дорогу в теплые земли? — спросил Шахмир.

— Они, наверное, и сейчас пробуют, но не могут этого сделать: горы, которые их замыкают, слишком круты и высоки. Только десять хаду за все время сумели добраться до их гребня, но белые джины заколдовали это место, и всякий, кто туда ступит, сейчас же превращается в камень. Так эти десять окаменевших великанов стоят там и до сих пор[2]. Но под горами есть

---

[1] Так в то время представляли себе ископаемых носорога и мамонта, бивни которого часто находили в северных землях, считая их рогами и думая, что эти животные живут под землей. Предания о них и о птице Тавлынг сохранились в мансийских сказаниях.

[2] На гребне Маньпапы-Ньер — одной из гор Северного Урала, действительно высятся десять каменных глыб, похожих на фигуры великанов, что, вероятно, и дало основание для этой легенды.

множество пещер и случалось, что кто-нибудь из хаду, заблудившись в этих пещерах, несколько дней спустя выходил по эту сторону гор. Только теперь они стали совсем дики и свирепы, и их сразу убивают те народы, в земли которых они приходят. Я сам видел костяк одного такого хаду возле города Великий Булгар. Он висит на большом дереве, к которому булгарский царь когда-то велел приковать этого хаду за то, что он убивал и ел людей [1].

— И очень велик этот костяк?

— Он имеет двенадцать локтей высоты, а голова — как большой котел. Такой человек может перешагнуть через коня, как через овцу.

У костра воцарилось довольно долгое молчание. Карач-мурза и Хатедже хотели уже встать и незаметно уйти, но в это время над самой котловиной небо прочертила падающая звезда и Шахмир сказал:

— Это, наверно, один из здешних джинов слишком близко подлетел к небу, и Ризван [2] поразил его огненной стрелой [3].

— Я слыхал, — промолвил один из сидевших у костра, — что если такая стрела не попадает в джина, она уходит в землю и превращается в золотую палочку.

— Это правда, — сказал Салех. — И тому, кто найдет такую палочку, не страшны никакие духи и никакое колдовство.

— А вот, ты говорил, абый, что в царстве белых джинов золото и драгоценные камни лежат прямо на земле. Что же джины делают с этими сокровищами?

Салех, видимо, не знал, как распоряжаются джины своими богатствами, но он не хотел показать этого своим подчиненным и потому, подумав немного, сказал:

— Они просто сваливают эти сокровища в кучи. Джин, также как и человек, когда у него слишком много золота, не знает, что с этим золотом делать, но ему нравится иметь его побольше. Ты, может быть, слыхал, сколько золота было у багдадского халифа Аль-Мустансира и как оно ему пригодилось?

---

[1] Арабский путешественник Ибн-Фадлан, побывавший в Волжской Болгарии в 922 году, пишет, что он сам видел и измерил этот скелет.

[2] Ризван — страж мусульманского рая.

[3] По верованиям ордынцев, падающие звезды — это стрелы, которыми ангелы отражают злых духов, пытающихся пробраться на небо.

— Не слыхал, абый. Но если ты удостоишь нас этим рассказом, мы с радостью послушаем.

— Халиф Аль-Мустансир владел самыми плодородными землями и покорил многие народы, которые платили ему дань. Ему со всех сторон везли золото, и он был богаче, чем все другие цари, взятые вместе. И вот, пошел на него войной ильхан Хулагу[1] и осадил Багдад. У халифа было войско вдвое больше, чем у ильхана, но это войско сражалось плохо, потому что оно не любило скупого Мустансира. На третий день Хулагу взял город и захватил халифа в плен. В его дворце он нашел огромную башню, которая почти доверху была наполнена золотом. И тогда ильхан спросил Мустансира: «Почему ты не раздал это золото своим воинам, чтобы они лучше тебя защищали?» Халиф ответил: «Я не хотел его расходовать на это потому, что воины и так обязаны были защищать меня». «Для чего же ты берег эти сокровища? — спросил ильхан, и Мустансир не знал, что ему ответить. Тогда ильхан Хулагу приказал запереть его в этой башне и сказал:

«Если ты всю жизнь собирал золото, не зная, для чего это делаешь, попробуй есть его, потому что ничего другого я тебе не дам». И халиф Мустансир на пятый день умер в этой башне от голода.

— Один мудрец сказал: добро скупого приносит пользу насильнику.

— Ильхан Хулагу был великий воин, — промолвил Салех. — Но его старший брат Хубилай-хан[2] был самым мудрым из правителей. Я слыхал такой рассказ: однажды к великому хану Хубилаю пришли священнослужители различных народов, и каждый уговаривал его принять свою веру. Великий хан Хубилай выслушал их всех и ответил: «Я вижу, что есть один Бог и четыре великих пророка, которых почитают в мире: Магомет, Исса, Мосса[3] и Будда. Зачем выбирать для поклонения одного из них, а трех других делать своими врагами? Я буду почитать их одинаково и молиться всем четырем, чтобы тот из них, который воистину старше и сильнее, мне помогал, а три остальные не мешали».

---

[1] Ильхан означает «лучезарный хан» — титул, который носил Хулагу и его царствовавшие потомки.

[2] Хубилай-хан — внук Чингиз-хана, китайский император, основавший династию Юань.

[3] Исса — Иисус Христос, Мосса — Моисей. Оба они у мусульман почитаются великими пророками.

И из всех царей ни у кого не было такого счастливого царствования, как у Хубилай-хана.

— Счастливое царствование бывает у такого царя, у которого хорошие и верные военачальники, — сказал Шахмир.

— Еще счастливее царствуют те, которые знают, кого надо поставить военачальниками. Мне рассказывали в Хорезме: пришел один мудрец к какому-то царю, и тот стал жаловаться: «Я самый несчастный из царей, ибо у меня плохой начальник войска и плохой лекарь, а потому враги мои долго живут, а друзья скоро умирают». Тогда мудрец сказал ему: «А ты, царь, поменяй их местами. Твой начальник войска будет хорошим лекарем, потому что он осторожен и не умеет лишать людей жизни. А лекарь, у которого большой опыт в умерщвлении людей, будет очень полезен во главе твоего войска».

Все засмеялись, а Шахмир сказал:

— Это, наверное, был тот самый мудрец, который, когда его спросили, что на свете тяжелее всего, ответил: «Сейчас я голоден и для меня тяжелее всего пустой желудок». Наш плов уже сварился, и я думаю, что нам пора наполнить наши желудки, чтобы они стали легче![1]

— Тебе пришла очень счастливая мысль, послушать у этого костра, — сказала Хатедже, прощаясь с Карач-мурзой у входа в свой шатер. — Я получила большое удовольствие и услыхала так много интересного, оглан!

— Если так, я рад и за тебя и за себя, ханум. Этот вечер и для меня останется памятным.

— Но ведь ты, наверно, слыхал почти все, что рассказывали эти воины про джинов и про великанов?

— Слыхал все и даже много больше того, ханум. Завтра, если хочешь, я расскажу тебе остальное. Но сегодня мне хотелось, чтобы их разговоры у костра продолжались еще долго.

— Мне тоже, оглан, — поглядев Карач-мурзе в глаза, сказала Хатедже. Потом опустила голову и добавила после небольшого молчания: — Когда мы вы-

---

[1] Различные варианты легенды о народе хаду и о войне джинов дошли до нас в сочинениях арабских писателей Иби-Фадлана, Аль-Масуди и Ал-Гарнати. Другие упомянутые тут предания, легенды и суеверия почерпнуты из книг Абуль Фараджа, Ала ад-Дина Джувейни, Марко Поло и др.

ехали из Сарая-Берке, я думала, что наш путь будет очень долгим. А теперь я жалею, что Ташкент не находится на тысячу фарсахов дальше.

ГЛАВА VIII

«Тигра не хватай за хвост, а если схватил, то не отпускай».

Туркменская пословица

В начале ноября отряд Карач-мурзы вышел на берег Амударьи. Самая трудная часть пути была закончена, и теперь, до самого Самарканда, предстояло идти почти все время берегами рек, не испытывая больше недостатка в воде и в хороших пастбищах. Здесь еще было достаточно тепло — осень только вступала в свои права — люди повеселели и после семи недель пути по унылым полупустыням долина Амударьи показалась им раем.

Тут и в самом деле было хорошо. Могучая река своим недавним разливом оживила вокруг себя широкую полосу низменности; высушенная летним зноем земля опять накинула на себя зеленый покров, хотя на этот раз не надолго: осень уже вплетала в него желтые и красные нити.

Стояла тишь. Среди высоких трав и кустарников, тут и там стройные тамариски взымали кверху свои вишнево-сизые ветви, часто встречались целые рощи по-осеннему золотившихся карагачей, а в местах более низких серебряно-желтыми свечами уходили ввысь белоствольные тополя. Вдоль самого берега тянулись густые заросли лозняка, да кое-где, возвышаясь над ними, кряжистые ивы клонились к реке, роняя в нее свои облетающие листья. Нередко по пути попадались и обширные болотистые низины, заросшие буйными камышами и изобилующие всевозможной дичью.

В первый же день пути по этому оазису отряд миновал два или три небольших кочевья с пасущимися вокруг отарами овец, а к вечеру добрался до маленького поселка Тубенташ, возле которого Карач-мурза решил остановиться на несколько дней, чтобы дать отдых людям и лошадям, а заодно поразнообразить питание отряда дичью и рыбой, в которых тут не было недостатка.

Весь Тубенташ состоял из восьми глинобитных лачуг и нескольких войлочных юрт, в которых ютилось десятка полтора полуоседлых туркменских семейств, промышлявших, главным образом, рыбной ловлей, хотя чуть поодаль виднелось и довольно обширное рисовое поле.

Подъезжая к поселку, Карач-мурза сразу заметил, что мирная жизнь его чем-то нарушена. Лица людей были мрачны и взволнованы, детвора, вопреки обыкновению, не высыпала навстречу приближающемуся отряду, а взрослые толпились возле одной юрты, откуда слышались громкие голоса и плач. Уловив несколько слов, Карач-мурза понял: женщины голосили по мертвому.

— Что тут у вас случилось? — спросил он у крепкого старика в обесцвеченной солнцем тюбетейке, — очевидно старшины поселка, который, поспешно отделившись от толпы, подходил к нему с низкими поклонами.

— Юлбарыс[1], сиятельный эмир, — ответил старик. — Юлбарыс, да сожрут его собственные дети, и да подохнут они сами при этом, растерзал юношу Мистаха. Это уже третьего человека он убивает у нас, пресветлый эмир, а перед этим сколько унес овец!

— Когда же он сюда пришел?

— Он пришел больше месяца тому назад и поселился вон в тех камышах, — указал старик на болотистую низину, сразу за рисовым полем. — Сначала он ел наших овец, но потом мы их угнали далеко отсюда, и тогда он стал нападать на людей, пресветлый эмир.

— И вы не пробовали его убить?

— Мы хотели устроить западню на тропинке, по которой он ходит, но место там очень низкое и нельзя выкопать глубокую яму, потому что на два-три арша[2] под землей уже стоит вода. А для того чтобы сделать облаву, у нас слишком мало мужчин, сиятельный эмир.

— Ну, этот юлбарыс больше вам не будет вредить: завтра мы его убьем.

— Да возвеличит тебя всемогущий Аллах, и да пошлет он счастье всему твоему роду, эмир! И если бы Он

---

[1] Юлбарыс — по-татарски тигр.

[2] Арш — среднеазиатская мера длины, немного более полуметра. Отсюда наш аршин.

не привел тебя сюда, нам всем пришлось бы уходить на другое место.

Карач-мурзе уже случалось охотиться на тигров: их немало водилось в густых камышах по берегам Амударьи и Сырдарьи. Но в те времена, когда еще не знали огнестрельного оружия, эта охота была трудна и опасна. Если ее предпринимал какой-нибудь владетельный князь или военачальник, в распоряжении которого было много людей, обычно устраивалась облава. Камышовую заросль, где находилось логово тигра, окружали пешие воины, вооруженные копьями, за ними, во втором ряду, шли лучники. Когда это кольцо стягивалось вплотную вокруг заранее намеченной поляны или прогалины, на которую выгоняли зверя, он, убедившись в том, что выхода нет, пробовал прорваться сквозь окружавшую его живую стену или перепрыгнуть через нее. Но прежде чем он успевал сделать прыжок, в него попадало несколько стрел, а затем, куда бы он ни бросился, его встречали лезвия копий. Тигра, конечно, убивали, но сильный и ловкий зверь дорого продавал свою жизнь, и такая охота почти никогда не обходилась без человеческих жертв, тем более что в зарослях, вместо одного тигра, часто оказывалось несколько.

При сравнительно небольшом количестве участников успех облавы бывал менее вероятен и значительно возрастала опасность. Но тем не менее воины не упускали случая поохотиться на тигра и часто отправлялись на это опасное дело даже небольшими партиями, так как юлбарыс считался чрезвычайно ценной добычей. Туша его шла в дело почти целиком: большие деньги можно было взять за шкуру, высоко ценился тигровый жир, который считался лучшим средством для заживления ран, из печени и желчи изготовлялись снадобья, по верованию азиатов продлевающие человеческую жизнь, муку из костей тигра князья и эмиры раздавали воинам перед битвой для укрепления храбрости, когти его считались амулетами, предохраняющими от смерти в бою, а зубы — от нападения зверей и разбойников.

У жителей небольших прибрежных селений, у которых тигры пожирали много скота, существовали другие способы борьбы с ними. Если позволяли условия местности, обычно на тропинке, по которой ходил зверь, устраивали западню в виде хорошо прикрытой

сверху глубокой ямы, а в дно этой ямы вкапывали два или три заостренных сверху кола. Ставились также ловушки из бревен, с привязанной внутри, в виде приманки, овцой. Однако, если тигр бывал старый и опытный, он редко поддавался на подобные ухищрения, и тогда на него охотились с клеткой. Но предназначалась она не для зверя, а для охотников.

Ее делали поперечником в сажень и такой же примерно высоты[1]. Четыре стенки и верх — из толстых и крепких жердей, прочно соединенных в виде решетки. Пола или дна не было, чтобы снизу в клетку могли проникнуть охотники и, приподнимая ее за две укрепленные внутри перекладины, вместе с ней двигаться вперед. Пустую клетку ставили на тропинке, ведущей к логову тигра, и оставляли на несколько дней, чтобы зверь к ней привык. В день охоты в нее залезало шесть или семь человек, вооруженных луками и короткими копьями, переднюю стенку клетки слегка заплетали зеленью, чтобы не было видно находящихся внутри людей, а сверху, на крыше, привязывали чучело сидящего человека.

Когда все это было готово, загонщики, оцепив логово, поднимали шум и крик, стараясь выгнать зверя, которому оставляли свободный путь в сторону клетки. В это время последняя, вместе с сидящими в ней людьми, тоже двигалась вперед по направлению к логову, так как очень часто тигр не спешил его покинуть.

Когда он, наконец, показывался, клетку опускали и четверо из находившихся в ней охотников садились на перекладины, чтобы крепко прижать ее к земле. Остальные сейчас же пускали в тигра по стреле. Ранить его смертельно или хотя бы тяжело удавалось редко, но стрелявшие на это и не рассчитывали: им нужно было только разъярить зверя, чтобы он не пробежал мимо, а перешел в нападение. В этом случае, не видя настоящих виновников своей беды, но заметив сидящее на клетке чучело, тигр бросался на него, и прежде чем успевал понять свою ошибку, ему в брюхо вгоняли снизу несколько копий сразу.

Все это в тот же вечер Карач-мурза должен был подробнейшим образом рассказать Хатедже, ибо в

---

[1] Позже такие клетки стали делать цилиндрическими, потому что их легче было продвигать в зарослях. Туземцы Туркестана применяли этот способ охоты еще в начале нынешнего столетия.

стойбище теперь только и говорили о тигре и о предстоящей на завтра облаве, а ханум, к некоторому удивлению Карач-мурзы, проявила совершенно исключительный и несвойственный женщине интерес к этому событию.

— И ты завтра будешь охотиться на этого юлбарыса с клеткой, оглан? — спросила она после того, как выпытала у своего собеседника все, что он знал о тиграх и о способах охоты на них.

— Нет, ханум. Так на юлбарыса охотятся только чабаны и сабанчи[1], а воинам не подобает прятаться от опасности в клетку. Нас много, мы окружим камыши и устроим настоящую облаву.

— А разве в такой клетке совсем, совсем нет опасности, оглан? Если юлбарыс бросится на нее, он не может ее сломать или опрокинуть?

— Если клетка прочная и изнутри ее крепко прижимают к земле, самый сильный зверь ничего с ней не сделает, ханум, — простодушно ответил Карач-мурза, не подозревая за этим вопросом никакой хитрости. — Внутри можно сидеть так же спокойно, как в своей собственной юрте, посреди стойбища, хотя бы даже вокруг бегало несколько юлбарысов.

— Раз ты так говоришь, значит это истина, оглан... Но ведь тогда и женщина может находиться в такой клетке.

— Женщина, ханум?! Но разве это женское дело, лезть в клетку вместе с охотниками?

— А почему нет, оглан, если женщина очень хочет видеть живого юлбарыса и посмотреть, как на него охотятся? И если мужчина, от которого это зависит, настолько добр, что захочет доставить ей это удовольствие?

— Мне очень жаль, ханум, но я не могу этого сделать: я поклялся великому хану, что с тобой ничего дурного не случится и что я привезу тебя к великому эмиру Тимур-беку живой и здоровой.

— Но ты же сам сказал, что сидя в клетке, человек не подвергается никакой опасности.

— Пусть так, ханум. Но охота на юлбарыса не шутка, и всегда может случиться что-нибудь такое, чего нельзя предвидеть. Тебя может в суматохе поранить кто-нибудь из охотников, или ты испугаешься,

[1] Сабанчи — крестьяне-земледельцы, чабаны пастухи.

когда зверь бросится на клетку, и потом заболеешь...

— Не обижай меня, оглан! Если бы мы, мусульманские женщины, были так боязливы, то наши сыновья не покорили бы почти весь мир.

— Это правда, ханум, прости меня. Но ведь я тебе еще раньше сказал, что завтра мы не будем охотиться с клеткой, а сделаем облаву.

— А разве нельзя и облаву и клетку? Вспомни, оглан: ты всю дорогу спрашивал меня, чего я хочу, и обещал исполнить всякое мое желание. И это, кажется, первое, о чем я тебя прошу.

Просьба была настолько необычной, что Карач-мурза все же хотел отклонить ее и лишь на минутку замялся, подыскивая наиболее мягкую форму отказа. Но чарующие глаза Хатедже глядели на него с таким выражением, что он вдруг, почти неожиданно для самого себя сказал:

— Хорошо, ханум. Да простит мне Аллах, но завтра ты увидишь охоту на юлбарыса!

* *
*

К следующему полдню, в десяти шагах от опушки камышей, на открытом лугу уже стояла деревянная клетка такой прочности, что ее не сокрушил бы и слон. Опрокинуть ее тоже было невозможно, потому что Карач-мурза приказал сделать ее не переносной, а неподвижной, вкопав глубоко в землю четыре угловых столба. Для того, чтобы можно было войти внутрь, она была снабжена маленькой, надежно закрывающейся дверцей.

Когда несколько сот воинов оцепили камышовые заросли, в клетку вошли Хатедже и Фатима, за которыми Карач-мурза собственноручно затворил дверцу и заложил ее двумя крепкими засовами. Поместить внутри кого-нибудь из мужчин он считал неудобным, да в этом и не было нужды, так как на несколько шагов дальше от опушки стояла цепь вооруженных копьями и луками воинов, которые должны были оставаться на месте: было решено выгнать зверя из камышей именно сюда, чтобы вся заключительная часть охоты была хорошо видна из клетки. Сам Карач-мурза пока оставался возле нее. За поясом у него был длинный, хорошо отточенный нож, а в руке копье, очень похожее на русскую охотничью рогатину,

Убедившись в том, что все стоят на своих местах, он подал знак. Пронзительно запела труба, и сейчас же с противоположной стороны низины люди с криками двинулись вперед, шумно ломясь сквозь дремучие камыши. Их заросли раскинулись почти на версту, загонщики продвигались медленно, а потому появления тигра, который днем крайне неохотно покидает свое убежище, можно было ожидать на поляне еще не так скоро.

— А может быть, здесь живет не один юлбарыс, а целая семья, оглан? — спросила Хатедже.

— Нет, ханум. Это старый зверь, а такие живут и охотятся в одиночку.

— Почему ты знаешь, что он старый?

— Здешние жители говорят, что он, нападая на стадо, всегда убивал только одну овцу и сейчас же уносил ее. Старый юлбарыс знает, сколько ему нужно, чтобы насытиться, знает и то, что с добычей лучше поскорее уйти в безопасное место. А молодой об этом не думает. Он забавляется и всегда убивает нескольких животных, хотя может унести только одно.

— У нас говорили, что в Индостане юлбарысов так много, что они хватают людей прямо на улицах селений, а иногда забираются даже в дома. Должно быть, страшно жить в такой стране, оглан!

— Это правда, ханум, там много юлбарысов и других опасных зверей. Но Индостан не так страшен ими, как своим язычеством, хуже которого нет на свете. И если бы справедливый Аллах захотел покарать индусов за их нечестие, он бы, наверное, не придумал им наказания тяжелее того, которое они сами себе придумали.

— Какое же это наказание, оглан?

— Их собственная вера, ханум. Они выдумали себе десятки тысяч богов[1], злых, глупых и мстительных, которые, будто бы, только и думают о том, как сделать человеку какое-нибудь зло. И почти вся жизнь индуса проходит в том, чтобы этих богов задобрить и откупиться от них. Там верят, что кроме главных богов, которых тоже великое множество, каждая деревня, река, роща, гора, болезнь и все другое, что есть на свете, имеет своего бога или духа. Один из этих богов любит мясо, другой вино, третий деньги, четвертому

---

[1] По подсчетам некоторых исследователей, культ браманизма насчитывает около тридцати миллионов различных богов и духов.

нравится музыка или еще что-нибудь, человек же должен ублажить каждого и без этого не может сделать ни шагу. Но это еще ничего: есть такие боги, которым нравится, чтобы в их честь люди вырезали из себя куски мяса, выкалывали глаза, наносили себе всевозможные увечья, и находится немало глупцов, которые все это делают. Каждому индусу, едва ему исполнится восемь лет, дают духовного наставника, который учит, какому богу когда и что нужно давать, и всю жизнь его обирает. Воистину невозможно перечислить всего, что они выдумали, чтобы испортить себе жизнь, ханум!

— Может быть, за это Аллах и послал им столько юлбарысов?

— В том, что там много юлбарысов, можно скорее увидеть милосердие Аллаха, чем наказание, ханум. Юлбарысы убивают совсем не столько индусов, как об этом говорят, но зато они пожирают тысячи коров и тем оказывают этому народу великое благодеяние: в Индостане коровы считаются священными животными — их нельзя убивать и есть, а потому коров и быков расплодилось там множество, и это тяжелая обуза для хозяев, которые, не имея от этого никакой пользы, должны их кормить, тогда как им самим очень часто нечего есть.

— Какая ужасная страна, оглан! Не хотела бы я там родиться и жить.

— Если бы ты родилась в Индостане, ты бы уже нигде не жила, ханум, — они бы тебя сожгли. По их законам, жена не может пережить своего мужа, вдов они сжигают на кострах... Но, погоди, ханум, — добавил Карач-мурза, прислушиваясь, — кажется, юлбарыс уже близко!

Действительно, крики загонщиков слышались теперь в какой-нибудь сотне шагов. С трех сторон заросли трещали от ломившихся сквозь них людей, а встав на одну из перекладин клетки, Карач-мурза сразу увидел, как шевелятся невдалеке верхушки камышей, словно их раздвигает невидимый ручеек, быстро приближающийся к поляне.

Еще минута, и тигр, выскочив на опушку, внезапно остановился, как вкопанный, издав отрывистый горловой звук, более похожий на кашель, чем на рев грозного хищника. Это был крупный самец, длиной почти в сажень. Его гибкое, ржаво-красное, расписанное чер-

ными полосами тело изобличало одновременно и кошачью ловкость, и огромную, зловещую силу, а белые космы шерсти на щеках указывали, что это матерый и опытный зверь. Он, очевидно, не ожидал увидеть на поляне столько людей и теперь стоял, яростно шевеля хвостом и время от времени издавая тот же кашляющий звук. Он еще не знал, на что решиться, и пока только оглядывал свирепыми желтыми глазами живую стену, отрезавшую ему путь к отходу.

— Уходи скорее, оглан, — тихо сказала Хатедже. — Уходи, пока он не увидел, что ты тут стоишь один!

— Успею, ханум, — спокойно ответил Карач-мурза. Цепь охотников стояла шагах в десяти сзади, в случае нужды он рассчитывал отскочить туда в два-три прыжка. — А если я не успею, воины сейчас же придут мне на помощь.

— Оглан! Именем Аллаха, молю тебя! — побелев, будто перед лицом смерти, крикнула Хатедже, увидев в это мгновение, что тигр, в которого вонзилась пущенная кем-то стрела, не раздумывая больше, огромными скачками бросился прямо к клетке.

Теперь нельзя было терять ни секунды, но Карач-мурза внезапно почувствовал, что на глазах женщин и своих воинов кинуться наутек ему не позволяет его достоинство. Взяв копье на изготовку, он медленно отступил два шага назад, как бы нащупывая лучшую точку для опоры, и тут, окончательно пересилив страх, остановился, ожидая зверя. Видя это, десятка два воинов, стоявших ближе, рванулись к нему, но было поздно: тигр находился уже в трех шагах и присел для последнего прыжка. Но было ли таковым его первоначальное намерение, или его испугали внезапно хлынувшие к нему люди, только бросился он не на Карач-мурзу, а легко и мягко вспрыгнул на крышу клетки, откуда, бешено нахлестывая себя хвостом по бокам, грозно щерился теперь на подбегавших со всех сторон охотников.

Крыша клетки, как и ее стенки, была решетчатой. В первый миг, пока зверь не утвердился наверху, одна из его задних лап провалилась между двумя жердями, едва не задев голову стоявшей внизу Фатимы, которая в ужасе повалилась лицом в землю и осталась в таком положении, громко бормоча молитвы. Хатедже, пережившая самый сильный испуг в тот момент, когда

тигр готовился к прыжку, как она думала, на Карач-мурзу, теперь, наоборот, быстро приходила в себя и со смесью страха и любопытства глядела снизу на белое брюхо зверя и на громадные когти, вцепившиеся в настил крыши. До страшных полосатых лап она без труда могла бы достать рукой.

— Назад! — крикнул Карач-мурза подбегавшим людям. — Если вы подойдете близко, юлбарыс перепрыгнет через ваши головы и уйдет. Всем оставаться на своих местах!

Цепь подалась назад, а Карач-мурза, подойдя к ней, взял у одного из воинов лук и, воткнув свое копье в землю, стал целиться в тигра, голова которого была повернута прямо к нему. Видя, что собирается стрелять царевич, больше никто не стрелял, и зверь, несколько успокоившись, стоял неподвижно, шипя, как разъяренный кот, и в то же время высматривая место, где легко было бы прорваться сквозь окруживших его людей.

Хотя расстояние не превышало десятка шагов, Карач-мурза целился тщательно, — он давно не стрелял из лука. Если попасть в глаз, тигр будет убит на месте, если нет — он спрыгнет вниз и успеет задрать несколько человек, прежде чем его убьют. А зверь, уже понявший, откуда ему сейчас грозит самая страшная опасность, не отрывая взгляда от целящегося в него человека, медленно приседал, готовясь к прыжку.

Он прыгнул в тот самый момент, когда отделившаяся от тетивы стрела, молнией прорезав воздух, глубоко ушла ему в правую глазницу. Однако в прыжок была вложена вся, еще ничем не ослабленная сила могучего хищника, и его уже агонизирующее тело грузно шлепнулось на то место, где стоял Карач-мурза, едва успевший отпрянуть в сторону. Меткий удар копья прикончил зверя, который еще пытался вскочить и броситься на стоявших вблизи людей.

— Ну, как, ханум? — с улыбкой спросил Карач-мурза, открывая дверцу клетки и помогая женщинам выйти наружу. — Что тебе говорил юлбарыс, когда остался с тобою вдвоем?

— Ох, оглан!.. Он говорил: скажи всем другим женщинам, чтобы они лучше не смотрели, как охотятся на нас, юлбарысов!

— Ты очень испугалась, ханум?

— Я не за себя испугалась, оглан, я сразу поняла,

что в клетке меня юлбарыс не достанет. Но когда я увидела, что он хочет броситься на тебя... и уже присел, а ты стоял один...

— То ты, наверное, подумала: ехать еще так далеко, а кто теперь будет рассказывать мне всякие интересные истории?

— Ты еще смеешься, оглан! А я...

— Что, ханум?

— Я только молилась, чтобы Аллах защитил тебя.

— Спасибо, маленькая ханум. И пусть шкура этого юлбарыса, которую я прикажу для тебя выделать, всегда напоминает тебе о том, что Аллах услышал твою молитву.

ГЛАВА IX

> «Бухара была обителью славы, Кабой — владычества и местом пребывания самых выдающихся людей своего времени».
>
> *Абу-Мансур Саалиби, арабский писатель XI века*

Шесть дней спустя отряд ордынского посла подошел к Ургенчу, вернее к тому месту, где еще недавно стоял этот огромный и богатый город. Тут Карач-мурза воочию убедился, что слухи о том беспощадном разрушении, которому предал его Железный Хромец, отнюдь не преувеличивали действительности. Взорам его представилось необозримое поле безжизненных развалин, местами громоздившихся высокими, грязножелтыми грудами, а кое-где разровненных и поросших чахлым кустарником и травой. Несколько сот семейств, уцелевших из двухсоттысячного населения Ургенча, жили в юртах, за чертой разрушенных до основания городских стен. Не осмеливаясь нарушить страшный приказ Тимура, они боялись отстраивать свои жилища или даже воспользоваться чем-либо из развалин.

С трудом отыскивая путь среди хаотических нагромождений глины и камня, Карач-мурза пробрался в центр мертвой столицы Хорезма, еще несколько лет тому назад блиставшей своим великолепием и бывшей одним из главных оплотов умственной жизни Азии. С содроганием в душе, по этим жутким останкам он старался восстановить в памяти прежний облик пре-

красного города, взлелеявшего его юность. Вот здесь, на этой площади, покрытой ровным слоем мелких, перемешанных с песком и поросших полынью обломков, стоял дворец его тестя, эмира Аслана Суфи... Вот развалины мечети, в которой почти тридцать лет тому назад венчали его с Наир. Ее изумительный минарет — самый высокий в Азии — стоит на месте. Только он, да непревзойденный по красоте мазар[1] Тюрабек-ханум остались нетронутыми, очевидно на эти замечательные памятники мирового зодчества все-таки не поднялась рука безжалостного деспота, или убоялся он возмездия Аллаха за поругание таких святынь.

Проехав еще немного, Карач-мурза остановил коня на том месте, где стоял прежде его собственный дом. Теперь о нем напоминали только поваленные колонны, кое-где еще покрытые остатками мозаики, да полуразрушенный портал, за которым виднелся засыпанный мусором изразцовый хаус[2], с выросшим из него кустом бузины. Большая зеленая ящерица, уставив на всадника черные зернышки глаз, неподвижно сидела на обломке дорогой румийской[3] вазы, некогда украшавшей айван[4]...

«И все это сделано злой волей только одного человека, — думал Карач-мурза, с сердцем, полным грусти и возмущения, выезжая из этого царства руин и смерти. — Не зря говорят, что там, где ступила нога Тимура, три года не растет трава!»

* *
*

Переправившись возле Ургенча через Амударью, отряд восемь дней шел по ее правому берегу, а затем свернул на восток и, миновав несколько оазисов, разбросанных в безводных песках, еще через пять дней подошел к Бухаре. Карач-мурза бывал здесь уже не раз и хорошо знал историю этого края по книге бухарского ученого Наршахи[5] и по более поздним трудам арабских и персидских историков.

---

[1] Мазар — мавзолей, усыпальница.

[2] Хаус — бассейн, небольшой искусственный водоем.

[3] Румом на Востоке называли Византию.

[4] Айван — арочный проход, связанный с порталом, нечто вроде вестибюля.

[5] Наршахи (899—959) — автор «Истории Бухары».

Город Бухара, прежде носивший название Нумиджкета, был основан здесь в глубокой древности, еще в те времена, когда область, лежащая между Сырдарьей и Амударьей, называлась не Мавераннахром[1], а Согдианой. Первые дошедшие до нас письменные упоминания об этом городе относятся к началу христианской эры, но археологи установили, что нынешняя Бухара стоит на развалинах города гораздо более древнего, возникшего, по крайней мере, на тысячу лет раньше. В третьем веке Бухара была уже крупным центром, а в шестом она, несомненно, занимала первенствующее положение в Согдиане, ибо тюркский завоеватель Шири-Кишвар, покоривший в это время значительную часть Средней Азии, именно Бухару сделал своей столицей и обнес ее мощными стенами.

История этого края протекала чрезвычайно бурно. На смену тюркским завоевателям вскоре пришли китайские, потом тюркский каганат снова ненадолго восстановил свое владычество, а в начале восьмого столетия тут уже утвердили свою власть арабы. Время их господства, длившееся сто семьдесят лет, изобиловало бесчисленными восстаниями и религиозными войнами. Пришедший с арабами ислам насаждался силой, встречая яростное сопротивление со стороны приверженцев издревле существовавшего тут культа Зороастра и занесенного сюда китайцами буддизма.

В конце IX века власть над Мавераннахром перешла к персидской династии Саманидов, которые правили здесь полтора столетия. Это был период пышного расцвета и относительного спокойствия: Саманиды умели избегать ненужных войн, навели в стране порядок, окончательно утвердили в ней ислам, отстроили многие пришедшие в упадок города и не жалели средств на развитие ремесла, торговли и науки. Знаменитый бухарский ученый Абу Ибн-Сина[2] описывает библиотеку Саманидов в таких выражениях:

> «Здесь было множество комнат с бесчисленными сундуками, доверху наполненными книгами, написанными на разных языках. Каждая комната соответствовала одной из наук. Я видел тут такие книги, которые многим ученым не бы-

[1] Мавераннахр по арабски означает «заречье». Эту страну назвали в VIII веке покорившие ее арабы.

[2] Он больше известен европейцам под своим искаженным именем Авиценна.

ли известны даже по названию. Мне никогда — ни прежде, ни после, не приходилось видеть подобного собрания книжных сокровищ.»

К концу правления Саманидов Мавераннахр превратился в могущественное государство, распространявшее свою власть на все соседние земли, от берегов Персидского залива до предгорий Тянь-Шаня. Бухара стала огромным и богатым городом, оплотом среднеазиатской культуры и ученой мысли. В это время прочными стенами был обнесен не только ее центр, Шахристан, но и выросший рядом торгово-ремесленный пригород, раббад.

Однако расцвет был недолгим: в конце десятого века между Саманидами вспыхнули кровавые усобицы, которые привели к тому, что их империя пала под ударами тюркских кочевых племен, объединенных династией Караханидов. Тюркский хан Илек-Насер въехал победителем в Бухару и, низложив последнего Саманида, Абд-Ель-Мелика, воцарился в Мавераннахре. Но власть Караханидов оказалась непрочной, и страна теперь быстро идет к упадку. Каждые несколько десятков лет, сменяя друг друга, приходят новые завоеватели: турки-сельджуки, кара-китаи, хорезмийцы и, наконец, монголы.

В феврале 1220 года Чингиз-хан, со своим войском, появился под стенами Бухары. Для бухарцев это было почти полной неожиданностью, и город не был подготовлен к обороне. Большая часть его тридцатитысячного гарнизона, сделав удачную вылазку, во главе со своим правителем Инчи-ханом, прорвалась сквозь ряды неприятеля и ушла в Хорезм, остальные на третий день сдались. Только небольшая горсть храбрых заперлась во внутренней цитадели и защищалась еще двенадцать дней. Это героическое, но бесполезное сопротивление дало победителям повод жестоко расправиться с Бухарой: город был разграблен и сожжен, а большинство жителей перебито или уведено в рабство.

Отсюда Чингиз-хан, сметая все на своем пути, двинулся к Самарканду и в начале 1221 года осадил его. Самарканд — крупнейший город Мавераннахра — был очень хорошо укреплен и к тому же имел достаточно времени, чтобы подготовиться к обороне. Его гарнизон, насчитывавший более ста тысяч воинов, был снабжен всем необходимым для того, чтобы выдержать длительную осаду, и даже имел на вооружении устрашаю-

щую новинку — двадцать боевых слонов, полученных из Индии. Но дух этого гарнизона был подорван известиями о всех предыдущих победах Чингиз-хана и молвой о его непобедимости.

Все же первый приступ татар был успешно отбит. Но когда, три дня спустя, большой отряд осажденных сделал вылазку и был полностью уничтожен, городские власти вступили с Чингиз-ханом в переговоры и сдали город. Но если самаркандская знать при этом рассчитывала поладить с жестоким завоевателем, то простой народ знал, что в лучшем случае его ожидает разорение и рабство. И потому многие тысячи горожан не пожелали положить оружие: они заперлись в крепости Афросиаб — внутренней цитадели города, и долго еще защищались. Но когда их сопротивление было, наконец, сломлено, Чингиз-хан в отместку приказал разрушить Самарканд до основания. Из ста шестидесяти тысяч городского населения пощаду получила только четвертая часть. Шестьдесят тысяч было перебито, и столько же уведено в рабство.

Вслед за Самаркандом очень скоро пали и все другие крепости Мавераннахра, и в Средней Азии прочно утвердилось господство монголов. Цветущая и благоустроенная страна была опустошена, города ее лежали в развалинах, обширнейшая оросительная система была разрушена, население наполовину уничтожено, и всякая умственная жизнь погашена.

Менее других пострадавший город Ходжент сделался резиденцией правителя Мавераннахра — богатого купца Махмуда Ялавача, назначенного на этот пост Чингизом. Бухара и Самарканд оставались в запустении целое столетие и начали оживать только тогда, когда царствовавшие здесь потомки хана Чагатая[1], усвоив ислам и местную тюркскую культуру, поняли преимущества оседлой жизни и начали восстанавливать хозяйственную жизнь страны. Но полного расцвета эти города, в особенности Самарканд, достигли уже под властью Тимура, утвердившегося здесь в 1369 году.

Всеми этими сведениями, дополнив их различными преданиями и легендами, Карач-мурза, как уже вошло у него в обычай, успел поделиться с Хатедже еще

[1] Чагатай — второй сын Чингиз-хана, которому при разделе империи достался Мавераннахр.

до того, как отряд приблизился к Бухаре и разбил стойбище подле нее, на берегу Зеравшана. Здесь предстояло задержаться на целую неделю, так как захромал один из девяти бесценных коней, которые шли в подарок Тимуру, и нужно было подлечить его. Таким образом, времени для осмотра Бухары было достаточно, и в течение следующих дней Карач-мурза показал никогда не бывавшей тут Хатедже все достопримечательности древней столицы Мавераннахра.

Город был обнесен глинобитной зубчатой стеной, имевшей одиннадцать ворот и около ста тридцати небольших полукруглых башен. При общей протяженности в двенадцать верст эта стена нигде не была ниже четырех сажень, а в толщину имела около двух, что делало Бухару одной из сильнейших крепостей того времени[1].

Обширное пространство, замкнутое этими стенами[2], было застроено так тесно, как ни один другой город Средней Азии. Поэтому население его было очень велико, но постороннему наблюдателю оно казалось еще больше, так как бухарцы имели обыкновение почти всю свою жизнь проводить на улицах, базарных площадях и в чайханах, наполняя город сутолокой, шумом и разноголосым гамом. Эта особенность Бухары издревле обращала на себя внимание иностранцев, и еще в десятом веке арабский путешественник Абу Исхак Аль-Истахри писал: «Нет ни в Хорасане, ни в Мавераннахре города, более густо застроенного, чем Бухара, и кажется, что ее шумному населению нет числа.»

Немощеные улицы были кривы и узки, в центральной части города их ширина не превышала двух сажень, а на окраинах они превращались в узкие щели, где не всегда могли разминуться два вьючных осла. Некоторые, более широкие перекрестки были накрыты низкими куполообразными крышами, а там, где сходилось сразу несколько улиц, образуя небольшую площадь, вокруг нее шло кольцо мелких «куполов», на ко-

---

[1] Эта стена была выстроена по повелению хана Чагатая на месте прежней, разрушенной Чингизом. Она почти без изменений сохранилась до наших дней.

[2] Бухара занимала площадь около 670 гектаров. Для сопоставления укажем, что самый обширный из городов Руси того времени — Великий Новгород с пригородами занимал пространство почти вдвое меньшее, а Москва XIV века, с посадом, имела площадь около восьмидесяти гектаров.

торые опирался большой, центральный. Под этими крышами располагались чайханы и базары. Тут порой едва можно было протиснуться сквозь толпу людей, толкающихся вокруг лотков с овощами, фруктами и рыбой или обступивших будки и ларьки ремесленников, торгующих своими изделиями.

В непосредственной близости от таких базаров стены домов тут и там пестрели развешанными на них замечательной работы коврами, которыми на весь мир славилась Бухара, а среди проходивших мимо людей сновали предприимчивые зазывалы, громкими криками расхваливающие свой товар. На главной площади, Регистане, и в сорока городских караван-сараях торговали уже купцы побогаче, свои и заезжие, и тут можно было купить все, что производила Азия, начиная с китайских шелков и великолепных бухарских тканей[1], и кончая драгоценным дамасским оружием и индийскими самоцветами.

Через город протекал большой, обсаженный тополями арык Шахри-Руд с перекинутыми через него красивыми мостами и со множеством отводов, идущих к двум или трем десяткам внутренних прудов, из которых жители брали воду. Вокруг этих прудов были разбиты сады и высились тенистые деревья, маня своей прохладой изнывающего от зноя прохожего. Но вода в них была грязная, подернутая зеленоватой цвелью, и служила источником многих болезней, а иногда и опустошительных эпидемий, которым способствовала царящая здесь жара и свойственная почти всем азиатским городам загрязненность улиц. Низкие, почти сплошь одноэтажные дома с плоскими крышами, как бы отворачиваясь от этой грязи, выходили на улицу глухими стенами, а окнами — на небольшие, со всех сторон огороженные внутренние дворики.

Дома победнее были сделаны из глины или из самана, а все более крупные строения из обожженного кирпича. Кирпичи и кирпичный цвет были характерны для Бухары — ими определялся весь внешний облик города. Из кирпича тут были выстроены дворцы, мав-

---

[1] Наршахи в своей «Истории» пишет: «В Бухаре делали ковры такого высокого качества, как нигде в мире. Таковы же были и бухарские ткани, которые вывозились в Египет, Сирию и Рум, и не было царя, эмира или знатного вельможи, который бы не употреблял их для своих одеяний».

волеи, общественные здания и бани, десятки медресе[1] и мечетей и тысячи жилых домов, причем кирпич служил здесь не только строительным, но и отделочным материалом.

Лучшим образцом такой постройки является один из самых замечательных архитектурных памятников Бухары — мавзолей Саманидов, построенный в конце девятого или в начале десятого века. Это сравнительно небольшое здание, имеющее форму куба, увенчанного полушарием купола. Оно имеет четыре совершенно одинаковых фасада — ни одна его стена ничем не отличается от трех других. Посередине каждой из них — широкий вход со стрельчатым порталом; по углам — вжатые в строение круглые, сверху донизу орнаментированные колонны наверху, во всю ширину стены — легкая арочная галерейка с окнами-нишами, над ней пояс фигурного орнамента и большой купол, без всякого барабана, как бы поставленный прямо на плоскость крыши, а на углах четыре маленькие, закругленные сверху башенки.

Постройка, включая и купол, целиком сделана из обожженного кирпича, но вся его внешняя кладка — это сплошной и неповторимый по своему изяществу орнамент: тут кирпич положен и плашмя, и на ребро, горизонтально, вертикально и косо, в елочку, в звездочку и в диск, местами он образует решетку, лестничку или замысловатую вязь, покрывая все здание узорами удивительной красоты и легкости. Это поистине архитектурный гимн кирпичу, в смысле художественного использования этого материала мавзолей Саманидов служит памятником, не знающим себе равных, и, как полагают, является отражением древнего зодчества Согдианы. Еще более разнообразен и гармоничен кирпичный орнамент, покрывающий внутренние стены и свод мавзолея.

Другой достопримечательностью Бухары был минарет Калян, построенный в XII веке по повелению хана Арслана и вздымающийся над городом на высоту свыше тридцати сажень[2]. Он замечателен как по своему техническому расчету, так и по архитектурному исполнению. Форма его — кругло-коническая; наверху

[1] Медресе — школы, некоторые из которых носили характер высших учебных заведений.

[2] Первый построенный тут минарет был значительно выше, но он рухнул, и на его месте выстроили новый.

фонарь-ротонда, с шестнадцатью стрельчатыми окнами над ней — несколько расширяющийся кверху пояс орнамента и плоская крыша, увенчанная белым конусом, в виде сахарной головы.

Весь минарет тоже сложен из кирпича, а облицовка его состоит из всевозможных фигурных кирпичиков, образующих тридцать поясов художественного и весьма разнообразного орнамента, снизу доверху покрывающего все строение.

Рядом с минаретом находилась обширная и уже довольно обветшалая мечеть с овальным куполом, покрытым синей глазурью, а по другую сторону — знаменитейшая на весь мусульманский Восток медресе. Кроме нее, в городе имелось свыше тридцати других, и каждую из них можно было сразу узнать по фасаду, характерному для всех медресе Бухары и Самарканда: в его центре непременно находились очень высокие ворота под стрельчатым порталом, вделанные как бы в поставленную на торчок гигантскую книгу. Эта «книга», также, как и весь проем входа, обычно бывала художественно орнаментирована фигурными кирпичиками, изразцами или цветными терракотовыми плитками. Иногда с боков к ней примыкали круглые колонны-башни, тоже искусно изукрашенные. Вправо и влево от этих ворот тянулись стены здания со стрельчатыми нишами-окнами в один или два ряда.

Величественно выглядел грозный Арк — внутренняя цитадель, возникшая значительно раньше самого города. По преданию, этот своеобразный кремль Бухары был построен тут в незапамятные времена царем Сиавушем, героем многих среднеазиатских легенд. Позже его не раз восстанавливали из развалин и расширяли другие правители Согдианы и Мавераннахра. Он стоял на плоской вершине искусственно насыпанного холма, с почти отвесными шестисаженными склонами, по верху которых шла кирпичная зубчатая стена протяжением в полторы версты[1].

В Арке помещались дворцы монарха и высшей знати, некоторые общественные здания, мечети, пруды и парки. Главный вход в него был с площади Регистан — монументальные стрельчатые ворота, зажатые между двумя высокими круглыми башнями над воро-

---

[1] Арк Бухары занимал почти такую же площадь, какую московский Кремль Дмитрия Донского.

тами — квадратный каземат с бойницами, а еще выше — крытая терраса, с которой правитель Бухары в торжественных случаях показывался своему народу.

Настоящими крепостями, с башнями, бойницами и наблюдательными вышками, казались также некоторые караван-сараи, иногда занимающие целые кварталы. Было в городе и множество мечетей, иные из них поражали своим величием и архитектурным совершенством, но немало встречалось и совсем невзрачных. Древнейшей и красивейшей из них была мечеть Магоки-Аттар, построенная в девятом столетии на развалинах прежде стоявшего здесь языческого храма богини луны.

Несколько мавзолеев замечательной архитектуры и огромная мечеть Намазга, предназначенная для всенародных праздничных молений, находились за чертой города, и наши путники осмотрели их пятью днями позже, когда, покинув свою стоянку у Бухары, они тронулись дальше, по дороге на Самарканд.

ГЛАВА X

«Аллах пожелал осчастливить бедняка: спрятал его осла, а потом помог найти».

Восточная пословица

Путь шел теперь все время долиной реки Зеравшан, по густо населенной местности, изрезанной множеством арыков и представляющей собой сплошной оазис. Но в это время года он выглядел довольно неприветливо: было начало января — самый разгар короткой среднеазиатской зимы. Краски земного покрова поблекли, степь омертвела, лишь холодные ветры, озоруя, гоняли по ней свалявшиеся в шары колючки, свирепо трепали оголенные ветви деревьев и до костей пронимали путника своей леденящей назойливостью.

Короткость зимнего дня, холод и скудность кормов на пастбищах не позволяли теперь отряду делать переходы длиннее четырех фарсахов, а однажды ночью выпал снег, поверхность Зеравшана подернулась льдом и дальше пришлось двигаться еще медленнее. Но это продолжалось недолго. И когда, через две недели по выступлении из Бухары, отряд подходил к Са-

марканду, снега уже не было и в помине, легко разорвав свои непрочные ледяные оковы, свободно струились воды реки и арыков, а в потеплевшем ветре чуялась близость весны.

В двух фарсахах от Самарканда, у развалин замка Кешк-Алкама, построенного здесь еще во времена арабского владычества, отряд остановился на короткий отдых. Тут, среди тенистых деревьев, окружающих полуобвалившиеся стены некогда величественного здания, обычно останавливались на последний привал идущие из Бухары караваны. Но были здесь и постоянные жители: чуть в стороне от дороги полукругом стояло пять или шесть невзрачных лачуг, в которых ютилось несколько крестьянских семейств, занимавшихся разведением винограда. В самом замке, несмотря на то, что некоторые его помещения сохранили крышу, не жил никто. В народе говорили, что последнему его владельцу, какому-то благочестивому шейху, разбойники отрубили голову в то время, как он совершал намаз[1]. Похоронили его тут же, в саду, но с той поры, едва кто-нибудь останавливался в этом помещении на ночь, шейх вставал из могилы и до рассвета бродил по замку, держа в руках свою окровавленную голову.

Карач-мурза знал это предание и потому был несколько удивлен, увидев теперь в развалинах множество каких-то оборванцев, по-видимому здесь поселившихся. Перед главным входом стояло несколько кибиток и большой шатер, возле которого сидели у костра с десяток воинов. Подозвав одного из них, Карач-мурза узнал в чем дело: оказывается, по распоряжению Тимура, большая партия пленных-рабов рыла поблизости новый арык, и начальник приставленной к ним стражи, отнюдь не озабоченный спокойным сном своих поднадзорных, разместил их в стенах замка. Свой шатер он из благоразумия поставил снаружи.

— Ну и что? — с любопытством спросил Карач-мурза. — Приходит к ним по ночам мертвый шейх?

— Нет, благородный эмир, — ответил воин, — ни разу не приходил. Шейх был богатый и почтенный человек, он, наверное, не хочет унижать свое достоинство и топтаться ночью среди этих грязных ослов.

Люди Карач-мурзы тем временем, насобирав побли-

---

[1] Намаз — обычная мусульманская молитва, совершаемая несколько раз в день, в определенные часы.

вости сухих колючек и хвороста, разожгли костры и принялись готовить себе еду. Был обеденный час, и пленники-землекопы во дворе замка занимались тем же. Среди них было немало татар, захваченных Тимуром в последних войнах, а потому едва стало известно, что остановившийся здесь отряд идет из Орды, несколько человек, отделившись от остальных, приблизились к ближайшему костру, возле которого, в предвкушении трапезы, расположился десяток Салеха.

— Туганнарча селям[1], — сказал подошедший первым, кланяясь и прикладывая руку ко лбу и сердцу. — Да будет благословен Аллах, позволивший нам еще раз увидеть наших свободных братьев!

— Алейкюм селям, — ответил Салех, окидывая говорившего внимательным взглядом. Он не увидел, а скорее понял, что стоявший перед ним высокий и крепко сложенный человек был еще молод, хотя висевшие на нем лохмотья, страшная худоба и давно не бритое лицо старили его на много лет. — Ты татарин?

— Да, абый. Я был десятником в войске нашего повелителя, великого хана Тохтамыша, да поможет ему Аллах покорить всю землю. В битве под Яссами, раненый, я попал в руки врагов и вот уже два года живу в неволе, завидуя каждой пробегающей мимо собаке, ибо если ее и бьют, как меня, то хоть не заставляют работать.

— Почему же ты не бежал?

— Я два раза бежал, абый. Оба раза меня поймали, и сам я не знаю, как выжил после всех полученных побоев. Когда будет случай, побегу и в третий раз, хотя теперь уже меня просто убьют, если схватят.

— Я думаю, что в третий раз тебе не придется бежать, — сказал Салех, с участием взглянув на собеседника. — Наш начальник, сиятельный оглан Карач-мурза, едет послом великого хана к великому эмиру и ведет с собой всех пленных, которых мы взяли под Яссами. Великий хан, желая мира, возвращает их Тимур-беку, и Тимур-бек, наверное, теперь отпустит всех вас.

— Да прославится великий Аллах, и да пошлет он тебе долгую и счастливую жизнь за эту отрадную весть, абый! — воскликнул просиявший пленник. — Значит, я еще буду пить воду из родного Джаика и увижу, как восходит солнце над Сараил-Джадидом!

---

[1] Туганнарча селям — братский привет.

— Так ты родом из Сараил-Джадида? По пути сюда мы проходили через этот город. Да ты садись с нами, сейчас будет готова еда.

— Благодарю, абый, но мне нельзя садиться: стража смотрит за нами во все глаза. Нам позволили только подойти к вашему костру и узнать новости.

— Что же ты хочешь знать?

— Все ли спокойно в Сараил-Джадиде, абый? Не нападали на город какие-нибудь враги, и не было ли там пожара или других больших бедствий?

— Все там, благодарение Аллаху, благополучно, и никаких несчастий не было, если ты не считаешь несчастьем того, что наш преславный начальник Карач-оглан по пути прогнал вашего ясакчи Халила и повелел хакиму поставить на его место другого.

— Да живет тысячу лет справедливый и мудрый Карач-оглан! Теперь наш город вздохнет свободно, избавившись от этого змея. Что же такое он сделал?

— Он преследовал и несправедливо осудил на смерть одну молодую женщину. Узнав об этом, Карач-оглан велел освободить ее и прогнал Халила.

— Наконец-то этот похотливый пес получил по заслугам! Все мы его хорошо знали, и только теперь, после того, что ты сейчас рассказал, я буду спокоен за свою Фатиму...

— Это имя твоей жены — Фатима? — спросил Салех, быстро поднимая голову. — А тебя самого как зовут?

— Я Нух, сын Улу-Исхака, абый.

— Нух! — воскликнул Салех, вскакивая на ноги. — Тогда идем со мной. Тут есть один человек, который тебя знает и которого ты, наверно, рад будешь увидеть.

— Я не могу идти с тобой, абый! Начальник нашей стражи за это переломает мне все кости.

— Ничего не бойся. За тебя заступится сам Карач-оглан. Идем!

С этими словами Салех схватил Нуха за руку и повлек за собой. Оставив его стоять в нескольких шагах от кибитки, в которой помещались служанки ханум Хатедже, сам он прошел вперед и, слегка раздвинув края кошмы, что-то тихо сказал.

А минуту спустя из кибитки вышла Фатима и, узнав мужа, со слезами бросилась к его ногам.

Когда Карач-мурза приказал позвать к себе начальника стражи и объявил ему, что хочет выкупить Нуха, тот сначала заупрямился.

— Я не могу этого сделать, хотя мне и хотелось бы угодить тебе, благородный эмир, — твердил он. — Этот раб не принадлежит мне. Я получил людей по счету и за каждого из них отвечаю перед своим начальством.

— Ну, а если бы он умер? — спросил Карач-мурза — Наверное, при такой тяжелой работе у тебя умирает немало людей.

— Когда умирают, это другое дело, эмир. Но если я отпущу или продам пленника, на меня обязательно донесет кто-нибудь из моих подчиненных, потому что многие из них ждут случая занять мое место.

— Ты скорее потеряешь свое место, если будешь упорствовать. За этого раба просит сама пресветлая ханум Хатедже, племянница великого эмира Тимур-бека, которая едет со мной.

— Племянница великого Тимур-бека, да вознесется шатер его славы до самого неба! — воскликнул пораженный начальник стражи. — Почему ты мне сразу этого не сказал, сиятельный эмир? Тогда бы я тоже сразу сказал тебе: бери этого человека, сиятельный эмир! И да усыплет Аллах цветами счастья дальнейший путь благородной ханум Хатедже, племянницы нашего великого повелителя!

Нуху все случившееся в этот день казалось сном. Утром — несчастнейший из рабов, оборванный, голодный и уже потерявший надежду на лучшую долю, к вечеру он стал свободным человеком, нукером могущественного и славного Карач-оглана. Он снова был сыт, хорошо одет, получил прекрасного коня и оружие, а что самое главное и удивительное, — здесь, в этой чужой стране соединился с любимой женой, которую уже не чаял когда-нибудь увидеть. Воистину велик Аллах, если он может творить такие чудеса!

Несколько дней спустя, сидя с Фатимой под деревом, в стороне от остановившегося на почлег отряда, Нух любовно гладил руку жены и говорил:

— Скажи мне, Фатима: это правда, что мы еще живы и находимся на земле? Или, может быть, мы оба умерли и теперь встретились в садах Аллаха?

— С тобой мне здесь не хуже, чем в садах Аллаха, мой Нух! Я думаю, что мы не умерли и что только теперь начнется наша настоящая жизнь!

— Ты сказала истину! И теперь мы всегда будем вместе. Я останусь на службе у Карач-оглана, потому что это самый лучший князь на земле. Он спас тебе жизнь, он привел тебя ко мне и меня он тоже спас, Фатима! Когда он поедет назад, ты уйдешь от ханум Хатедже и мы вместе возвратимся в Орду.

— Ханум Хатедже тоже очень добра, и мне у нее хорошо. Мне не хочется уходить от нее, Нух.

— Значит, ты не хочешь быть со мной?

— Как можешь ты это говорить, Нух! Я сказала только, что не хочу покидать ханум Хатедже.

— Тогда, чтобы быть с тобой вместе, мне надо покинуть Карач-оглана? Но это невозможно, Фатима. Я не могу заплатить ему такой неблагодарностью!

— Тебе не нужно покидать Карач-оглана, Нух. И мне не нужно покидать ханум Хатедже. Надо только подождать немного. Если я не совсем глупа и что-нибудь понимаю, мы и так сможем быть всегда вместе.

ГЛАВА XI

«Самарканд большой и очень красивый город. Здесь столько виноградников и садов, что, подъезжая, видишь сначала как бы лес из тенистых деревьев, и потом, внутри его обнаруживается самый город».

Маркиз Руис Гонсалес де Клавихо, посол кастильского короля к Тимуру

Город Самарканд — в древности Мараканда — по времени своего возникновения является, вероятно, самым старым из всех городов, вошедших в состав Российской державы. По преданиям он был основан полулегендарным царем Афросиабом[1] более чем за три тысячи лет до начала христианской эры. Возможно, что это несколько преувеличено. Но во всяком случае в 329 году до Р. Х., когда Самаркандом овладел Александр Македонский, это был уже большой и превосходно укрепленный город. Римский историк первого века, Квинт Курций Руф, пишет, что он был обнесен стеной

[1] Древнее городище, с восточной стороны примыкающее к нынешнему Самарканду, и сейчас носит название Афросиаб.

общим протяжением в семьдесят стадий[1], и что за этой стеной было еще и внутреннее укрепление.

Географическое положение города было исключительно удачно: он был окружен чрезвычайно плодородными землями и лежал на пересечении главных караванных путей того времени, идущих из Индии, Китая, Персии и Хорезма. Все это способствовало пышному развитию земледелия и торговли, привлекая сюда множество народа и обеспечивая Самарканду быстрый рост. По количеству населения и по величине он всегда был первым городом Мавераннахра, даже в те периоды истории, когда столицей государства бывала Бухара.

По свидетельствам арабских историков X—XII веков можно заключить, что в их времена город Самарканд, то есть его центральная часть — Шахристан, занимал огромную площадь в несколько тысяч десятин и был опоясан стеной протяжением около шестидесяти верст. К нему примыкало обширное предместье — рабабад, тоже защищенное мощными укреплениями. Стены города, также как и все его ворота, были двойными.

Не в пример чрезвычайно уплотненной Бухаре, Самарканд был построен просторно, здесь в огороженное стенами пространство входило множество садов и виноградников. Но все же городское население его было очень велико: по данным китайского историка Чань-Чуня, перед нашествием Чингиз-хана тут насчитывалось около ста тысяч семейств, то есть не менее четырехсот тысяч жителей.

Самарканд в это время был огромным торгово-промышленным центром, безусловно самым крупным во всей Средней Азии. Знаменитый арабский географ Макдиси оставил нам довольно подробный перечень товаров, которые вывозились из Самарканда. Сюда входят парча и ткани, преимущественно хлопчатобумажные; в большом количестве шелк, который по качеству не уступал китайскому; овечья и козья шерсть, ножницы и иголки; резные серебряные кубки, медные котлы и другая посуда; оружие, в особенности луки и колчаны; походные шатры, кибитки, седла, шорные изделия, и металлические части сбруи; кожи, виноград, фрукты, орехи т. д. Но едва ли не самым важным предметом вывоза, во всяком случае, в культурном своем значении, являлась писчая бумага.

---

[1] Стадия — около ста сажень.

Секрет ее изготовления самаркандцы узнали в середине VIII века от захваченных в плен китайских мастеров. В дальнейшем они усовершенствовали и упростили ее производство, опередив в этом отношении китайцев. Для развития культуры Средней Азии это обстоятельство сыграло исключительную роль, ибо благодаря ему к концу X века в мусульманских странах сравнительно дешевая бумага совершенно вытеснила папирус и пергамент, что способствовало бурному росту письменности и распространению научных знаний. Каждый, даже обладавший весьма скромными достатками ученый, мыслитель, философ, путешественник или поэт получил возможность записывать то, что он знал или создал, чем значительно облегчалось блестящее развитие арабской культуры средневековья. Европа же, которая и в интеллектуальном отношении стояла тогда гораздо ниже мусульманского Востока, в течение еще трех веков пользовалась пергаментом, по своей цене мало кому доступным. При этом для того, чтобы создать новое письменное произведение, нередко уничтожали старое, которое просто соскабливали с пергамента, чтобы использовать его вторично[1].

Ныне мало кто из европейцев правильно представляет себе истинное соотношение культурных сил средневековых Востока и Запада. В нашей памяти, в лучшем случае, сохранился десяток арабских имен, которым, на первый взгляд, нетрудно противопоставить гораздо большее количество имен европейских. Но это объясняется только неосведомленностью. На самом же деле, если сохранившиеся письменные памятники средневековой Европы исчисляются десятками, то дошедшие до нас труды представителей мусульманского Востока исчисляются тысячами, и среди них есть немало подлинно гениальных. В этом заметную роль сыграла самаркандская бумага.

Широкое развитие торговли и промышленности Самарканда накладывало на все его население совершенно особый отпечаток: ремесленный и торговый люд имел здесь большую силу, которую всегда мог использовать для защиты своих жизненных интересов. Власти вынуждены были с этим считаться, ибо на всякое увеличение налогов и торговых пошлин или чрезмерный про-

---

[1] Секрет изготовления бумаги от арабов узнали крестоносцы, и в Европе она начала входить в употребление в конце XIII века.

извол должностных лиц население города обычно отвечало мятежами, подавить которые бывало нелегко, так как это население было чрезвычайно многочисленно и поголовно вооружено. Может быть, именно потому многие правители Мавераннахра предпочитали держать свою столицу в более спокойной и патриархальной Бухаре.

В 1221 году Самарканд был взят и безжалостно разрушен ордой Чингиз-хана. По приказу грозного завоевателя были срыты городские стены, обращены в развалины все крупные здания, кроме имевших религиозное значение, уничтожен Арзис, знаменитый свинцовый водопровод, который снабжал водой весь Шахристан, выжжены базары и караван-сараи и уведены в плен все ремесленники. Кроме того, во время военных действий были разрушены многие плотины, что совершено расстроило оросительную систему области.

Под властью монголов Самарканд, в котором теперь едва теплилась жизнь, пролежал в развалинах почти целое столетие, прежде чем царствовавшие здесь потомки хана Чагатая начали его восстанавливать. Но в этом направлении они успели сделать весьма немного, ибо начавшиеся между ними усобицы и бесконечные восстания тюркских эмиров препятствовали какой-либо созидательной деятельности.

В 1346 году пал последний чагатайский хан Казанбек, но борьба за верховную власть между местными эмирами продолжалась еще более двадцати лет, покуда победителем из нее не вышел Тимур. В 1369 году он стал полным владыкой Мавераннахра и объявил Самарканд своей столицей.

С этого момента начинаются быстрое восстановление города и полная его перестройка. Тимур не жалеет ничего, чтобы сделать свою столицу самой блистательной в Азии. Из всех завоеванных стран непрерывным потоком текут сюда награбленные сокровища, лучшие строительные и отделочные материалы, редчайшие произведения искусства, золото, драгоценная утварь и все, что может способствовать украшению столицы великого завоевателя. Из Индии, Персии, Сирии, Хорезма и других покоренных стран, свозятся сюда лучшие зодчие, художники и мастера, сгоняются десятки тысяч рабов. Возводятся и украшаются невиданной по роскоши и изяществу отделкой величественные дворцы, мечети, мавзолеи и караван-сараи, разбиваются велико-

лепные парки и пруды, во всех окрестностях проводятся новые дороги и арыки. На небывалую высоту поднимаются ремесло и торговля. Количество жителей снова возрастает до двухсот тысяч человек.

Работа кипела днем и ночью. И только при совершенно неограниченных возможностях Тимура и при его беспощадно жестокой воле это колоссальное строительство удалось осуществить в столь короткий срок; к концу века Самарканд по своему великолепию и благоустройству смело мог потягаться с любой столицей мира. Окрестным селениям и пригородам Тимур умышлено дал названия самых крупных и прославленных городов Востока — Багдада, Дамаска, Каира и других, чтобы подчеркнуть их ничтожество по сравнению с Самаркандом.

ГЛАВА XII

«Хвала Аллаху, который, — да возвеличится Его имя и да прославится всякое деяние Его, — вложил в счастливые руки эмира Тимура вожжи правления миром и ключи покорения и побед».

Гийас ад-Дин Али,
персидский биограф Тимура

Хатедже была в Самарканде лет пятнадцать тому назад, когда его перестройка только начиналась. И потому теперь, столько наслышавшись о здешних чудесах, воплощенных в жизнь волей ее грозного родича, она горела нетерпением их осмотреть. Из кибитки почти ничего нельзя было увидеть, и потому, когда вдали показался город, она выразила желание пересесть на верховую лошадь, которая, по распоряжению Карач-мурзы, сейчас же была ей подана.

Сам Карач-мурза тоже более восьми лет не бывал в Самарканде и потому также ожидал увидеть тут много нового. Обогнав медленно движущийся отряд, они выехали вперед и поднялись на стоявшую чуть в стороне горку, с которой открывался хороший вид на расстилавшийся внизу город. И здесь их восхищенным взорам действительно представилась величественная картина.

Склон горы полого спускался к огромному саду,

раскинувшемуся у ее подножья. Там всюду виднелись кущи вечнозеленых деревьев, местами образующих тенистые аллеи и цветники самой причудливой формы, разделенные желтыми линиями дорожек и лентами арыков, посеребренных лучами солнца. Среди густой зелени были рассыпаны летние дворцы с бьющими перед ними фонтанами, разноцветные шатры, искусственные водопады и воздушно-легкие беседки, каждая из которых была подлинным произведением искусства. А в середине сада, на берегу большого пруда, высился непередаваемо прекрасный павильон, будто перенесенный сюда из китайской сказки. Его матовая, голубая с белым, облицовка не отражала солнечных лучей, а как бы впитывала их в себя, заставляя все это изумительное строение светиться каким-то мягким, волшебным светом[1].

За этим садом начинался громадный город, обнесенный мощными стенами, но он тоже весь тонул в зелени, из которой тут и там выбивались разноцветные крыши зданий, синие купола мечетей, кружевные столпы минаретов, узорчатые порталы медресе, колоннады и башни дворцов и зубчатые стены караван-сараев. Весь город был окружен кольцом садов, таких же прекрасных, как тот, который расстилался у ног Хатедже и Карач-мурзы[2], а за садами с одной стороны виднелась зеленая долина, иссеченная руслами реки и арыков, а с другой высились лиловатые, кое-где припорошенные снегом вершины и сбегающие вниз отроги гор.

— Как это красиво! — промолвила Хатедже, любуясь волшебным зрелищем. — Какие сады! Лучшие, наверно, есть только у Аллаха.

— Здесь, внизу, это Баги-Майдан, — пояснил Карач-мурза. — Когда я приезжал сюда в последний раз, его только начинали устраивать. Слева от него, видишь, за широким арыком, начинается другой сад — Баги-Дилкуш. А вон там, с другой стороны, под горами, — самый большой из всех, Баги-Джехан Нумо. Возле гор он переходит в настоящий лес, и там на свободе живут всевозможные звери и птицы, которые совсем не боятся людей, потому что Тимур-бек под стра-

---

[1] Этот павильон, носивший название Чин-Хана, был весь облицован плитками драгоценного фарфора, привезенного из императорских мастерских Китая.

[2] Таких садов вокруг Самарканда было тринадцать.

хом смерти запретил на них охотиться[1]. Я думаю, что на всей земле нет такого огромного сада. Мне рассказывали, что однажды там убежала верховая лошадь одного знатного араба — зодчего, сотни рабов искали ее повсюду и нашли только через месяц[2].

— Я понимаю, оглан, что можно насадить такие обширные сады, в которых потеряется и человек и лошадь. Но посмотри: сейчас зима, а тут повсюду цветут цветы! Мой слабый ум не может постигнуть — как это сделано, оглан. Или это цветы не настоящие?

— Это настоящие цветы, ханум, живые цветы. Тысячи пород деревьев и других растений привозили для этих садов со всех концов земли. И по повелению твоего великого дяди Тимур-бека они подобраны так, чтобы во всякую пору года некоторые из них цвели, сменяя друг друга.

— Как хорошо он это придумал, оглан, — задумчиво промолвила Хатедже. — Я думаю, что вот так же должно быть и с людьми...

— Как, ханум?

— Чтобы в душе человека тоже был такой сад... Я не знаю, как это выразить, оглан.

— Ты, наверно, хочешь сказать, что в душе человека тоже всегда должно что-нибудь цвести? И когда увядают одни цветы, нужно сделать так, чтобы зацвели другие?

— Да, оглан. Если человек хочет счастья... и если он не засыхает сам, вместе с первыми цветами.

— Каждый человек хочет счастья, ханум.

— Но не всякий может его достигнуть. Ты сказал, что Тимур-беку эти цветы привозили со всех концов земли. Ну, а обыкновенный человек, если у него нет могущества Тимур-бека, разве он всегда может получить тот цветок, для которого возделана почва его сердца?

— Человек, который очень хочет, достанет такой цветок.

— Может быть, если этот человек мужчина. А женщина сама подобна цветку — ее просто срывают, и не всегда срывает тот, кем она хочет быть сорвана... Но посмотри: наш отряд уже совсем близко от города, — поспешно добавила Хатедже, которой вдруг подума-

---

[1] Это был, кажется, первый заповедник, известный в истории.
[2] Исторический факт.

лось, что всего этого не следовало говорить Карач-мурзе. — Получится нехорошо, если Тимур-бек вышлет кого-нибудь навстречу, а тебя там не будет, оглан.

* *
*

Приказав своим людям разбить стойбище на широком лугу, верстах в трех от городских стен, Карач-мурза и с ним Хатедже в сопровождении небольшой свиты въехали в город. Тут они сразу же узнали, что Тимура нет в Самарканде: оставив здесь правителем своего сына Шахруха, он в начале января выехал к войску, которое стояло у Ташкента.

Чтобы узнать больше, нужно было повидать Шахруха. Последний, хорошо зная Карач-мурзу, принял его сразу и сообщил следующее: Тимур всю осень находился при войске, а потом заболел и в декабре приехал в Самарканд, но едва почувствовав себя лучше, возвратился обратно. Уезжая, он сказал, что двадцать второго января выступит из Ташкента и пойдет к городу Отрару, где предполагает быть первого февраля, так что гонцов со всякими известиями к этому времени надо посылать в Отрар. Кроме этого, Шахрух ничего не знал или не хотел сказать.

Эти новости обеспокоили Карач-мурзу. Обдумывая в пути все, что могло случиться, он почти не сомневался в том, что если Железный Хромец выступит в поход раньше, чем предполагали в Орде, то двинется обычной дорогой, через Бухару, то есть навстречу посольскому отряду. Но из того, что Тимур решил идти на Отрар, делалось очевидным, что он избрал другой путь: вниз по Сырдарье и дальше, через Тургайскую низину.

Значит, теперь нужно было догонять Тимура и при этом дорожить каждым часом: было двадцатое января, и у Карач-мурзы оставалось времени в обрез, чтобы двинувшись отсюда прямо на Отрар, прийти туда одновременно с Тимуром и там попытаться отговорить его от продолжения похода. Было совершенно очевидно, что чем дальше Тимур успеет отойти, тем труднее будет это сделать.

Обдумав все это, Карач-мурза решил выступить на следующее утро. Времени на осмотр города не оставалось, но все же он не мог отказать Хатедже в желании помолиться у гроба ее любимой тетки Туркан-аки,

которая, вместе со своей дочерью Шади-Мульк, покоилась здесь, в роскошном мавзолее, воздвигнутом для них Тимуром.

Этот мавзолей стоял на склоне громадного голого холма, с восточной стороны примыкавшего к городу. Именно на этом месте, которое еще сохранило свое древнее название Афросиаб, некогда возникла античная Мараканда, а позже находился шахристан Самарканда, включавший внутреннюю цитадель, дворцы местной знати, общественные здания и вообще всю ту лучшую часть города, которую орда Чингиз-хана обратила в руины.

Эта возвышенная местность была совершенно безводна, и того количества воды, которое подавал сюда уничтоженный монголами водопровод и прежде едва хватало на самые насущные потребности населения. Зная это, Тимур, более всего любивший сады и обилие зелени, не стал восстанавливать ни водопровода, ни прежнего городского центра, он перенес последний на место бывшего раббада, Афросиаб же остался теперь за чертой города, как был, в развалинах, которые постепенно разбирали на нужды нового строительства.

Однако здесь сохранились могильники многих мусульманских святых и мавзолеи[1], которые Чингиз-хан приказал не трогать, и в том числе особо почитаемая святыня: гробница Кусама Ибн-Аббаса, двоюродного брата пророка Магомета. Считалось, что погребение возле могилы Кусама обеспечивает душам правоверных загробное блаженство, а потому тут постепенно вырос целый городок могильников, мавзолеев, мечетей и молелен, который носил общее название Шахи-Зенда, что означает «Живой Царь». Его объясняет легенда, согласно которой Кусам Ибн-Аббас, убитый на этом месте врагами, в действительности не умер: его бездыханное тело было поглощено скалой, за которой он воскрес и продолжает жить до сих пор[2].

Религиозное значение Шахи-Зенда полностью сохранилось и при Тимуре, который за годы своего владычества воздвиг здесь более десятка новых мавзолеев,

---

[1] Самарканд у мусульман назывался «городом святых», — их тут было похоронено более двухсот.

[2] Новейшие историки утверждают, что Кусам Ибн-Аббас вообще никогда не бывал в Самарканде и что тут похоронен какой-то другой святой, могилу которого приписывают Кусаму по ошибке.

своим великолепием затмивших все существовавшие прежде.

Мазар Туркан-аки и Шади-Мульк, построенный и отделанный знаменитыми самаркандскими зодчими Баред-дином и Шамси-дином, вместе с тремя другими новыми мавзолеями[1] стоял на краю сбегавшей с вершины холма дороги, которая служила как бы главной улицей этого города мертвых. Он представлял собой величественное прямоугольное строение, увенчанное рубчатой скуфьей купола, который опирался на невысокий восьмигранный барабан. Огромная стрельчатая ниша портала, а также вся передняя стена здания были сверху донизу покрыты панелями, заполненными вязью тончайших узоров из майолики и резной терракоты, с преобладанием нежно-бирюзового цвета. Еще более художественной была внутренняя отделка стен и свода, где сложнейшие узоры орнамента изящно сочетались с накладными вызолоченными надписями, воспроизводящими различные изречения из Корана.

Оставив Хатедже и сопровождавшую ее Фатиму молиться у гробниц, стоявших в мазаре, Карач-мурза вышел наружу. Оглядев соседние мавзолеи и увидев, что по архитектурному замыслу и по отделке они мало отличаются друг от друга, он пошел по дороге к вершине холма, где находился мазар Кусама Ибн-Аббаса.

Тут стояла большая группа строений. Самый мавзолей святого — древнейший из всех — неоднократно перестраивался, но побывавший здесь в XIV веке арабский путешественник Ибн-Батута дает такое его описание:

> «Над благословенной могилой возведено четырехгранное строение с куполом; у каждого угла стоят по две мраморные колонны зеленого, белого, черного и красного цветов; стены здания тоже сложены из разноцветного мрамора, с золотым орнаментом. Крыша сделана из свинца. В мазаре стоит гробница черного дерева, окованная серебром и изукрашенная драгоценными камнями».

[1] Это мавзолеи Ширин-беки — другой сестры Тимура и эмиров Заде и Хусейна. Внуком Тимура, царем-ученым Улугбеком, к этому ансамблю был добавлен еще один замечательный мавзолей, позднее к ним присоединилось еще несколько.

Обойдя здание кругом, Карач-мурза вошел внутрь. «Зиарат-хана» — поминальная зала, из которой через особое окошко можно было взглянуть на гробницу, отличалась высокохудожественной отделкой, ее стены были покрыты сложнейшим изразцовым орнаментом белого и голубого цветов, с золотой росписью. Та часть мазара, в которой стояла гробница, была более древней постройки, ее стены были украшены совсем простым узором, составленным из звезд и перекрещивающихся прямых линий.

Выйдя снова наружу, Карач-мурза окинул взглядом соседние строения: вот древняя мечеть Кусама, выше — мавзолей имама Ходжи-Ахмата, еще несколько старых и изрядно обветшалых мавзолеев, которые он уже видел, а по другую сторону дороги — три новых. Один из них обращал на себя внимание своеобразием отделки, для которой тут были использованы разноцветные кирпичи и фигурная майолика. Подойдя ближе, Карач-мурза прочел над порталом, что тут покоится прах сиятельного эмира Бурундука, одного из любимых военачальников Тимура. Он хотел зайти внутрь, но в этот миг увидел, что внизу на дорожке показалась Хатедже, и поспешил к ней. Солнце уже склонялось к горизонту, и нужно было возвращаться в стойбище, чтобы с рассветом выступить в дальнейший путь[1].

ГЛАВА XIII

«Женитесь на женщинах, которые вам приятны, — на двух и на трех, и на четырех. А если боитесь, что не будете справедливы, то на одной».

Коран

На четвертый день по выступлении из Самарканда, перевалив через невысокий горный гребет Нура-Тау, отряд ордынского посла краем Кызыл-кумских песков направился к Сырдарье. До нее оставалось еще три-четыре дневных перехода. А там, до Отрара, еще два.

---

[1] В этой главе не упомянуты наиболее прославленные архитектурные шедевры эпохи Тимура: его грандиозная усыпальница Гур-Эмир, соборная мечеть Биби-ханым, великолепный мавзолей Туман-ака (одной из жен Тимура) и некоторые другие, так как все они были построены лет на 10—15 позже.

Итак, еще пять—шесть дней и долгий, утомительный путь будет закончен. В том, что они вовремя поспеют в Отрар и застанут там Тимура, Карач-мурза теперь не сомневался: дорога была хороша, и они двигались достаточно быстро. Но все же на душе не было спокойствия. И чем меньше оставалось до цели путешествия, тем сильнее им овладевало какое-то странное, томительное чувство.

Вначале, не желая самому себе признаться в истинной причине этого, Карач-мурза упорно заставлял себя думать о своей миссии посла и о том, что и как следует сказать Тимуру, чтобы эту миссию успешно выполнить. Но все это он уже обдумал много раз и потому довольно быстро осознал, что теперь обманывает самого себя. Мысль его все время соскальзывала на другое, и было очевидно, что подлинной причиной того угнетенного состояния, которое он сейчас испытывал, было вовсе не беспокойство за исход переговоров с Тимуром, а неприятное сознание того, что очень скоро ему предстоит навсегда расстаться с Хатедже.

Поняв это, Карач-мурза, уже не таясь от себя, стал думать о ней. Почему она заняла слишком много места в его душе и как это получилось?

Четыре месяца они ехали вместе и почти не было такого дня, когда бы он несколько часов не проводил в разговорах с нею. Она умнее многих женщин, которых он знал, и очень любознательна. Было приятно рассказывать ей всякие истории — Хатедже так хорошо умела слушать и так разгорались при этом ее глаза, что хотелось рассказывать еще и еще... Если бы не она, этот долгий и однообразный путь был бы совсем скучным, а с нею время летело незаметно. Аллах! За четыре месяца можно привыкнуть к своему спутнику, кто бы он ни был, женщина или мужчина. И он привык к Хатедже и к этим ежедневным разговорам — только и всего. Теперь кончается их совместный путь и кончится все это. Он сдаст ее Тимуру, сделает свое дело и возвратится в Орду. И скоро они друг о друге позабудут. Так и должно быть...

Да, должно. Но Карач-мурза чувствовал, что будет иначе. Разве он сможет когда-нибудь забыть Хатедже? И разве он хочет ее забыть? Так хорошо, как с нею, ему давно ни с кем не было и, может быть, никогда больше не будет... Когда она рядом, молодеет его душа и хочется, чтобы время остановилось. Разве мож-

но изгнать из памяти такое и разве нужно, чтобы все это теперь кончилось навсегда? Ведь закон дает ему право взять вторую жену, а Хатедже свободна. Она, должно быть, тоже согласится, — видно, что и она привыкла к нему, а если согласится Хатедже, то согласится, наверное, и Тимур. Все это можно устроить...

Ну, а как же Наир? Ведь она его любит всю жизнь и ей это, конечно, не будет приятно. А разве он сам ее не любит? Да, любит, но уже не той любовью, что прежде, ведь Наир почти старуха. К тому же, разве он собирается ее прогнать или лишить того положения в семье, которое она заслужила? И разве сама Наир не поймет этого, ведь она знает, что так делают все. Стоит ли столько размышлять об этом? Он размышляет потому, что слишком близко соприкасался с христианским миром, у христиан это иначе, там и думать о таком нельзя. Но ведь он-то мусульманин! Наир и Хатедже тоже мусульманки, для них это жизненная обыденность, которую они с детства видят кругом, положение, освященное обычаем и законом, даже больше того, установленное самим Пророком. И, конечно, они обе примут это, как должное, не сказав ни слова. Значит, так и надо сделать...

Но, придя к этому, Карач-мурза не почувствовал облегчения. С точки зрения мусульманина, его рассуждения были логичны и здравы, но в глубине его собственной души полного согласия с ними не было.

Он вспомнил далекую молодость, свой приезд в Карачевское княжество и все, что тогда с ним случилось. Там, на земле своих отцов, он впервые услышал, как громко говорит в нем голос его русской крови. Тогда, полюбив Ирину, он уже много думал о том, о чем думает и сейчас... И ему было не очень тяжело отказаться от Ирины только потому, что эти размышления в ту пору привели его совсем к обратному: он понял и осознал, что христианские законы о браке возвышеннее и лучше мусульманских. И придя к этому, он всю жизнь им следовал, хотя и оставался мусульманином. Почему же теперь он хочет поступить наперекор тому, что всегда считал правильным? Разве он не понимает, что Наир, хотя и не осмелится протестовать против того, что он берет вторую жену, будет жестоко страдать от этого? И разве он сам, в глубине души, не будет испытывать перед нею стыда?

Нет, тогда, в молодости, голова его наверное рабо-

тала лучше, и он решил правильно. А сейчас он стареет и теряет волю и твердость, без которых мужчина не достоин уважения. Он раскис от того, что на него ласковыми глазами смотрит красивая женщина, и готов сделать то, чего не следует делать. А если он это понял, то должен победить свою слабость. Значит, кончено! Ничего этого не будет!

До сих пор он честно исполнял то, что ему было приказано великим ханом: в пути заботился о Хатедже и старался, чтобы она всем была довольна. И если ему самому это было приятно, никто не сможет его за это упрекнуть, потому что он также честно выполнит и ту часть приказа, которая ему неприятна; отдаст Хатедже Тимуру. Пусть сердцу его при этом будет больно, он этого никому не покажет и сделает именно так, как сейчас решил. И больше не стоит об этом думать.

Остановившись на этом, Карач-мурза старался больше не пропускать в свой разум никаких сомнений, и ему стало легче. Чтобы не подвергать лишним испытаниям свою нелегко обретенную твердость, он в эти последние дни избегал общества Хатедже, ограничиваясь только обычными приветствиями и редкими разговорами, настолько короткими и сдержанными, насколько допускала вежливость. Казалось, Хатедже это не удивляло. Она была грустна и подавлена, чего почти не старалась или не умела скрыть, и этих случайных и натянутых разговоров со своей стороны не поддерживала.

Отряд, между тем, вышел на Сырдарью и тут, в первом же попутном селении, Карач-мурза узнал, что Тимур два дня тому назад прибыл в городок Кара-Саман, вокруг которого были хорошие зимние пастбища, и там остановил свои передовые тумены, ожидая, пока подойдут остальные.

До Кара-Самана отсюда было не больше семи фарсахов и, если в пути не встретится никаких помех, к ночи отряд мог быть уже на месте. И потому Карач-мурза приказал немедленно двигаться дальше, не жалея лошадей и насколько возможно сокращая время привалов.

Однако дорога оказалась скверной: во многих местах она была занесена песком, который затруднял движение, сильно утомляя коней и обрекая кибитки и повозки на частые остановки. И вследствие этого, несмотря на все старания Карач-мурзы, отряд в этот

день не смог добраться до цели, и когда уже совсем стемнело, вынужден был остановиться на ночлег в двух фарсахах от Кара-Самана.

Привычно быстро были разбиты шатры, в лагере тут и там запылали костры, и утомленные трудным переходом люди, разместившись вокруг них в ожидании, когда поспеет еда, повели обычные вечерние разговоры о былых походах, о похождениях хитрого ходжи Насреддина[1] и о коварных проделках черных и белых джинов.

Карач-мурзе не хотелось есть. Умывшись, он отослал слуг и остался один в своем шатре. Он был сейчас особенно не в духе: разбирала досада, что не удалось сегодня же дойти до Кара-Самана, — по крайней мере все сразу было бы кончено... В сутолоке огромного стойбища, в водовороте новых встреч, забот и деловых разговоров так легко было бы проститься с Хатедже! Там, на людях, можно было бы просто высказать ей несколько добрых пожеланий на будущее, и все. Может быть, она сегодня же перешла бы в лагерь к Тимуру. А теперь впереди длинный, ничем не занятый вечер, их шатры стоят в пяти шагах друг от друга, она сидит одна, знает, что и он сидит один, и конечно, ожидает, что он придет, чтобы проститься с нею и в последний раз поговорить. В течение четырех месяцев они ежедневно встречались и подолгу беседовали, и если уклониться от этого сегодня, в последний день их совместного пути, — будет глупо и невежливо... Она не заслуживает такой обиды. Надо пойти... И если уж необходимо, лучше сделать это как можно скорей.

* *
*

Когда вошел Карач-мурза, Хатедже сидела на низкой, крытой бухарским ковром оттоманке, грея озябшие руки над стоявшим перед ней мангалом. В полумраке шатра, освещенного масляным светильником, выражения ее лица нельзя было уловить, но голос прозвучал ласково, когда она сказала:

— Садись, оглан, если ты не очень спешишь. Я рада, что ты пришел.

---

[1] Ходжа Насреддин — легендарная личность, излюбленный в Средней Азии герой всевозможных анекдотов и забавных историй.

— Ты знаешь ханум, что я всегда рад тебя видеть, — пробормотал Карач-мурза, садясь на подушку, возле оттоманки.

— Раньше я в этом не сомневалась, оглан. Но в эти последние дни... мне казалось другое.

После этих слов наступило довольно долгое молчание. Карач-мурза сидел неподвижно, уставившись на рдеющие в мангале угли. Наконец, не поднимая головы, он сказал:

— Я не хочу тебя обманывать, ханум, и не хочу чтобы ты думала обо мне плохо. Мне и в эти дни очень хотелось быть с тобою. Но если человек привык к чему-нибудь хорошему и знает, что близок день, когда он должен это потерять, лучше отвыкать постепенно.

— Если так, я тебя понимаю, оглан, и даже радуюсь этому. Только я думаю, что потерять и отдать — это не одно и то же.

— Иногда отдать тяжелее, чем потерять, ханум.

— Это смотря по тому, с кем надо бороться за то, чтобы не отдавать: с другими или с самим собой.

— Ты думаешь, что с собою бороться легче?

— Не знаю, оглан, потому что мне не нужно бороться с собой. А для того, чтобы бороться с другими, я слишком слаба.

— Иногда слабые побеждают, ханум, а сильные оказываются побежденными... Вот, если хочешь, я расскажу тебе одно татарское предание.

— Расскажи, оглан, я так люблю тебя слушать!

— Хорошо, ханум, слушай: это случилось не так давно, лет полтораста тому назад. Жил тогда в Моголистане могущественный хан Кайду[1], и у этого хана была дочь Аярук, девушка такая красивая, каких немного бывало на свете, и такая сильная, каких на свете совсем не бывало. Ни в скачке на диких конях, ни в стрельбе из лука, ни в борьбе с нею не мог состязаться ни один мужчина.

Кайду очень любил свою дочь и гордился ею. Он хотел выдать ее замуж за достойного человека, и это было нетрудно, потому что многие владетельные ханы, царевичи и эмиры искали ее руки. Но Аярук сказала: «Я выйду замуж только за такого человека, который будет сильнее меня».

---

[1] Хан Кайду — внук императора Угедея, третьего сына Чингиз-хана.

И хан Кайду объявил: «Каждый, кто пожелает свататься к Аярук, должен бороться с нею. Если он ее положит на землю, она станет его женой; если она его положит, он должен дать ей тысячу коней, а если тысячи коней у него нет, ему будет отрублена голова».

Ну, стали приезжать и пробовать свое счастье многие знатные и простые люди. Но всех их побеждала в борьбе Аярук. Одни отдавали ей тысячу коней и уезжали, другие оставляли у ее шатра свои головы, и никого из них ей не было жалко. Так прошло немало лет. Женихов приезжало все меньше и меньше и, наконец, они совсем перестали приезжать, к великому огорчению хана Кайду, который уже начал терять надежду, что его любимая дочь когда-нибудь выйдет замуж.

Но вот, однажды приезжает царевич — сын одного из самых могущественных владык, просит руки Аярук и говорит, что готов с нею бороться. Был он молодой, красивый, веселый и казался очень сильным, но Кайду уже не верил, что кто-нибудь может одолеть его дочь. И стал он тогда уговаривать Аярук: «Поддайся ему нарочно и выйди за него замуж! Лучшего мужа ты никогда не найдешь». Аярук полюбила этого царевича с первого взляда, но она ответила отцу: «Я буду бороться честно, потому что не смогу уважать мужа, если не уверюсь, что он сильнее меня».

Они стали бороться. Долго боролись, и иногда казалось, что царевич одолевает, но Аярук все же положила его на землю. Он встал, низко поклонился ей и сказал: «Ты оказалась сильнее меня, Аярук, и не станешь моей женой. Но я не хочу уходить отсюда побежденным. Я не дам тебе тысячи коней, пусть мне на твоих глазах отрубят голову!»

Аярук стала белее снега, а Кайду промолвил: «Нам не нужно твоих коней, и я не хочу рубить тебе голову. Иди с миром!» Тогда он спросил: «А что скажешь ты, Аярук?» И она ответила: «Иди с миром!» Но царевич не тронулся с места и сказал: «Если бы я воспользовался твоей милостью, я был бы побежден второй раз и ушел бы отсюда посрамленным дважды, унося на плечах твое презрение. А я еще могу остаться победителем, ибо теперь знаю: ты меня любишь!» И, сказав это, он выхватил свой кинжал и закололся.

— И что же было потом с Аярук? — спросила Хатедже после довольно длинной паузы.

— Аярук, несмотря на свою силу, оказалась побежденной, ханум. Она больше ни с кем не боролась, никогда не вышла замуж и до самой смерти любила этого царевича.

— Она потом, наверно, жалела, что не поддалась ему.

— Не думаю, ханум. Лучше сохранить любовь и уважение к мертвому, чем презрение к живому. Она не могла уважать слабого человека, а он не мог пережить поражения, и в этом оказалась его сила. Значит, они оба поступили правильно.

— Оба пожертвовали тем, что было дороже всего... Что же, я, кажется, догадываюсь, для чего ты мне это рассказал, оглан. Только я не совсем понимаю, зачем тут нужна жертва? И мне пришло в голову другое: на самом деле царевич был сильнее, чем Аярук, и он мог ее побороть. Но поддался потому, что вдруг почувствовал, что ему легче умереть, чем жениться на ней.

— Как могла ты подумать такое, ханум? — в сильном смущении воскликнул Карач-мурза. — Я же сказал, тебе, что она была красавица, каких мало!

— Может быть, пока он боролся с нею, успел рассмотреть, что эта красавица уже не очень молода. Ты же сам говорил, что много лет к ней ездили женихи, а под конец уже и ездить перестали.

Карач-мурза, вовсе не зная, что теперь говорить, растерянно взглянул на Хатедже. Она смотрела прямо на него, улыбаясь, и в прекрасных глазах ее не было ни горечи, ни обиды, как он ожидал, а было нечто совсем другое.

Улыбнулся и он, сперва уголком рта, потом улыбнулся шире, засмеялся, сдерживаясь, но вдруг не выдержал и, хлопнув себя ладонями по коленям, расхохотался от всей души. Глядя на него, смеялась и Хатедже.

— Ханум-джан! — воскликнул он, справившись с этим приступом смеха и вскакивая на ноги с таким чувством, будто с него свалилась гора. — Я все перепутал и только сейчас вспомнил, как было дело: царевич совсем не закололся! Они поборолись еще раз, он одолел Аярук, и они сразу поженились. И говорят, были очень счастливой парой. Давай и мы поженимся, ханум! Может быть, мы будем еще счастливее!

ЧАСТЬ ВТОРАЯ

К ВЛАДЫЧЕСТВУ НАД МИРОМ

4 Зак. 235

ГЛАВА XIV

«На седле можно завоевать мир, но управлять миром с седла нельзя».

Элю-Чу-Цай,
китайский ученый XIII века

Среди всех величайших завоевателей, когда-либо создававших мировые империи, Тимур, так же, как и Наполеон, занимает особое место: почти все другие, по самому рождению своему, имели право на известную власть и, начиная свое возвышение, уже располагали для этого какими-то отправными силами. Тимур же свое восхождение к вершинам власти начал с самой низкой точки, не имея ничего, кроме хорошей головы. И всем тем, чего достиг, он был обязан только своим личным качествам.

Он родился в марте 1336 года, в селе Ходжа-Ильгар, близ города Шахрисябза, в небольшом княжестве Кеш, которое входило в состав Мавераннахра. Отец его, некий Тарагай, принадлежал к тюркскому кочевому племени барласов и был человеком совершенно незначительным. Сам Тимур, еще не достигнув двадцатилетнего возраста, собрал небольшую шайку головорезов, с которыми начал свой жизненный путь, грабя на больших дорогах проходящие караваны.

Личная отвага, щедрость, незаурядный ум и замечательные организаторские способности скоро сделали его популярным сначала среди любителей легкой наживы, а потом и в массе его соплеменников — барласов. Шайка его быстро росла. Вскоре она превратилась в хорошо вооруженный воинский отряд, услугами которого начали пользоваться враждующие между собой татары.

Чагатайское государство в эти годы служило ареной кровавых войн и бесконечных восстаний: потомки хана Чагатая боролись между собой за престол, а местные эмиры, пользуясь этим, старались избавиться от власти чингизидов и утвердить свою.

В 1346 году был убит великий хан Казан-бек, последний повелитель Чагатайского улуса, который после этого распался на два самостоятельные государства: Моголистан, куда вошли области Семиречья и Кашгара, и Мавераннахр. В Моголистане продолжали править потомки Чагатая, и первым из них утвердился на престоле хан Туклук-Тимур; в Мавераннахре власть перешла в руки тюркских князей, среди которых вскоре выделился и взял верх эмир Казаган, сделавшийся правителем государства. Однако по твердо установившемуся в Азии обычаю, сам он, не будучи чингизидом, ханского титула не принял, а возвел на престол подставного хана-чингизида Денишменда, именем которого и правил.

Но успокоения не наступило: Моголистан и Мавераннахр сейчас же вступили между собой в жестокую борьбу. Она шла с переменным успехом. В 1358 году эмир Казаган пал от руки убийцы, подосланного к нему моголистанским ханом Туклуком. Год спустя, в разгоревшейся войне сложил голову и его сын и преемник Абдулла, после чего Мавераннахр распался на несколько независимых областей, с местными эмирами во главе. Этим воспользовался хан Туклук, который, не теряя времени, приступил к их последовательному завоеванию.

Тимур со своим отрядом в это время находился на службе у Кешского эмира Хаджи-Барласа. Когда войско Туклука вторглось в Кеш, Хаджи-Барлас, после недолгого сопротивления, бросил свой город и бежал. Тимур за ним не последовал. Он сумел поладить с победителем и перешел на службу к нему. Хан Туклук назначил его темником шахрисябзского тумена, что по положению сделало Тимура главой племени барласов. В это время ему было двадцать пять лет.

Борьба между претендентами на верховную власть шла своим чередом и, искусно лавируя между ними, Тимур продолжал свое возвышение. В 1362 году он уже стал владетельным эмиром Кеша. В том же году был убит хан Туклук и престол Моголистана перешел к его сыну, Илиас-ходже. В Мавераннахре к этому времени главенство приобрел внук Казагана — Хуссейн. Взвесив все и правильно определив соотношение сил, Тимур сделал новый удачный ход: он заключил союз с Хуссейном, женился на его сестре Улджи-Туркан и вскоре сделался его правой рукой. Вдвоем они про-

должали воевать с Моголистаном и одновременно вели борьбу с эмирами за объединение под своей властью Мавераннахра. В одной из бесчисленных битв Тимур был сильно изранен — ему отрубили два пальца на руке и изувечили правую ногу, после чего он всю жизнь страдал от жестоких болей в этой ноге и навсегда остался хромым, откуда и пошло его прозвище Тимур-Ленг[1], искаженное европейцами в «Тамерлан».

К 1366 году Хуссейн и Тимур одержали полную победу над Моголистаном и окончательно смирили местных эмиров. Теперь начинается соперничество между ними — каждый хочет быть единым повелителем чагатайского улуса. Тимур действует ловко, сея рознь между военачальниками Хуссейна и щедрыми подарками переманивая их на свою сторону. Наконец, между бывшими союзниками начинается открытая война. Успех сопутствует Тимуру. В конце 1369 года он осадил Балх, в котором заперся Хуссейн, и после упорного боя взял город приступом. Хуссейн был убит, и Тимур сделался единовластным владыкой Мавераннахра.

В короткий срок он сумел прочно утвердить свое положение, жестоко расправившись со всеми сторонниками Хуссейна и поставив на все руководящие посты преданных ему людей. Осыпал милостями он и представителей высшего духовенства, влияние которого на народные массы всегда учитывал. Сам по себе Тимур особой религиозностью не отличался: внешне он старался казаться благочестивым, но в запрещенных Кораном удовольствиях никогда себе не отказывал.

Стоит отметить, что Тимур, — ни теперь, ни даже впоследствии, когда он сделался неограниченным повелителем созданной им колоссальной империи, — официально не объявил себя носителем верховной власти. Не рискуя порвать с господствовавшей в Азии традицией, он называл себя только великим эмиром, в некоторых случаях султаном, но всю жизнь придерживался системы подставных ханов-чингизидов. Он возводил их на престол, предоставляя жить в праздности и роскоши, занимаясь делами своих гаремов, чеканил деньги с их именем, а в государственных делах с ними

---

[1] Тимур — означает «железный». «Хромой» — по персидски «ленг», а по-тюркски — «аксак», поэтому Тимура называли также Тимур-Аксаком.

ни в малой степени не считался[1]. Свое собственное происхождение он постарался облагородить женитьбой на вдове Хуссейна, которая была дочерью великого хана Казан-бека, после чего присоединил к своему титулу слово «гурхан», что значит «ханский зять», и этим добавлением очень гордился.

Тимур не получил никакого образования, никогда не посещал даже начальной школы и до конца жизни оставался неграмотным. Но он говорил на нескольких языках, был умен, отличался незаурядными способностями и в жизни приобрел много разносторонних знаний. Он очень заботился о благоустройстве Мавераннахра, покровительствовал науке и искусству и обладал большим вкусом, о чем красноречиво свидетельствует тот внешний облик, который он постарался придать своей столице, и те непревзойденные по красоте здания и сады, которыми он ее украсил.

Но подлинным его призванием была война. Это был прирожденный полководец, равных которому история знает не много. Всю свою жизнь он провел в походах и завоеваниях, из года в год расширяя пределы созданной им империи. Он говорил: «Все земное пространство не стоит того, чтобы иметь двух царей». И он шел неотступно к мировому господству. В этом стремлении им, может быть, руководило не одно честолюбие, но и некоторая идейность: он утверждал, что единодержавие является залогом порядка на земле и блага народов, которые, по его мнению, — весьма, надо сказать, близкому к истине, — более всего страдали от постоянных войн и распрей своих правителей.

За тридцать пять лет, прошедших после того, как Тимур утвердился в Мавераннахре, идя от победы к победе, он последовательно сокрушил Моголистан, Хорезм, Персию, Азербайджан, Герат, Грузию, Армению, Орду Тохтамыша, Афганистан, Индию, Египет, Багдадский халифат, Сирию и Малую Азию. И только смерть положила предел его завоеваниям, настигнув его во время похода на Китай.

Свои завоевания он проводил с исключительной жестокостью, порой необъяснимой. Некоторые историки полагают, что она являлась следствием тех болей, временами доводивших его до исступления, которые

---

[1] Такими подставными ханами были при Тимуре сначала Суюргатмыш (1370—1388), а потом его сын Махмуд.

он испытывал в искалеченной ноге. Но такое объяснение едва ли можно признать удовлетворительным. Более вероятно то, что Тимур старался следовать примеру Чингиз-хана, которого он во многом ставил себе за образец, — в частности, в делах управления он руководствовался почти исключительно его Ясой.

Но если у Чингиз-хана жестокость служила одним из подсобных средств в проведении общего стратегического и административного плана, будучи по-своему разумной и никогда не переходившей в садизм, то у Тимура она очень часто бывала ничем не оправданной и безмерной.

Так, при завоевании Афганистана из двух тысяч пленных, захваченных в городе Исфизаре, Тимур приказал построить башню, укладывая их как кирпичи, на глиняном растворе; в Малой Азии четыре тысячи пленников, взятых при осаде города Сиваса, по его повелению были закопаны в землю живыми; за восстание персов в Исфагани он приказал обезглавить там семьдесят тысяч человек и из отрубленных голов сложить пирамиду; во время похода на Индию, набрав по пути более ста тысяч пленных, он, перед решительным сражением с Делийским султаном, распорядился перебить их всех до одного, из опасения, что они могут взбунтоваться у него в тылу. Подобных примеров можно было бы привести еще множество.

Такого рода жестокость едва ли можно объяснить припадками какой-то неврастении или даже приступами безудержного гнева: подобные вспышки почти всегда мгновенны и скоропроходящи, а осуществление бесчеловечных приказов Тимура обычно требовало времени достаточно долгого, чтобы он успел опомниться и эти приказы отменить. Но он никогда этого не делал, хотя при своем уме и понимал, конечно, что их отмена не унизила бы его достоинства. В Азии такие случаи не были редкостью. Например, бухарский эмир Насер Второй, зная свой необузданный и вспыльчивый нрав, повелел, раз и навсегда, исполнение всех его приказов о казнях или разрушениях откладывать на три дня, чтобы он имел время одуматься. И сверх того, учредил при своем дворе особую должность «заступника», которому вменялось в обязанность настаивать на смягчении несправедливых приговоров эмира.

Небезынтересно отметить, что в частной жизни и вообще вне войны Тимур вовсе не был жестоким. Для

него мир делился на две неравных части: своих и чужих. Своими для него были, прежде всего, члены семьи, родственники, ближайшие сотрудники и военачальники, — по отношению к ним он бывал неизменно щедр, справедлив и часто даже снисходителен, чему хорошим примером может служить тот же Тохтамыш; своим был город Шахрисябз, на благоустройство которого он не жалел никаких средств, украсив его, подобно Самарканду, многими замечательными строениями, из которых особенно знаменит был его грандиозный дворец Ак-Сарай, отделанный с ослепительной роскошью и с редким вкусом; своим было племя барласов, которое он возвысил и осыпал милостями, главным образом из него черпая своих сотрудников и военачальников; своим был, наконец, Мавераннахр, достигший при Тимуре невиданного благосостояния. Таким образом, эти концентрические круги «своего», постепенно расширяясь, достигали какой-то границы, за пределами которой страны и земли превращались в представлении Тимура только в источники нужных ему материальных средств, а их население — в некую неодушевленную человеческую пыль, которая была ему совершенно безразлична.

И если тут он часто бывал беспредельно жесток, то это была жестокость отнюдь не припадочная, а совершенно холодная и неумолимая. Ее размеры скорее всего можно объяснить желанием Тимура и в этом превзойти Чингиз-хана, как старался он превзойти его во всем остальном. Он говорил: «Чингиз-хан мой учитель, но способный ученик должен пойти дальше своих учителей».

В завоеванных городах Тимур обычно уничтожал значительную часть населения, ему ненужного, но уводил в рабство всех мастеров, ремесленников, красивых женщин и молодых, здоровых мужчин. Затем вывозил оттуда все ценности, а остальное предоставлял своему войску на разграбление.

Покоренные народы он облагал тяжелой данью, а земли раздавал в управление своим сыновьям, родственникам и эмирам, но оставлял их под своей верховной властью.

ГЛАВА XV

«Два бедняка поместятся на одной циновке, а для двух ханов и целый мир тесен».

Татарская пословица

Посольство Тохтамыша было принято Тимуром только на четвертый день, хотя в походной обстановке никаких особых приготовлений для приема не требовалось. Но этим только подчеркивался истинный смысл такого промедления: Железный Хромец хотел показать, что он не считает татарского хана слишком крупной величиной и не очень интересуется тем, что последний желает ему сообщить.

Тем не менее, он распорядился, чтобы послу великого хана были оказаны подобающие почести и принял его, хотя и сухо, но вежливо, ни в чем не нарушив установленных обычаев.

Когда к шатру, возле которого он сидел, окруженный своими военачальниками, приблизился посол в сопровождении довольно большой свиты, и все преклонили колени, Карач-мурзу он сейчас же попросил встать, а остальных, казалось, не заметил, и они простояли на коленях до конца приема; выслушав приветствие посла, поинтересовался здоровьем великого хана; поданного ему драгоценного сокола посадил, как было принято, к себе на руку, но при этом даже не взглянул на него; не больше внимания обратил и на другие, сложенные к его ногам подарки, но когда подвели к нему девять великолепных коней, невольно полюбовался ими с минуту и коротко велел благодарить хана.

Наконец вступительная часть была закончена, и Карач-мурза, снова преклонив колени, подал ему письмо Тохтамыша — свернутый в трубку лист, перевязанный золотым шнуром. Развязав шнур, но не разворачивая свитка, Тимур передал его стоявшему сбоку нарядно одетому юноше, своему старшему внуку Мухаммед-Султану.

— Читай, — коротко приказал он.

Пока Мухаммед-Султан читал длинное и витиеватое вступление, воздававшее хвалу достоинствам великого эмира и пересыпанное самыми лестными пожеланиями, изречениями древних мудрецов и прочими

цветами восточной вежливости, Карач-мурза исподволь разглядывал Тимура.

Он заметно изменился с тех пор, как Карач-мурза приезжал к нему послом в Самарканд девять лет тому назад. Сейчас ему было пятьдесят пять — сказывались и годы, и бурно прожитая жизнь. Те же тяжелые, как бы топором высеченные черты темного лица, толстые, выпяченные вперед губы, мясистый нос с хищной горбинкой, косматые брови, нависшие над узкими, тигрово-желтыми глазами, все это выглядело сейчас еще грубее, как бы нарочно подчеркнутое резкими линиями морщин. Его жидкие, висячие усы и клином подстриженная короткая борода были теперь почти белы, но голова сидела на прочной, жилистой шее твердо и вся осанка изобличала властную, еще далеко не растраченную силу.

Роскоши в одежде Тимур вообще не любил, а сейчас, в походе, — в желтых разношенных сапогах и в простом, темно-зеленого шелка халате, с накинутой на плечи лисьей шубой, — он был одет проще, чем все его окружение, если не считать белой войлочной шапки, расшитой жемчугом и украшенной наверху огромным рубином.

— «Ты, великий и высокодостойный эмир, — да благословит каждое твое действие всевышний Аллах, — читал между тем Мухаммед-Султан, — поистине заменил мне отца, и права твои на меня и на мое почтительное повиновение превышают все, что можно исчислить и определить. И я, как преданный и покорный сын, униженно молю тебя: проведи теперь драгоценным пером своего прощения по листу моих прошлых ошибок! В мудрости и великодушии, которыми Аллах отметил твое рождение, забудь мою недопустимую вражду и те недостойные действия, в которых я горько раскаиваюсь и на которые осмелился только из-за несчастной судьбы своей и по коварному подстрекательству низких людей, да покарает их за это справедливый Аллах.

И если я получу теперь твое милостивое прощение, которое будет для меня подобно благодатному дождю, пролившемуся на иссушенный зноем сад, я обещаю всегда и во всем быть послушным твоему непререкаемому величеству. Я ни на один волос не отойду от прямого пути повиновения и ни одной мелочи не упущу в

соблюдении моих обязанностей и условий почтительного и благопристойного послушания»[1].

По мере того, как чтение письма подходило к концу, на лице Тимура, вначале каменно-неподвижном, все отчетливей проступала злая, саркастическая улыбка.

Истинную цену раскаянию и обещаниям Тохтамыша он давно знал, да и сам не раз в своей жизни прибегал к такого рода уловкам. Ему было совершенно очевидно, что противник его просто не готов к войне и хочет выгадать время, чтобы к ней подготовиться. И потому он сказал:

— Хан Тохтамыш в своем письме много говорит о моей мудрости, а сам, наверно, считает меня глупцом, если думает, что я поверю его обещаниям. Он давал их мне уже не один раз и всегда после этого нарушал.

— Великий хан Тохтамыш, — да будет благословен Аллах, открывающий нам наши ошибки, — сожалеет об этом, великий эмир, и кается перед тобою. Меч сильного и мудрого не сечет склонившейся пред ним повинной головы. И вина великого хана не так велика, как вина его дурных советников, которые не хотят между вами мира и тебя теперь тоже направляют против него, великий эмир, — с поклоном промолвил Карач-мурза и заметил, как при этом искривилось в насмешливой улыбке лицо Эдигея, стоявшего за спиной Тимура.

— У плохого дровосека всегда виноват топор, а у хана Тохтамыша всегда виноваты дурные советники! Разве я стал бы слушать таких советников, которые учат заплатить своим благодетелям злом и неблагодарностью за их добро и помощь? Ты был вместе с ним, когда он, шестнадцать лет тому назад, приехал ко мне в Самарканд просить приюта и защиты от своих врагов. И ты знаешь, что я принял его как сына, дал ему много больше того, на что он смел надеяться, и сделал его великим ханом татарской Орды. А чем он мне заплатил? Тем, что едва почувствовав свою силу, захотел отнять у меня Азербайджан; потом поднял против меня Хорезм; потом взбунтовал моих эмиров; и наконец, нанес мне предательский удар в спину и напал на Мавераннахр, пока я был занят войной в Персии. А теперь, когда я повернулся к нему лицом и иду на него

[1] Вольный, но очень близкий к оригиналу перевод письма Тохтамыша к Тимуру.

с двухсоттысячным войском, он просит забыть все это и пишет столько хороших слов! Я не верю этим словам. Хан Тохтамыш не отбросил свой кинжал, а только обмазал его медом. Но пусть он не думает, что я стану этот кинжал облизывать!

Долго еще Карач-мурза уверял Тимура, что Тохтамыш раскаялся чистосердечно и теперь думает только о том, как загладить свои ошибки. Тимур несколько раз повторил, что этому не верит, но потом перестал возражать и под конец сказал:

— Я выслушал письмо хана Тохтамыша и выслушал то, что он мне сейчас сказал твоими устами. Если он говорит правду, то сам же виноват в том, что этой правде трудно поверить. И все, что я тебе сегодня сказал, я велю написать в письме, которое завтра повезет ему мой посол. А ты останешься здесь. Когда сюда подойдут со своими туменами мои сыновья и эмиры, я соберу курултай[1], и мы решим, нужно ли продолжать поход. На курултае ты сможешь говорить еще, а пока довольно об этом. Сегодня, когда стемнеет, приходи со всеми твоими князьями и старшими нукерами — будем пировать и веселиться.

Карач-мурза с низким поклоном поблагодарил Тимура и, чтобы не поворачиваться к нему спиной, начал отступать назад, продолжая кланяться. Но Железный Хромец сделал знак, чтобы он остановился.

— Подожди, оглан, теперь я хочу говорить только с тобой, а не с ханом Тохтамышем в твоем лице, — сказал он. — Я рад тебя видеть, потому что ты не такой, как твой хан. И если бы я шестнадцать лет тому назад мог знать то, что я знаю сегодня, повелителем Великой Орды сейчас был бы ты, а не он.

Карач-мурза молча поклонился. Поглядев на него с усмешкой, Тимур добавил:

— Я уже знаю, что в пути ты хорошо заботился о моей племяннице Хатедже и что она очень довольна этим путешествием. Так довольна, что хотела бы ехать с тобой и дальше, до самых садов Аллаха. Она мне все сказала. А что скажешь ты?

— Если пресветлая ханум Хатедже все тебе сказала, великий эмир, то мне к этому нечего добавить, потому что ее устами говорило и мое сердце. И нам

---

[1] Курултай — верховный совет для рассмотрения особо важных государственных или династических дел.

остается только ожидать твоего милостивого решения.

— Вам не придется его долго ожидать, потому что я знаю тебя и знаю, что Хатедже сделала хороший выбор. До курултая мы успеем отпраздновать вашу свадьбу.

ГЛАВА XVI

«Пили на пирах у Тимур-бека очень много и очень много веселились... До того доходило, что люди падали пьяные и полумертвые, и это там считают большим достоинством, ибо для них нет веселья там, где нет пьяных».

Руис Гонсалес де Клавихо

Празднество в честь ордынского посла было устроено перед шатром Тимура, на просторной площадке, которую кольцом окружали шатры его эмиров и приближенных. На ней в разных местах пылали костры, воины все время поддерживали в них большой огонь, кроме того, когда совсем стемнело, вокруг расставили горящие факелы на высоких подставках.

Железный Хромец сидел отдельно, у своего шатра, на стопке овечьих шкур, покрытой дорогим ковром. За его спиной и по бокам стояло не меньше десятка слуг и приближенных, которые подавали ему кушанья и напитки, а также исполняли различные его поручения. Все остальные участники пиршества — человек двести — расположились по всей поляне на разложенных всюду коврах и подушках, наиболее знатные ближе к Тимуру.

Когда все были в сборе, по знаку распоряжавшегося трапезой эмира появились первые блюда: жареные баранина и конина. Мясо, в больших кусках, было навалено горами на несколько гладко выделанных лошадиных кож, с краями, слегка собранными пропущенным сквозь них вызолоченным ремнем. Эти своеобразные блюда слуги волоком вытащили на середину поляны, взявшись за приделанные к ним гужи.

Сейчас же к ним подступило человек десять резачей, в белых кожаных передниках и в таких же нарукавниках. Длинными ножами они быстро и ловко принялись резать мясо на куски помельче, раскладывая

их в золотые, серебряные и глиняные расписные миски, которые слуги ставили возле них на землю. Двое рабов из больших медных кувшинов поливали уже поделенное жаркое острым и пряным соусом, а двое других поверх этого клали в каждую миску по большой хлебной лепешке. Затем, поставив с десяток наполненных мисок перед Тимуром, прямо на землю, слуги начали разносить остальные гостям. Наиболее знатные из присутствующих получали еду в золотых мисках, те, что были положением пониже, — в серебряных, всем прочим доставались глиняные.

Одновременно с этим, чуть в стороне, другая группа слуг из больших сосудов разливала по золотым и серебряным кубкам вино и кумыс, которые тоже разносились пирующим.

К трапезе приступили в молчании и только после первых выпитых чар тут и там начали завязываться разговоры, сдержанные вначале и все более громкие по мере того, как хмель овладевал людьми. Ели при помощи пальцев, но руки вытирали не об одежду и голенища сапог, как было принято раньше,— пользовались для этой цели белыми полотняными полотенцами, которые слуги раздавали присутствующим.

Едва началось пиршество, Тимур что-то негромко сказал, указав пальцем на самую большую из золотых мисок, стоявших перед ним. Тотчас один из его окружения поднял эту миску и, приблизившись к Карач-мурзе, с поклоном подал ему.

— Это тебе посылает великий эмир, да прославится его имя по всей земле, — сказал он.

Карач-мурза хорошо знал здешние обычаи: это означало, что вместе с едой Тимур дарит ему и самую миску. Съесть тут же хотя бы кусок из ее содержимого считалось верхом неприличия — это надлежало сделать дома. И потому Карач-мурза, низко поклонившись Тимуру, взял миску обеими руками, поцеловал ее край и передал одному из своих нукеров, с приказанием отнести в шатер.

Некоторое время спустя, виночерпий Тимура на круглом золотом блюде подал ордынскому послу драгоценный кубок, наполненный вином. Поблагодарив поклоном царственного хозяина, вино полагалось тут же выпить до капли, что и сделал Карач-мурза, после чего и поднос и кубок тоже перешли в его собственность.

Пиршество, между тем, шло своим чередом. На смену первым блюдам пришли следующие: печеные головы ягнят, отварные лошадиные почки с овощами, рисовый пилав из дичи, копченые конские окорока, жареные колбасы и чебуреки. И, наконец, сладкое: засахаренные фрукты, изюм, орехи, мучные лепешки на меду и многое другое[1].

Тимур ел и пил много, время от времени посылая блюда с едой и кубки с напитками тем своим эмирам и приехавшим с Карач-мурзой татарским князьям, которым он хотел выказать особое благоволение. Еще несколько золотых и серебряных блюд и чарок получил в этот вечер и сам Карач-мурза.

Многие вскоре захмелели. На пиршествах Тимура это не только допускалось, но даже считалось почти обязательным, как знак того, что его угощению отдали должное. И сам он провожал шутливыми замечаниями тех упившихся до бесчувствия своих гостей, которых в конце попойки слуги и воины разносили по шатрам.

Теперь на площади отовсюду слышались раскаты пьяного смеха. Одни забавлялись тем, что перебрасывались кусками мяса и иной еды, которой остались целые горы; другие спорили и галдели, тем более громко, что приходилось перекрикивать грохот бубнов и завывание зурен, ибо Тимур к концу пиршества распорядился вызвать музыкантов; некоторые вскакивали с места и пускались в пляс.

Карач-мурза, встав с подушки, чтобы размять затекшие ноги, молча наблюдал это зрелище, когда вдруг услышал у себя за спиной голос:

— Я вижу, что тебе здесь не очень весело, оглан?

Медленно обернувшись, он увидел стоявшего перед ним коренастого человека средних лет и среднего роста, с хитровато-благодушной улыбкой на очень смуглом и не лишенном приятности лице. Это был эмир Эдигей.

— Почему ты так думаешь, эмир? — спросил он, чувствуя в словах Эдигея скрытый вызов и внутренне принимая его. — Тимур-бек сегодня был очень милостив ко мне.

---

[1] Описание обычаев, существующих при дворе Тимура, его пиров, подававшихся на них кушаний и пр. нам оставил в своем «Дневнике» посол кастильского короля в Самарканде, маркиз Руис Гонсалес де Клавихо.

— Да, я видел, он подарил тебе много золота и серебра. Но разве ты за этим сюда приехал?

— То, зачем я приехал, еще не кончено, эмир. Тимур-бек не сказал своего последнего слова.

— Я могу поставить тысячу коней против одного барана, что это будет не то слово, которое хочет услышать хан Тохтамыш! Тимур умен, и он не отменит похода, особенно теперь, когда своим письмом Тохтамыш сам показал ему свою слабость.

— Тохтамыш не так слаб, как ты думаешь, эмир.

— Может быть, ты и меня начнешь уверять в том, что он теперь и вправду полюбил Тимура и хочет стать ему преданным и покорным сыном? — с усмешкой сказал Эдигей. — Если так, не трудись, оглан: я его слишком хорошо знаю.

— Тохтамыш не хочет войны с Тимуром. Но если его заставят воевать, у него найдутся для этого нужные силы. И хотя ты теперь твердишь Тимуру иное, война будет для него очень трудной, и только Аллах знает, кто выйдет из нее победителем.

— До сих пор Хромец побеждал всех. И совсем не нужно быть Аллахом, чтобы знать, что он победит и Тохтамыша. Ты сел на большую лошадь, которая упадет на половине скачки. Но еще не поздно переменить ее, оглан.

— Благодарение Аллаху, я не принадлежу к тем людям, которые ради выгоды садятся на чужих лошадей и идут на них вытаптывать поля и пастбища своей земли. Тимур, может быть, очень достойный человек и щедрый хозяин, но он враг Орды, а я родился в Орде.

— Врагом Орды его сделал по своей глупости Тохтамыш, которому ты служишь. А я служу Кутлук-Тимуру, который хочет сделать Хромого другом Орды. Разве то, что было белым, когда Тимур помогал Тохтамышу, сделалось черным, когда он стал помогать Кутлуку?

— Тимур свободен делать то, что он хочет, эмир, — он никому не давал никаких клятв. Но ты и я, — мы оба клялись в верности Тохтамышу.

— Аллах! Мы не простые воины, а князья. Ни один умный князь не хочет всю жизнь оставаться бараном в чужом стаде, если даже ему позолотят рога. Баран идет туда, куда его гонят, а человек, рожденный для власти, сам выбирает свой путь.

— Не всякий человек и не всякий путь эмир. Тебе это следовало бы знать лучше, чем другим.

— Почему, оглан?

— Твой почтенный отец, эмир Балтыкчи, — да приблизит его Аллах к своему престолу, — оставался верным великому хану Мелику даже тогда, когда все другие эмиры его покинули. Ты знаешь, что это ему обещало не выгоду, а почти верную смерть, но все же тем, кто его звал на путь измены, он ответил: «Я не хочу уподобляться той собаке, которая, увидев, что на соседнем дворе кормят лучше, начинает кусать своего хозяина». Я тоже не хочу ей уподобляться, эмир. Таких собак у хана Тохтамыша было немало, и мы не жалеем о том, что они разбежались по чужим дворам[1].

— Я это запомню, оглан. Но народная мудрость говорит: тот, кто плюет против ветра, попадает себе в лицо. Запомни и ты: когда Тохтамыша прогонят с его двора, а это будет очень скоро, оттуда придется убегать и всем его верным собакам. Новый хозяин не бросит им и обглоданной кости.

— На все воля Аллаха, эмир. Но засучить рукава — это еще не значит выдоить кобылицу.

* *
*

Две следующие недели прошли в лагере Тимура в праздности и пирах. Железный Хромец почти каждый день приглашал к себе Карач-мурзу, осыпал его знаками внимания, но о деле, которое привело его сюда, не говорил ни слова.

В один из этих дней справили и свадьбу Карач-мурзы, которую Тимур распорядился отпраздновать с необыкновенной пышностью. Хатедже он подарил по этому случаю дворец в одном из так понравившихся ей садов Самарканда и целую шкатулку драгоценностей, а Карач-мурзе — пару великолепных арабских коней с седлами, изукрашенными золотом и слоновой костью, и персидскую саблю с ножнами, почти сплошь усыпанными сапфирами. Весь путь новобрачных от Кара-Са-

[1] Ибн-Арабшах повествует, что перед казнью, в виде последней милости эмир Балтыкчи попросил положить его тело на дно могилы, приготовленной для убитого хана Мелика. «Если я, защищая своего повелителя, не умер раньше его, то хоть в землю хочу лечь раньше», — сказал он.

манской мечети до их шатра был выстлан коврами; на этом пути их девять раз обсыпали золотыми монетами, которые потом были собраны и поделены между нукерами Карач-мурзы[1].

Тем временем к Кара-Саману постепенно подходили войска Тимура, на много верст вокруг заполняя весенне-зеленую степь бесчисленными шатрами, кибитками, десятками тысяч выпущенных на пастбище лошадей и отарами овец, которых гнали с собой для пропитания войска. Если бы кто-нибудь вздумал обскакать на коне вокруг этого огромного стойбища, ему не хватило бы дня.

Наконец, все были в сборе, и на двадцать первое февраля Тимур созвал курултай. В нем приняли участие сыновья Тимура, Миран-Шах и Омар-Шейх, его внук Мухаммед-Султан, царевичи Кутлук-Тимур и Кунче-оглан, тоже перебежавший от Тохтамыша, Эдигей и более тридцати других эмиров.

Курултай закончился в один день. Как и хотел Тимур, — а вернее, именно потому, что он так хотел, и другие это знали, — все собравшиеся высказались за то, чтобы продолжать поход.

ГЛАВА XVII

> «И тогда повелитель обратил свой высокий взор на земли Дешт-и-Кыпчак[2], принадлежавшие Тохтамыш-хану, который по бесстыдству своему забыл оказанные ему милости и вынул голову из ярма покорности, а шею из ошейника повиновения мирозавоевателю. И великий эмир признал за правильное сделать сверкающий меч посредником между собой и Тохтамышем».
>
> *Гийас ад-Дин Али*

Два дня спустя, по приказу Тимура, все его огромное войско снялось со стойбища и вдоль берега Сырдарьи двинулось к городу Яссы. Первым выступил передовой отряд в составе четырех туменов. За ним, на

[1] Девять у среднеазиатских народов считается счастливым числом. У мусульман, как и у христиан, принято новобрачных осыпать пшеницей, рисом, конфетами или деньгами.

[2] Дешт-и-Кыпчак — половецкие степи.

расстоянии одного дневного перехода шли все остальные, рассыпавшись лавиной на несколько десятков верст в ширину, чтобы лошади по пути были обеспечены пастбищами.

При войске Тимура находился и Карач-мурза со своими нукерами. Железный Хромец был кровно заинтересован в том, чтобы Тохтамыш как можно позже узнал о его походе, а потому, когда Карач-мурза, считая свою миссию законченной, хотел покинуть ставку Тимура, ему не позволили это сделать.

— Ты спешишь возвратиться в Орду? — сказал Тимур. — Зачем же тебе ехать другой дорогой? Я иду туда самым коротким путем. И если хочешь скоро увидеть Тохтамыша, тебе следует идти вместе со мной: я сам спешу с ним поскорее встретиться.

— Со мною жена, — попробовал настаивать Карач-мурза, думая, что Тимур не захочет подвергать свою племянницу невзгодам и опасностям военного похода. — И если я ее теперь оставлю в Самарканде, а у тебя, великий эмир, будет длительная война с ханом Тохтамышем, — один Аллах знает, когда она сможет ко мне приехать!

— Я понимаю, что тебе не хочется расставаться с женой через две недели после свадьбы, — усмехнулся Тимур. — Но Хатедже может оставаться при тебе, в походе. Меня тоже будет сопровождать одна из моих жен, Чулпан-ака. Им будет веселее вместе.

Таким образом, несмотря на то, что Тимур по-прежнему относился милостиво к Карач-мурзе, последний, по существу, оказался на положении почетного пленника. Было совершенно очевидно, что, как с него самого, так и со всех его людей приказано не спускать глаз, чтобы ни один из них не мог тайно покинуть ставку Тимура и предупредить Тохтамыша о надвигающейся грозной опасности.

А вместе с тем это необходимо было сделать и, притом, как можно скорее. Но как? — ломал себе голову Карач-мурза. Попробовать ночью устроить побег одному из своих нукеров? Или подкупить кого-нибудь из воинов Тимура? Пока он раздумывал над этим, судьба неожиданно пришла ему на помощь.

Поздно вечером, накануне выступления из Кара-Самана, один из его приближенных доложил, что два каких-то неизвестных человека хотят говорить с ним

по важному делу. Карач-мурза тотчас приказал ввести их в свой шатер.

— Кто вы такие и что вам нужно? — окидывая взглядом пришедших, спросил он, когда они, отвесив ему положенные поклоны, подняли головы. Оба были людьми средних лет и не казались простыми воинами.

— Мы — татары и нукеры эмира Идику, пресветлый оглан, — ответил один из них. — И, наверное, в наказание за наши грехи Аллах отнял у нас разум в тот день, когда мы согласились вместе с эмиром бежать к Тимур-беку. Два года уже мы томимся здесь, среди чужих людей, но мысли наши и сердца всегда в Орде, где оставили мы свои семьи, оглан.

— Чего же вы от меня хотите?

— Завтра войско Тимур-бека выступает в поход на Орду, но мы не хотим идти в этот поход, потому что нам тогда не будет прощения от великого хана, пресветлый оглан, а мы хотим возвратиться к своим семьям. И мы пришли просить тебя, милостивый оглан: ты теперь поедешь прямо в Орду, позволь же и нам ехать с тобою, чтобы под твоим высоким покровительством получить прощение от великого хана!

— Эмир Идику вас отпускает? — с удивлением спросил Карач-мурза.

— Он не отпускает нас, пресветлый оглан, но мы решили убежать от него. Сегодня ночью мы спрячемся, — у нас уже приготовлено для этого надежное место, оглан. Завтра войско Тимура отсюда уйдет, тогда мы выйдем из своего убежища и присоединимся к тебе. А если ты тоже завтра уйдешь, мы тебя догоним, пресветлый оглан.

— Слушайте меня, — сказал Карач-мурза после короткого раздумья. — Аллах вам посылает случай не только получить прощение, но и заслужить милость великого хана и щедрую награду. Я теперь не могу возвратиться в Орду: и меня и всех моих людей Тимур-бек приказал задержать, чтобы никто из нас не мог предупредить великого хана Тохтамыша об этом походе. А предупредить его надо, и это можете сделать вы.

— Да прославится имя Аллаха по всей земле! Приказывай, светлейший оглан, что мы должны сделать.

— Сейчас вы спрячетесь в вашем убежище и выйдете из него только завтра ночью, когда здесь уже никого не будет. Я вам дам денег, чтобы вы тут же, в Кара-Самане, купили себе самых быстрых коней и по-

том покупали в дороге новых, когда старые будут падать от усталости. Скачите дни и ночи, и чем скорее вы будете в Сарае, тем выше будет та награда, которая вас ждет. Великому хану расскажите все, что вы знаете о войске Тимура и о том, что он идет вниз по реке Сейхун[1] в Тургайскую долину и потом, наверное, к Джаику. Скажите ему также, что я задержан. Я ему ничего не буду писать, потому что если вас схватят с моим письмом, все пропало. Но, чтобы великий хан знал, что вы посланы мной, покажите ему это кольцо, — добавил Карач-мурза, снимая с пальца золотой перстень с большим изумрудом, подаренный ему Тохтамышем.

— Поняли все?

—Поняли, пресветлый оглан! Да пошлет тебе Аллах сто лет счастливой жизни за то, что ты даешь нам такой случай заслужить прощение великого хана и его милость. Мы все сделаем, как ты приказал, сиятельный оглан, клянемся тебе!

* *
*

От крепости Яссы войско повернуло на север, и миновав города Карачук и Сауран, краем пустыни Бет-Пак-Дала[2] двинулось к реке Сары-Су, на берега которой вышло в начале апреля. Тут необозримые пространства степи были покрыты высокой, сочной травой, и потому Тимур приказал сделать остановку на несколько дней, чтобы дать подкормиться и отдохнуть лошадям, которые были измучены четырехнедельным переходом по местности почти безводной и лишенной даже в это время года хороших пастбищ.

Отдохнув, тронулись дальше и к концу апреля дошли до возвышенной местности Улуг-Даге[3], где Тимур снова приказал сделать короткую остановку. Тут, на вершине невысокой горы Алтын-Чуку, возвышавшейся над беспредельной степью, он распорядился сложить из камней высокий памятник, на котором повелел высечь по-арабски и по-тюркски надпись, гласившую, что

---

[1] Сейхун — арабское и тюркское название реки Сырдарьи. Это последнее название персидского происхождения.

[2] Бет-Пак-Дала — Голодная степь.

[3] Возле нынешнего города Карсакпай, в центральном Казахстане.

двадцать третьего дня месяца джумади 793 года[1] здесь останавливался гурхан Тимур-бек, великий эмир и султан Турана, идущий с двухсоттысячным войском в поход на Тохтамыш-хана[4].

Все это время Карач-мурза внимательно присматривался ко всему, что его окружало, а особенно к устройству войска Тимура и к установленным в нем порядкам.

Основа воинской организации была здесь та же, что и у Чингиз-хана, но Тимур, умудренный практикой своих многочисленных походов, а также природным талантом, значительно ее усовершенствовал. Войско у него тоже делилось на тумены, тысячи, сотни и десятки, но комплектовалось оно иначе. Чингиз-хан, а после него и все великие ханы татарской Орды, когда им нужно было увеличить численность своих вооруженных сил вдобавок к туменам постоянного состава, формировали новые, пользуясь для этого более или менее случайным человеческим материалом. Совершенно естественно, что такие тумены, по своим боевым качествам, всегда были слабее «кадровых». У Тимура же тумены в мирное время имели состав, сокращенный почти наполовину, а когда объявлялся поход, они быстро пополнялись до нормальной численности в десять тысяч человек сбором ополчений, причем каждый тумен — из определенного округа, к которому он был приписан.

Для такого сбора в каждый округ посылался таваджи — особый чиновник, наделенный почти неограниченными полномочиями и обязанный, не считаясь ни с кем и ни с чем, привести к определенному сроку указанное ему количество людей. И он их приводил, ибо в противном случае расплачивался своей головой.

К своим войнам Тимур готовился тщательно, стараясь предусмотреть все и обеспечить войско всем необходимым. Нынешний поход он рассчитал на год, и каждому воину было приказано иметь при выступлении лук, колчан с тридцатью стрелами, щит, саблю или копье, четыре овцы, мешок высушенных хлебных лепешек и запас других продуктов. На каждых двоих — пеших или конных, полагалась одна вьючная лошадь, а на каждый десяток — складной шатер, две лопаты, кир-

---

[1] По христианскому календарю — 28 апреля 1391 года.

[2] Каменную плиту с этой надписью недавно нашли в этом месте археологи.

ка, топор, пила, серп, шило, сто иголок, вязка веревок, котел, бурдюк и одна выделанная лошадиная кожа[1].

В начале похода шли обычно широкой лавиной, захватывая обширную полосу пастбищ. Но вблизи неприятеля каждый тумен двигался колонной в сто рядов по сто воинов в каждом, на таких интервалах, чтобы всадник, не тесня соседей, свободно мог повернуться на месте в любом направлении. Такой строй тумена, занимая приблизительно тысячу шагов по фронту и столько же в глубину, был чрезвычайно удобен для мгновенных поворотов и перестроений в какую угодно сторону. На походе и в сражении каждый начальник, начиная с тысячника, обязан был иметь при себе особый, только ему присвоенный треугольный флажок, по которому его могли издали опознать не только подчиненные, но и гонцы, прибывающие с приказаниями.

Передовой отряд Тимура всегда бывал достаточно великим, чтобы выдержать столкновение даже с крупными силами противника и удержаться до подхода главных сил. Впереди него шел сторожевой отряд, так называемый «караул». Кроме того, когда обстановка этого требовала, вперед и в стороны высылались разведывательные отряды — «хабаргари», составлявшиеся из особо храбрых и ловких воинов[2].

Когда останавливались на отдых или на ночлег в таком месте, где можно было ожидать нападения, с угрожаемой стороны сейчас же окапывались рвом и окружали лагерь плетеными щитами, которые всегда возили в достаточном количестве при войске. Если местность и подручные материалы позволяли, то укреплялись и более основательно. Такой стан назывался «курен»[3]. В нем запрещалось ночью зажигать огни, шуметь и громко разговаривать. Спали с оружием, положенным рядом, не расседлывая коней. Спереди, у рва, располагались пешие воины, готовые в любую минуту отразить ночное нападение.

---

[1] Эти сведени дает среднеазиатский историк XV века Абд-ар-Резак Самарканди.

[2] «Хабр» — по-тюркски «новость». «Хабаргари» — «приносители новостей».

[3] От этого монгольского слова — «курень» у запорожских казаков. Таково же происхождение запорожского «коша»: у монголов отряд назывался «кош-ун». Кстати, и слово «казак» татарского происхождения: казаками, точнее «казахами», у Чингиз-хана назывались отряды особо подвижной конницы.

По отношению к своему войску Тимур проявлял гораздо больше заботы и щедрости, чем другие полководцы его времени. Нередко он, чтобы воины лучше сражались, одаривал их даже перед битвой, а не после одержанной победы, как было в то время принято. Подчиненные перед ним трепетали, но вместе с тем были к нему искренне привержены и, несмотря на суровую дисциплину, измена военачальников, подкуп или перебежки к врагу были в его войске явлениями чрезвычайно редкими.

Наблюдая и постепенно знакомясь со всем этим, Карач-мурза с каждым днем все яснее видел, насколько Тимур за последние годы усовершенствовал организацию своего войска, далеко опередив в этом татарскую орду.

И он с грустью думал о том, что в предстоящем столкновении только исключительная милость Аллаха могла бы принести победу хану Тохтамышу.

ГЛАВА XVIII

> «И когда побежало войско Тохтамыш-хана, спереди у него оказалась река Итиль, а сзади губительный меч. С великим трудом самому хану и немногим воинам его удалось спасти себя из этого смута бедствий».
>
> *Шереф ад-Дин Али Иезди, персидский историк XV века*

Вскоре войско вступило в изобилующую водой и хорошими пастбищами Тургайскую долину и шестого мая остановилось на новый отдых между реками Джиланчик и Каратургай, в степи, покрытой сочными травами.

Здесь Тимур приказал произвести проверку оставшихся запасов, и оказалось, что они весьма скудны. Овец было совсем мало, мука почти кончилась, и дневное пропитание каждого воина пришлось ограничить миской ячменной похлебки. Но идти предстояло еще далеко. Чтобы не ослабить войско голодовкой, надо было как-то пополнить запасы продовольствия, и Тимур повелел устроить большую охоту.

Несколько туменов конницы, охватив огромные пространства изобилующей дичью девственной степи, два

дня сжимали кольцо, сгоняя всех захваченных облавой животных к его центру. Добыча превзошла все ожидания: было убито много тысяч оленей и несметное количество диких коз, зайцев и другой живности. Мясо было частью съедено тут же, а частью порезано на тонкие ломти и высушено на солнце, после чего войско двинулось дальше.

Когда оставалось несколько переходов до реки Тобола, Тимур выслал вперед большой отряд под начальством своего внука Мухаммед-Султана, так как приходили слухи о том, что орда Тохтамыша находится где-то поблизости. Но Мухаммед-Султан, перейдя Тобол, противника там не обнаружил. Тем временем сюда подошли главные силы, и началась общая переправа. Она проходила быстро и споро. Связывая вместе по несколько надутых воздухом бурдюков, на них складывали вещи и оружие, после чего человек десять пеших воинов, держась за такой своеобразный плот, толкали его к противоположному берегу; конные переплывали реку сидя верхом или ухватившись за гриву лошади; переносные щиты-плетни, связанные пачками, тоже были превращены в плавучие средства.

Очутившись за Тоболом, Железный Хромец выслал во все стороны разведывательные отряды, и вскоре они обнаружили, что войско Тохтамыша стоит за рекой Джаиком, возле городка Крык-Кули[1]. Тогда Тимур быстро двинулся вперед, но не к тому месту, где ожидал его Тохтамыш, а севернее, с расчетом перейти Джаик гораздо выше и, обойдя противника, обрушиться на него с тыла.

* * *

Только в конце марта, от прибывших в Сарай нукеров Эдигея, Тохтамыш узнал о приближении врага и о численности его войска. По словам татарского «языка», захваченного разведчиками Тимура, при этом известии «у великого хана огонь загорелся в душе и дым пошел из головы, и он сказал: я соберу вдвое больше воинов и с ними встречу Тимура на Джаике».

Разослав гонцов ко всем улусным ханам и правителям областей с приказанием немедленно собрать по-

---

[1] Недалеко от нынешнего Магнитогорска.

больше людей и вести их прямо на Джаик, сам Тохтамыш со всеми наличными силами тоже направился туда и, найдя удобную позицию возле Крык-Кули, решил именно здесь дать генеральное сражение, рассчитывая напасть на Тимура во время его переправы через реку.

Но Железный Хромец перехитрил хана и, переправившись выше, стал заходить в тыл татарам. Это вынудило Тохтамыша поспешно отступить от Крык-Кули. Два дня спустя сюда подошло войско Тимура и стало лагерем на том самом месте, где стояла орда. Не зная об этой перемене, в тот же вечер сюда явился с собранным под Азаком[1] пополнением сын Мамая, который служил у Тохтамыша темником. Уверенный в том, что в Крык-Кули стоят татары, он беспечно подошел вплотную к неприятельскому стану и вместе со всеми своими людьми попал в плен. Такая же участь постигла и многие другие запоздавшие пополнения Тохтамыша, которым было приказано идти именно сюда.

Но даже и без них, по сведениям среднеазиатских историков, у Тохтамыша войска было не меньше, чем у Тимура. Однако зная, что после пятимесячного похода противник терпит острый недостаток во всем, Тохтамыш, прежде чем дать решительное сражение, хотел теперь окончательно вымотать его силы и, не принимая боя, отходил на запад.

Железный Хромец, уяснив себе тактику великого хана, был не на шутку встревожен. Войско его, действительно, голодало, и боеспособность его уменьшалась с каждым днем. Нужно было как можно скорее догнать противника и заставить его сражаться.

Больше недели он гнался за Тохтамышем, совершая дневные переходы по сорок — пятьдесят верст, но татары были неуловимы. Тогда Тимур выслал вперед своего сына Омар-Шейха с четырьмя туменами лучшей конницы, приказав ему нагнать Тохтамыша во что бы то ни стало и завязать с ним битву.

Омар-Шейх настиг орду на реке Кундурче, возле самой Волги, и тревожа ее беспрерывными нападениями сзади, больше от нее не отрывался. Тохтамышу ничего не оставалось, как остановиться и приготовиться к битве. Наскоро выбранная им позиция, недалеко от Самарской дуги, была неудачна: в случае пораже-

[1] Азак — Азов.

ния войско его легко могло оказаться прижатым к Волге, которая находилась в нескольких верстах за его спиной.

Сражение произошло восемнадцатого июня. Тут стоит сказать несколько слов об особенностях боевого построения противников. Тохтамыш был посредственным полководцем и любил воевать по старинке: как велось в Орде еще со времен Чингиз-хана, он строил свой план на обходе неприятеля с двух сторон и потому сосредоточил большие силы на своих флангах. Но Тимур не сомневался в том, что Тохтамыш будет действовать именно так, и в своем построении применил новшество, позволяющее думать, что ему были хорошо известны обстоятельства Куликовской битвы, уроком которой он теперь воспользовался. Разделив свое войско на семь частей, он расположил его так же, как это сделал Дмитрий Донской в сражении с Мамаем, с той лишь разницей, что Дмитрий, правое крыло войска которого было надежно защищено речкой, поставил засадный полк за своим левым флангом, а Тимур поставил такие полки с обеих сторон.

Следует также отметить, что в старину, начиная сражение, резервов обычно не оставляли, наоборот, стремились все наличные силы бросить в бой сразу, чтобы подавить противника своей массой. И Дмитрий Донской был едва ли не первым полководцем, решившимся этот порядок нарушить в больших пределах: он выделил в резерв целую треть своего войска, что и принесло ему победу. Но, повторяя его опыт. Тимур все же не решился сделать этого в полном объеме — он ограничился резервом гораздо меньшей численности, и это едва не привело его к поражению.

В разыгравшейся битве почти до самого конца перевес был на стороне Тохтамыша. Его центр стойко выдержал удар неприятеля и даже начал теснить его. Вскоре Тимур получил донесения, что татары обошли оба его фланга и заходят в тыл. Железный Хромец приказал немедленно бросить в бой резервы, страховавшие оба крыла его войска, но они оказались недостаточно мощными, чтобы отбросить татар, и лишь с трудом сдерживали их натиск.

Вскоре положение Тимура сделалось критическим: фланги его начали отходить, оторвавшись от центра. Татары явно одолевали, и их победа казалась несом-

ненной. Но тут, по преданию[1], произошло следующее: некий находившийся при Тимуре сейид[2], в тот миг, когда вокруг началось уже полное замешательство, готовое перейти в бегство, громовым голосом стал кричать: «Ягы кочды! Ягы кочды!»[3]. Крик этот сейчас же подхватил Тимур, а за ним его приближенные и войско.

На мгновение татары растерялись никто из них не бежал, — наоборот, они всюду теснили неприятеля. Но на каждом участке сражения, услышав этот крик, подумали, не бегут ли другие? Произошла заминка, которой воспользовались ободренные воины Тимура: они с яростью бросились на врага, и орда была обращена в бегство.

Однако нет сомнения в том, что не только этому находчивому сейиду Железный Хромец был обязан своей победой: арабский историк Ибн-Халдун пишет, что в решающий момент Тохтамышу изменило несколько его темников, заранее подкупленных Тимуром. Может быть, крик «ягы кочды!» послужил для них условным сигналом, по которому они должны были обратиться в бегство, увлекая за собой других. Сам Тохтамыш свое поражение тоже объяснил изменой некоторых военачальников, во главе с царевичем Бекбулатом[4].

В сражении Тохтамыш потерял сравнительно немного людей, но гораздо худшее ожидало его впереди: не давая татарам опомниться, Тимур бросил всю свою конницу в преследование и, искусно прижав орду к берегу Волги, подверг ее полному разгрому. Согласно восточным хроникам, в этот день полегло более ста тысяч татар — на протяжении сорока верст земля была усеяна их трупами. Сам Тохтамыш едва избежал плена.

Но войска Тимура тоже понесли огромные потери, а потому он не рискнул двинуться вглубь Орды, чтобы окончательно добить своего врага. Около месяца он простоял на Волге, приводя в порядок свои поредевшие тумены и грабя окрестные земли, после чего тем же путем возвратился в Самарканд.

В руки победителей попала богатейшая добыча:

---

[1] Случай этот описан арабским историком Ибн-Арабшахом.

[2] Сейид — титул, который носили потомки пророка Магомета.

[3] «Ягы кочды» — неприятель бежит.

[4] Это видно из сохранившегося письма Тохтамыша к королю Ягайле.

каждому из воинов Тимура досталось по двадцать лошадей, а овец захватили столько, что едва смогли их с собой угнать; тысячи телег были завалены награбленным имуществом, а о количестве уведенных пленных можно судить по тому, что из их числа только лишь для Тимура было отобрано пять тысяч красивейших девушек и юношей.

* *
*

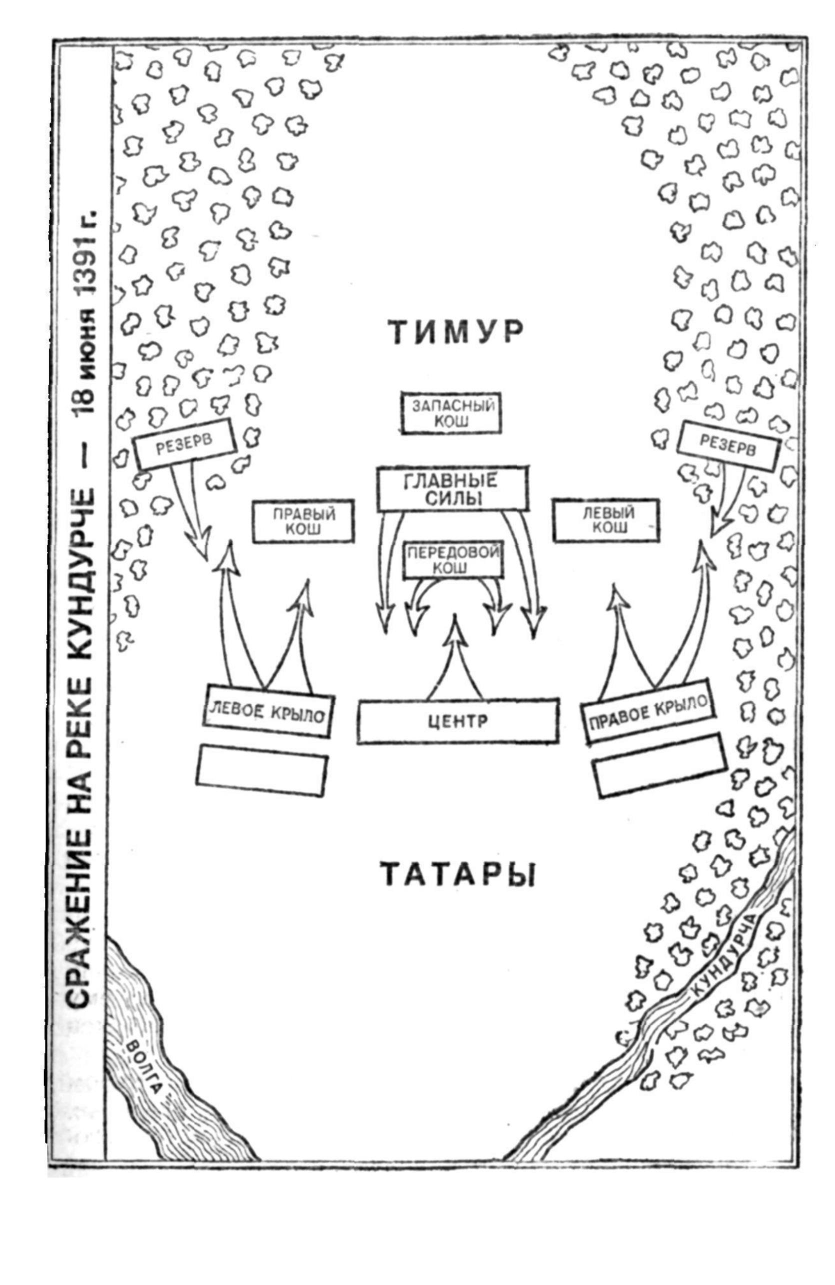
Тимур, который вел беспрерывные войны, постоянно нуждался в громадном войске и потому теперь, понеся значительные потери, он был весьма озабочен их пополнением. Сразу же после битвы на Кундурче он разослал в подвластные ему земли таваджиев с приказом немедленно собирать людей.

Таким положением не преминули воспользоваться находившиеся у него на службе белоордынские царевичи Кутлук-Тимур и Кунче-оглан, а также эмир Эдигей: они стали просить позволения отправиться в свои улусы, чтобы собрать там и привести к Тимуру столь нужные ему пополнения. И Железный Хромец, которому все они уже оказали немало услуг, завоевав этим его доверие, отпустил их.

Однако на уме у них было совсем иное: страшное поражение, понесенное Тохтамышем, как им казалось, коренным образом меняло обстановку в Орде и открывало возможность захвата власти Кутлук-Тимуром. И потому, возвратившись в свои улусы, они принялись действовать именно в этом направлении, нимало не заботясь об интересах Тимура. Последний вскоре понял допущенную им ошибку и попытался вернуть Эдигея, вызвав его якобы для участия в каком-то военном совещании. Но присланному гонцу Эдигей ответил, что служить великому эмиру он больше не может, так как, возвратившись в свой улус, застал подвластное ему племя мангитов[1] в полном упадке и теперь должен о нем позаботиться.

После одержанной победы был отпущен Тимуром и Карач-мурза. Он отправился прямо в Сарай-Берке, но Тохтамыша там не было, и никто не мог сказать

[1] Из племени мангитов вскоре образовалась самостоятельная Ногайская Орда, которой правили потомки Эдигея.


СРАЖЕНИЕ НА РЕКЕ КУНДУРЧЕ — 18 июня 1391 г.
ТИМУР
ЗАПАСНЫЙ КОШ
ГЛАВНЫЕ СИЛЫ
РЕЗЕРВ
ПРАВЫЙ КОШ
ПЕРЕДОВОЙ КОШ
ЛЕВЫЙ КОШ
РЕЗЕРВ
ЛЕВОЕ КРЫЛО
ЦЕНТР
ПРАВОЕ КРЫЛО
ТАТАРЫ
ВОЛГА
КУНДУРЧА

ему, где находится великий хан, который после поражения на Кундурче в свою столицу не возвращался. Среди множества ходивших слухов самым правдоподобным казалось то, что он ушел с остатками своего войска в Мангышлакский улус, где сейчас собирает ополчения.

В Сарае ожидало Карач-мурзу и еще одно тяжелое известие: два месяца тому назад скоропостижно скончалась его жена Наир.

ГЛАВА XIX

«И приидe тогда некий царь именем Темир-Аксак от Самарханския земли и велику брань и мятеж сотвори в Орде... И прогна царя Тахтамыша, и отголе восхоте ити на Русскую землю, к Москве».

Повесть о Темир-Аксаке, неизвестного автора начала XV века

Поражение на реке Кундурче было для Тохтамыша очень тяжелым ударом, однако полным крушением оно все же не являлось: он не лишился ни престола, ни независимости, а для продолжения борьбы у него еще оставалось достаточно материальных и людских резервов. И было нечто еще более важное: сочувствие низового народа, которому он, после длительного периода внутренних войн, ханских усобиц и разрухи, принес твердую власть и порядок. Всем было очевидно, что с падением Тохтамыша в Орде снова начнутся смуты, а потому люди шли к нему охотней, чем к другим претендентам на власть, и войско его быстро пополнялось.

Теперь Тохтамышу нужно было, прежде всего, укрепить свое положение в Орде и восстановить в ней единство власти. Во время его отсутствия царевич Бекбулат[1], изменивший ему в сражении с Тимуром, захватил Сарай и объявил себя великим ханом. Осенью того же года Тохтамыш с войском подступил сюда и овладел столицей, но Бекбулат, с частью своих людей, успел уйти в Крым. Чтобы не дать ему там окрепнуть, Тохтамыш стал его преследовать.

Тем временем Тимур приказал развернуть свой ша-

[1] Некоторые восточные историки называют его Булат-огланом.

тер выходом в сторону Дербента, где стояло татарское войско: это означало, что он объявляет поход против Орды.

Узнав об этом, Тохтамыш приказал отходить к реке Тереку, где рассчитывал дать генеральное сражение в наиболее выгодных для себя условиях. Вслед за ним Тимур, с огромным войском, прошел через Дербентские ворота, по пути безжалостно истребляя горские племена, оказавшие какую-либо помощь Тохтамышу.

У города Тарха произошла встреча передовых отрядов, и татары были отброшены за Терек. К середине апреля оба войска, укрепив свои лагери рвами и плетеными щитами-«чапарами», стояли в полной боевой готовности, разделенные только рекой.

Несколько раз Тимур пытался начать переправу, но татары его отбрасывали. Сам Тохтамыш, наученный горьким опытом на Кундурче, переходить реку не хотел, боясь оставлять ее за своей спиной. Наконец, Тимур совершил ночью переправу, обманув бдительность противника, и к рассвету выстроил свое войско в боевой порядок. Изготовился к битве и Тохтамыш.

Как планы сражения, так и расстановка действующих сил были у противников и здесь почти те же, что в битве на Кундурче: Тохтамыш рассчитывал на обход и сокрушение флангов Тимура, а последний снова расположил свое войско по примеру Дмитрия Донского, но на этот раз значительно усилил резервы, поставленные за флангами.

Весь день пятнадцатого апреля оба войска простояли в полной готовности, не начиная сражения. Ночью Тохтамыш выслал сильные отряды в обход противника, намереваясь, в случае удачи, внезапно атаковать его с тыла. Но эта попытка успеха не имела: татары были вовремя замечены и отбиты.

Наутро началось сражение. Тохтамыш за ночь сосредоточил подавляющие силы против левого крыла Тимура и теперь бросил их в битву, но предварительно атаковал его правое крыло, чтобы отвлечь туда внимание и резервы противника.

Тимур очень скоро разгадал эту хитрость и, поняв, что исход сражения будет решаться именно на левом фланге, быстро усилил его двумя туменами, переброшенными из центра, ввел в дело резерв и после упорного боя отбросил на этом участке татар. Но тут Тохтамыш удачно применил уловку, на которую очень ча-

сто пускались ордынцы: они побежали с поля вглубь своей обороны, увлекая за собой преследователей, а когда последние зарвались, окружили их и перерубили почти всех.

Теперь над левым крылом войска Тимура нависла серьезная угроза: резервов с этой стороны больше не было, а татары бросали сюда все новые силы. Спас положение стоявший тут отряд тимуровой пехоты, который, огородившись чапарами, стойко выдерживал натиск врага, посылая в него тучи стрел, пока сюда не подоспели подкрепления, которым удалось оттеснить ордынцев.

Бой продолжался на следующий день. За ночь в войске Тимура значительно усилили левое крыло и теперь с этой стороны держались стойко, хотя и не продвигались вперед. Но татары в это время обошли их правый фланг и ударили с тыла. Однако у Тимура с этой стороны стоял еще не использованный резерв. Пустив его в дело, он не только выправил положение, но и смял левое крыло орды.

Само по себе это обстоятельство еще не означало, что татары проиграли сражение. Но в это самое время на их правом фланге, который до сих пор стоял твердо и теснил врага, произошло нечто непредвиденное и гораздо худшее: тут повздорили между собой и оскорбили друг друга два крупных военачальника. Один из них потребовал у Тохтамыша, чтобы тот немедленно выдал ему противника на расправу, а когда хан ответил, что сейчас, в разгаре боя, не время разбираться в этом деле, оскорбленный эмир, не сказав больше ни слова, ускакал к своему тумену и увел его с поля сражения. Этим немедленно воспользовался Тимур, бросив в образовавшийся прорыв несколько туменов своей конницы, и татары обратились в беспорядочное бегство.

Разгром был полный. Сам Тохтамыш с небольшой частью войска, сохранившей дисциплину и преданность своему хану, с трудом спасся от погони и ушел на Волгу.

Но на этот раз Тимур твердо решил доконать врага. Он тут же, на Тереке, где ему досталось все имущество бежавшей орды, щедро одарил своих военачальников и рядовых бойцов, а затем двинулся по следам Тохтамыша, опустошая все на своем пути.

Выйдя на Волгу, он взял приступом и разграбил

Хаджи-Тархань, а потом по правому берегу пошел вверх и подступил к городу Укеку, где, по слухам, находился Тохтамыш. Однако последний, с небольшим количеством приближенных и нукеров, успел переправиться на левый берег и ушел к волжским болгарам. Разграбив Укек, Тимур двинулся дальше, вторгся в болгарские земли, опустошил тут города Керменчук и Жукотин, а Великий Булгар приказал просто стереть с лица земли за то, что здесь дали временное прибежище Тохтамышу, который теперь бежал куда-то дальше, в леса. Летописец отмечает, что в Булгаре было в эту пору более десяти тысяч домов. Тимур же «сей град великий обратил в ничто, и осталось ныне лишь одно имя его.»

Из Болгарии, переправившись на левый берег Волги, Тимур пошел на Сарай-Берке, разграбил его начисто и посадил на ханский престол белоордынского царевича Куюрчука[1], который служил у него темником. Приказав Куюрчуку собрать войско и навести на Волге порядок, Тимур двинулся на юг, в Крым и в низовья Днепра. Но Куюрчук обеспечить порядка не смог, так как силы его были ничтожны, и потому, едва лишь ушел Тимур, некий царевич Таш-Тимур тоже объявил себя великим ханом. На Волге началась новая усобица и смута.

Железный Хромец тем временем разгромил и ограбил все южные улусы Орды, вторгся в Крым, где власть после поражения Тохтамыша захватили генуэзцы, обложил их столицу Каффу[2] и взял ее после двухнедельной осады. Всех жителей христиан он распорядился увести в рабство, а непригодных перебить, мусульман отпустил на свободу, а самый город приказал разрушить. Затем по реке Дону пошел на север и вступил в пределы Рязанского княжества.

Первым русским городом на его пути был Елец. Он оказал сопротивление, но Тимур взял его без особого труда, Елецкого князя приказал убить, город разграбил, а большую часть жителей увел в рабство. После этого, через Рязанские земли двинулся на Москву, но дойдя до Оки, двадцать шестого августа повернул обратно и ушел на юг.

---

[1] Куюрчук-оглан был младшим сыном Урус-хана.
[2] Каффа — нынешняя Феодосия.

Восточные историки объясняют это неожиданное событие тем, что Тимур увидел плохой сон и усмотрел в нем дурное предзнаменование, а русские летописцы — чудом, которое совершилось потому, что готовя Москву к осаде, в нее перенесли из Владимира величайшую православную святыню — чудотворную икону Божьей Матери, по преданию написанную самим евангелистом Лукой. Исторические же факты таковы: великий князь Московский Василий Дмитриевич, хорошо осведомленный о всех передвижениях Тимура и о том разгроме, который он учинил в Ордынских землях, имел достаточно времени, чтобы приготовиться ко всяким неожиданностям. Он собрал большое войско, с которым встал на московских рубежах, по реке Оке, как это всегда делал при приближении татар его великий отец, Дмитрий Донской.

Подойдя сюда и увидев за рекой огромный стан русских — недавних победителей орды Мамая, Тимур вступить в сражение не отважился и, простояв тут около двух недель, счел за лучшее уйти, тем более, что ограбив всю Орду, он был обременен таким количеством добычи, сверх которого едва ли мог многое увезти, а дальнейшая неудача на Руси ставила под угрозу все то, что уже было добыто.

Выйдя из русских земель, Хромец направился к городу Азаку, разграбил его, но всех жителей мусульман пощадил, христиан же приказал перебить, а дома их сжечь.

Отсюда он двинулся на Северный Кавказ, в земли косогов[1], где уже свирепствовал со своим отрядом его сын Мираншах. За то, что косоги помогли Тохтамышу и при приближении войска Тимура выжгли свои пастбища, весь этот край был теперь опустошен, а все его население, попавшее в руки завоевателей, беспощадно истреблено. Спастись удалось лишь немногим, успевшим укрыться в диких горах и в гуще лесов.

Покончив с косогами, Тимур перешел в Дагестан, племена которого тоже сочувствовали и помогали Тохтамышу, и тут расправился с еще большей жестокостью. Все главные города и крепости Дагестана были взяты и разрушены, причем воины Тимура проявляли подлинные чудеса ловкости и отваги, перебираясь по веревкам через пропасти и с помощью приставных

---

[1] Косоги — черкесы.

лестниц и шестов штурмуя неприступные горные гнезда дагестанцев.

Пока Тимур был занят всем этим, в Орде ширились смуты. Поставленного им хана Куюрчука за пределами Сарая никто не признавал, всем другим его наместникам, оставленным в крупных городах, ордынцы также оказывали открытое неповиновение. Узнав об этом, Железный Хромец пришел в ярость и, покинув Кавказ, снова двинулся на Волгу.

Он и на этот раз начал с Хаджи-Тархани, но теперь вывез из нее все, что имело какую-нибудь ценность, жителей приказал перебить, а город разрушить до основания. Это было исполнено настолько добросовестно, что татары и не пытались потом восстановить его. Проще и легче оказалось построить новый город на противоположном берегу Волги, там, где стоит нынешняя Астрахань.

Такая же участь постигла Старый Сарай, а за ним и столицу Орды, Сарай-Берке. Тут Тимур проявил особенную свирепость, которая получила свое подтверждение при раскопках этого города: под развалинами были обнаружены целые нагромождения изрубленных на части человеческих останков, которые, видимо, нарочно складывались в особые пирамиды или штабели.

С подобной же беспощадностью были разрушены и все другие крупные города Орды. Укек, Сараил-Джадид, Бальджимин, Салхат, Маджар, Азак и иные важные центры обратились в руины, вокруг которых едва теплилась жизнь.

Уничтожая эти города, Тимур не только мстил Тохтамышу и татарам: он сознательно и продуманно разрушал всю линию караванной торговли Китая с Европой. Это ему было нужно по двум причинам: Китай уже стоял на очереди в плане его завоеваний, и этими действиями Железный Хромец наносил ему первый удар. Одновременно он хотел, вдобавок к военному разгрому, в корне подорвать экономическую жизнь Орды, чтобы она не могла больше помышлять о каком-нибудь соперничестве с его империей.

И этой цели он достиг вполне: могущество Орды было сломлено навсегда. Своим сокрушительным походом Тимур низвел ее на положение угасающей второстепенной державы, чем невольно оказал неоценимую услугу Руси, чрезвычайно облегчив ей полное освобождение от татарского ига.

Правда, в последующие годы, под властью Эдигея, Орда несколько оправилась от этого страшного разгрома и, прежде чем развалиться на отдельные ханства, еще три-четыре десятилетия просуществовала как единое, хотя и непрочное целое. Но сейчас она лежала в крови и прахе, торговля ее была парализована, поля и пастбища вытоптаны, ремесло задушено, всюду были развалины, пожарища, нищета и голод.

Положение было таково, что даже войску Тимура нечем было здесь кормиться, и кое-как, за счет награбленного, продержавшись до весны следующего года, Железный Хромец увел его в Персию. Некоторые татарские племена и юрты[1] он силой угнал с собой и поселил их в Мавераннахре. Другие, спасаясь от голода и смуты, откочевали в русские и литовские земли. Оставшиеся блуждали по степям, без крова и без скота, с трудом добывая себе пропитание. Но и в этом царстве разрушения и смерти не утихали ханские усобицы.

* *
*

Тохтамыш, после бегства из Булгара, на несколько месяцев выпал из поля зрения историков. Но некоторые летописи говорят, что он скрывался где-то «близь страны мрака», то есть на севере, а одна из них прямо называет Пермскую землю. Все это позволяет почти с полной уверенностью сказать, что он нашел прибежище в улусе Карач-мурзы[2] и переждал опасность в городке Карачеле, далеком от тех мест, где свирепствовал Тимур, и надежно укрытом от посторонних глаз.

Хан и теперь не примирился с положением и был полон решимости продолжать борьбу. Собрав на Севере небольшое войско, он уже через три месяца после ухода Тимура появился в Нижнем Поволжье, где имел много сторонников. Значительно пополнив тут свои силы, он осенью того же года двинулся в Крым.

Обещав Ширинскому князю Руктимеру щедрые милости и руку своей дочери Джананки, Тохтамыш с его помощью взял город Каффу, получил от генуэзцев большой откуп и, выгнав из Крыма сидевшего тут Таш-

---

[1] В этом случае юрт — кочевая татарская община.

[2] В улус Карач-мурзы входила восточная половина Пермской земли.

Тимура, пока что объявил себя владыкой независимого Крымского ханства.

На развалинах Сарая ханствовал в это время Куюрчук, не имевший почти никакой силы; на Джаике властвовал Эдигей, а в Хаджи-Тархани — Кутлук-Тимур, находившийся в союзе с Эдигеем. Таким образом, в 1397 году Великая Орда временно распалась на четыре ханства. Но такое положение длилось недолго: Кутлук-Тимур и Эдигей, не принимавшие никакого участия во втором походе Тимура, усиленно готовились к захвату верховной власти и вскоре накопили достаточные для этого силы.

Кутлук начал с того, что подступил к Сараю, где за два минувших года кое-как был отстроен один жилой квартал, и без труда прогнал оттуда своего незадачливого дядю, хана Куюрчука, которому сразу же изменили все его немногочисленные темники. Усилившись этим пополнением, Кутлук и Эдигей весной следующего года выступили в поход на Крым. Тут им удалось, путем подарков и обещаний, привлечь на свою сторону крымскую знать, которая в решающую минуту подняла в тылу у Тохтамыша восстание, что и обеспечило победу Кутлук-Тимуру.

Тохтамыш, со своей семьей и с отрядом верных ему людей, в числе которых находился и Карач-мурза, бежал в Литву, к великому князю Витовту, пребывавшему в ту пору в Киеве.

ГЛАВА XX

«И кто же не возлюбит Киевъского княжения, понеже вся честь и слава, и величество, и глава всем землям русским — Киев».

Никоновская летопись

По пологому берегу Днепра, местами взбираясь на склоны прилежащих гор, белой крапью рассыпались незатейливые строения города Киева. Их почти и не видно: притаились, спрятались в зелени садов, будто сами себя стыдятся и понимают: не пристало им носить священное имя древней столицы — матери городов русских и блистательной соперницы самого Царьграда.

Высились здесь когда-то белокаменные и розовые

дворцы, гордо стояли величавые храмы, будто воеводы в золотых шлемах, волею Бога и мастерством великих умельцев поставленные над ратью из шестисот киевских церквей. Не счесть было просторных, на диво изукрашенных боярских хором, а домов меньших людей — неоглядное море!

Ничего теперь не осталось, все порушено и пожжено в огне княжеских усобиц, а что от них уцелело, доконали татары. И самое место, где стоял старый Киев, поросло ныне лесом. Кое-где лишь выбиваются из него развалины, а чего — и не угадаешь теперь, да скорбной памятью о былом стоит на горе любимое детище Ярослава Мудрого — Святая София. Обветшала она — из тринадцати царственных глав ее ссекло время уже четыре.

Жизнь перешла на Подол, где хоть семь домов уцелело после страшного Батыева нашествия. Теперь их не семь, а может, и семьсот наберется, да все равно поглядеть не на что: все невзрачны, один к одному, кое-где лишь увидишь хоромы не хоромы, а так — дом побольше да попригляднее других. Стоит на площади, посреди города, старая каменная церковь святой Богородицы — Пирогощи, есть с десяток деревянных церквушек, да на плоской вершине горы Хоревицы, что над Подолом, высится бревенчатый замок, построенный литвинами. Вот и весь нынешний Киев. Когда подступил сюда Батый со своей ордой, было в нем больше ста тысяч жителей, а сейчас, хотя уже полтора века с тех пор минуло, коли наберется семь тысяч, и то много.

Но знает русский человек: это минует. Не раз еще увидит Киев и плохие, и хорошие времена, но стоять ему вечно, ибо нет на всей славянской земле более древнего очага жизни. Зародился он тут еще в те непостижимо далекие годы, когда из Днепра пили воду мамонты и косматые носороги, — более двадцати тысяч лет тому назад. Видно, какой-то семье одетых в звериные шкуры первобытных людей, забредших сюда в своих скитаниях, тоже что-то сказала величавая красота этих гор, глядящих в синеву прекрасной реки. Люди не пошли дальше. Они поставили здесь свой шалаш, и на месте будущего Киева поднялся к небу дымок первого костра. С той поры жизнь тут не угасала.

На территории Киева, под десятисаженной толщей более поздних наслоений, археологи во многих местах обнаружили остатки очагов этой древней жизни. Осо-

бенно обширное и хорошо сохранившееся становище людей каменного века было открыто в районе нынешней Кирилловской улицы, на Подоле.

Тут нашли много человеческих скелетов, кости мамонтов и носорогов, наполненные золой очаги, изделия из камня и кости, кремниевые орудия и остатки круглых шалашей-чумов. Поселок был довольно велик. Он принадлежал охотникам за мамонтами[1], а охота на этих огромных животных требовала большого количества людей, которые не знали иного оружия, кроме дубины и копья с каменным наконечником. Сохранившиеся рисунки — наскальные и вырезанные на костях — объясняют нам, как доисторический человек справлялся с этой нелегкой задачей: мамонта загоняли зимой в глубокий снег, а летом в болотистую трясину и тут забивали копьями и дрекольем скованного в движениях четвероногого великана.

Был и другой способ: мамонтов гнали на высокий отвесный обрыв и сталкивали оттуда вниз. Вероятно, немало погибало при этом и охотников. Но риск себя оправдывал, ибо такая добыча давала человеку все, в чем он тогда нуждался: мясо мамонта шло в пищу, шкура на одежду, жир на топливо и на освещение; из костей делали орудия труда, они же употреблялись как прочный строительный материал. При помощи осколка кремня заготовить из дерева стойки и распорки для шалаша было гораздо труднее, чем приспособить для этой цели бивни и ребра мамонта.

Протекали сотни и тысячи лет, но, как видно по остаткам более поздних становищ, мало что менялось в быту этих древних обитателей киевских гор. Ныне один месяц приносит нам неизмеримо больше новшеств и перемен, чем принесли им десять тысячелетий. Изменился климат земли, иным стал животный мир, и вместо исчезнувших мамонтов и носорогов вокруг жилищ этих первобытных охотников археологи находят груды костей дикой лошади, тура, оленя и медведя. А в остальном — все, как прежде, как десять тысяч лет тому назад: тот же костер, те же выдолбленные камни вместо посуды, то же копье с кремниевым наконечником. Разве что чуть поудобней стал каменный скребок для выделки кож, да немного просторней жилище.

---

[1] На Кирилловской стоянке были найдены кости более семидесяти мамонтов и многих носорогов.

Но следующие тридцать-сорок веков ознаменовались крупными сдвигами. Об этом красноречиво свидетельствуют находки, сделанные в поселениях, которые обнаружены в районе нынешнего Печерска и относятся к седьмому тысячелетию до начала христианской эры.

К этому времени человек уже приручил кое-каких животных, научился ловить рыбу и, если не выращивать, то собирать зерна дикорастущих злаков. В его хозяйстве находят: рыболовные орудия (лодки, сети, крючки), лук и стрелы с костяными и каменными наконечниками, довольно обширный набор кремниевых инструментов, иголки и шила из костей. Появляется и грубо выделанная, обожженная на костре глиняная посуда, иногда в ней находят присохшие остатки пищи, в том числе зерна ячменя. Очаги теперь выложены камнем; жилище шире и удобней, хотя, по существу, это все те же круглые чумы. Стоят они не на горах, как прежде, а у самой реки. Это понятно: в жизни человека ловля рыбы стала играть очень важную роль.

Прошло еще четыре тысячи лет, и человечество вступило в так называемый бронзовый век — в его обиходе появились первые металлические изделия: ножи, мечи, мотыги, наконечники для стрел и копий, некоторые примитивные украшения. Это был огромный шаг вперед в развитии культуры, но все же медь и бронза были слишком мягкими металлами, чтобы произвести полный «технический переворот» и вытеснить кремниевые орудия. Бронзовые мотыга и топор не могли заменить каменных, а потому некоторые кремниевые инструменты продолжали существовать наряду с бронзовыми, вплоть до появления железа.

На территории нынешнего Киева обнаружено много остатков поселений людей бронзового века и их могильников. Особенно интересные находки были сделаны в конце прошлого столетия возле киевского села Триполье, откуда и вся совокупность сделанных открытий получила название Трипольской культуры.

Хотя в жизни человека охота и рыболовство еще продолжали играть преимущественную роль, эта эпоха уже характеризуется широким развитием скотоводства и примитивного земледелия. Трипольцы разводили коров, коз и свиней, которые стали вполне домашними животными; несколько позже была приручена и лошадь. Земледелие ограничивалось огородничеством,

ибо при помощи одной мотыги нельзя было, конечно, возделывать больших полей. Из хлебных злаков людям Трипольской культуры были известны ячмень, пшеница, просо и чечевица. Жали зерновые растения кремниевым серпом с деревянной рукояткой, молотили в каменных ступках-зернотерках. Далеко шагнуло вперед и гончарное ремесло: глиняные изделия хорошо исполнены и украшены гравировкой или росписью в две-три краски, иногда довольно художественной. Найдено при раскопках также немало скульптурных изображений человека, собаки[1] и других животных.

Но особенно интересны жилища трипольцев: вместо жалкого чума людей каменного века здесь мы видим обширное строение, величиной до двухсот квадратных метров, с глинобитными полами и со стенами, сделанными из жердей, оплетенных лозой и обмазанных глиной[2]. Такая постройка делилась внутренними стенами на несколько отдельных помещений, имела хорошо сложенные каменные очаги и, по существу, представляла собой настоящий дом, вероятно служивший обиталищем отдельного рода или нескольких родственных семей.

Поселки людей Трипольской культуры были довольно обширны и состояли обычно из нескольких десятков таких домов. Это говорит о том, что на смену семейно-родовому быту уже пришла община. Она не только производила для себя все, в чем нуждалась, но и вела довольно широкую меновую торговлю. Найденные при раскопках предметы не оставляют сомнений в том, что трипольцы имели торговые связи с придунайскими, балканскими и даже арабскими землями.

В начале первого тысячелетия до нашей эры на смену бронзовому пришел железный век. Он ознаменовался, прежде всего, широким развитием земледелия. Каменные топор и мотыга, более двухсот веков бывшие почти единственными орудиями человека, уступают место железным. Несколько столетий спустя появляется первая соха, а вскоре за нею и «рало» — примитивный плуг с железным наконечником. Стало воз-

---

[1] Собака была первым из диких животных, которое приручил человек.

[2] Стоит отметить, что этот, так называемый «турлучный» тип построек и сейчас применяется крестьянами наших безлесных областей.

можным, вырубая леса, очищать значительные площади под посевы и их возделывать.

Обнаруженные на территории Киева остатки поселений железного века[1] свидетельствуют о быстром росте культуры и о больших переменах в быту людей. Прежде всего, сами поселения уже представляют собой городища, укрепленные валом и рвом. Благодаря железу, в обиходе человека появляется хорошее оружие и множество инструментов, допускающих развитие разнообразного ремесла: кузнечного, древообделочного, оружейного, кожевенного, шорного, ювелирного и т. д. К этому времени были созданы и еще два орудия производства исключительной важности: гончарный круг и ткацкий станок.

Пробуждаются в человеке и эстетические запросы. Прежде он предъявлял к каждой вещи только два требования: чтобы она как можно лучше отвечала своему назначению и была, по возможности, прочной; теперь он стремится к тому, чтобы она была и красивой. В могильниках этой эпохи находят немало предметов, сделанных с подлинным мастерством и со вкусом, — художественно изукрашенную посуду и даже образцы ювелирного искусства в виде золотых и серебряных украшений.

Кем же были, по своей племенной принадлежности эти «киевляне» железного века?

Древнегреческий историк Геродот причисляет их к скифским племенам и именует борисфенитами[2] или скифами-земледельцами. И, хотя он под общим названием скифов произвольно объединяет множество древних народностей совершенно различного происхождения, можно смело утверждать, что борисфениты принадлежали к группе племен — непосредственных предшественников и прародителей славян[3]. Это ясно хотя бы из того, что несколько столетий спустя Приднепровье населял уже определенно славянский народ венедов, органическая связь которого со скифами-земле-

---

[1] Это так называемые Хотовское и Ходосовское городища, оба на южной окраине Киева, а также Подгорцевское поселение, южнее города.

[2] Борисфен — древнегреческое название Днепра.

[3] К таким праславянским племенам, упоминаемым Геродотом и другими историками древности, относят также невров, будинов, бастарнов и роксаланов или росамонов, от которых, может быть и происходит столь спорное имя «рос» или рус»,

дельцами доподлинно установлена археологами. В первых веках христианской эры восточная часть венедов обособилась под именем антов.

На месте нынешнего Киева анты имели, по-видимому, весьма значительный и важный жизненный центр. Многочисленные остатки их жилищ обнаружены на старокиевской горе и на Киселевке (бывшая гора Хоревица). В III—IV веках нашей эры густо был заселен ими и Подол.

Эти наши далекие предки оставили мало следов в истории, кое-что пишут о них готский историк VI века Иордан и его византийский современник Прокопий Кессарийский. Из этих источников мы знаем только, что анты совершали набеги на римские владения, успешно воевали с готами и с аварами, нанимались на службу к византийским императорам, следовательно были многочисленным, воинственным и сильным народом. Но эти скупые сведения значительно пополнились находками археологов, известными под общим названием Черняховской культуры, целиком относящейся к антам[1].

Исследование ее многочисленных памятников, разбросанных по всей Южной Руси, дает нам правильное и довольно полное представление об антах и их образе жизни. Нет сомнения в том, что это был уже вполне оседлый, земледельческий и организованный народ, имевший прочно установившиеся формы общественного быта. Анты поддерживали широкие торговые связи со странами, даже довольно отдаленными, о чем свидетельствует множество явно привозных предметов и иностранных монет, которые были найдены при раскопках их поселений. Дошедшие до нас имена антских князей — Бож, Доброгаст, Всегорд, Маджак, Мечимир, Целогаст, Идарий, Хвалибуд — звучат чисто по-славянски. Известно также, что анты чтили бога Перуна, сжигали своих покойников и придерживались многих обрядов и обычаев, которые позже существовали у русов.

---

[1] Эта культура получила свое название от села Черняхов Киевской области, где впервые были обнаружены многочисленные находки, относящиеся к эпохе антов. Ей предшествовала так называемая Зарубинецкая культура, охватывающая эпоху венедов (II век до Р. Х. — II век после Р. Х.) и органически связанная с Черняховской культурой.

* * *

Из всех этих предпосылок видно, что историк, подходя к вопросу об основании города Киева, имеет в виду не появление здесь какого-то населенного пункта — таковой существовал испокон веков, — а превращение его в укрепленный административный центр, столицу государственно сложившегося народа.

Сохранилось предание о том, что это осуществили три князя славянского племени полян. Древнекиевский летописец Нестор так повествует об этом:

> «И быша три братья: единому имя Кий, а другому Щек, а третьему Хорив, и сестра их Лыбедь. Седяше Кий на горе, где же ныне увоз Боричев, а Щек седяше на горе, где же ныне зовется Щековица, а Хорив на третьей горе, от него же прозвася Хоревица. И сотвориша град един во имя брата старейшего и нарекоша имя ему Киев.»

В достоверности этого факта и в том, что упомянутые князья действительно существовали, едва ли можно сомневаться. Данные Нестора подтверждаются не только сохранившимися географическими названиями (Киев, Щековица, Хоревица, река Лыбедь), но и многими иностранными источниками.

Нестор не указывает, даже приблизительно, время основания Киева, но он упоминает о том, что князь Кий побывал в Константинополе и был с большой честью принят императором. По косвенным данным византийских хроник можно определить, что это событие произошло в царствование Юстиниана Великого, то есть не позже 565 года. В русских, византийских и болгарских летописях есть сведения о том, что в VI веке на Дунае был основан город Киевец, несомненно, тем же князем, в какой-то связи с его поездкой в Византию. В трех различных византийских источниках[1] имеются относящиеся к VI веку упоминания о славянском князе Кувере, сидевшем одно время в городке, построенном им на Дунае, — трудно сомневаться в том, что здесь речь идет именно о Кие. Армянский историк VII века

---

[1] Житие св. Димитрия Солунского, хроника Никифора Феофана и хроника Иоанна, епископа из Никиу.

Зеноб Глак упоминает о городе Куаре в стране Полуни — это, конечно, город Киев в стране полян. И, наконец, в Турции была найдена каменная плита с надписью, датированной 559 годом, в которой упоминается город Самбат[1], а из трудов императора Константина Багрянородного мы знаем, что так в то время называли в Византии Киев.

Все это позволяет с полной уверенностью отнести основание Киева и начало южно-русской государственности к середине VI века. Это подтверждается и некоторыми польскими хрониками. Первые польские историки Я. Длугош и М. Стрыйковский относят основание Киева к еще более раннему времени.

Таким образом, безусловно следует признать ошибочным еще широко распространенное мнение, будто русская государственность начинается с призвания Рюрика, то есть с 862 года, а о более далеком прошлом нашей земли не сохранилось сведений. В действительности это совсем не так. В древней истории русского народа есть, конечно, «белые пятна», как есть они и в истории других народов. Но трудами археологов и исследователей, обративших особое внимание на иностранные источники, эти пятна постепенно заполняются. И сейчас, если нам и не хватает еще некоторых отдельных звеньев, мы все же имеем достаточно данных, чтобы в общих чертах восстановить историю как Киевской, так и Новгородской Руси, за три века до так называемого призвания варягов.

И само происхождение русского народа для нас больше не является загадкой — мы можем проследить его, начиная с самой глубокой древности.

[1] Происхождение названия Самбат или Самбатос спорно, и на этот счет историками выдвинуто несколько гипотез. Достаточно правдоподобной является следующая, кажется, еще никем не высказанная: в числе городов, существовавших в то время на Днепре и его рукавах, греческий географ II века Птоломей называет *Сарбак*. Отсюда — Самбат.

ГЛАВА XXI

«Киев был великолепной столицей князей, владевших всею Русью. Когда он был построен, как давно существует, не достигает ли времен Энея и Колхиды — неизвестно. Все закрыли давняя старина и равнодушие историков. Остались только руины — памятники прежнего величия».

Рейнгольд Гейденштейн, историк XVI века

Основание, вернее оформление Киева как столичного города при князе Кие выразилось в том, что отдельные поселения трех братьев-князей слились воедино и была построена обнесенная рвом деревянная крепость, сделавшаяся общим центром и получившая название в честь «брата старейшего», как говорит летописец.

Это предание полностью подтверждается раскопками: под стенами эпохи Владимира Святого археологи обнаружили остатки этих более древних укреплений и ров, позволяющий довольно точно определить положение и размеры городища князя Кия.

Дальнейший рост Киева шел за счет всевозможного ремесленного и торгового люда, в силу естественных причин всегда оседавшего под стенами больших и хорошо укрепленных городов. Здесь этому способствовало исключительно выгодное географическое положение: Киев стоял на перекрестке водного пути «из варяг в греки» и караванного, из стран мусульманского Востока, через Хозарию, в Западную Европу. И потому он очень скоро превратился в крупнейший торгово-ремесленный центр.

Княжившим тут потомкам Кия удалось создать крепкое и сильное государство. Сохранилось предание о том, что хозары, одно время наложившие дань на полян, перестали приезжать за ней после того, как поляне им однажды заявили, что чем другим они не богаты, а по мечу от дыма дать могут. Известно, что киевские князья Аскольд и Дир побеждали волжских болгар и печенегов, совершили два похода на Византию и едва не взяли Константинополь.

Кстати, следует отметить, что эти князья отнюдь не были беглыми боярами Рюрика, как пишет киевский

летописец, стремясь возвеличить род князей-рюриковичей. Нет никакого сомнения в том, что они принадлежали к династии старокиевских князей, о чем имеются упоминания в некоторых иностранных хрониках и даже в киевском «Синопсисе». В частности, древнепольский хронист Ян Длугош, пользовавшийся изначальной русской летописью, до нас не дошедшей, говорит об этом вполне определенно:

> «После смерти Кия, Щека и Хорива их дети и потомки по прямой линии господствовали над Русью в течение многих лет. Наконец наследство перешло к двум родным братьям — Аскольду и Диру, которые стали княжить в Киеве.»

Точно также и арабский писатель X века Масуди, упоминая о Дире, называет его природным русским князем.

Государство полян и в культурном отношении находилось далеко впереди всех других восточно-славянских племен. Тут особенно сильно сказывалось влияние Византии и распространяющегося оттуда христианства. В Киеве, задолго до официального крещения Руси и даже до принятия христианства княгиней Ольгой, было много христиан и существовало несколько православных церквей, по-видимому имевших своего, киевского епископа. В некоторых летописях имеются прямые указания на то, что князь Аскольд был христианином.

Стоит упомянуть и о том, что вселенский патриарх Фотий, в своем послании от 867 года (то есть за 121 год до киевского крещения) сообщает другим патриархам о крещении Руси. Надо думать, что это относится к так называемой Тмутороканской Руси, находившейся на Таманском полуострове и в восточной части Крыма[1]. Именно со времен Фотия Тмуторокань появляется в списке подведомственных византийской церкви епархий.

Под властью князя Олега, в конце IX века, Киев уже приобретает значение общерусской столицы, а спустя еще сто лет, при Владимире Святом, он становится одним из самых крупных, богатых и красивых городов Европы.

---

[1] Позже она была известна под именем Тмутороканского княжества.

Владимир выстроил здесь новый кремль, то есть городской центр, по площади почти в двадцать раз превышающий городище Кия и гораздо лучше укрепленный. В годы его княжения было построено множество великолепных зданий, некоторые из них являлись тогда подлинными образцами строительного искусства. Из них прежде всего следует упомянуть Десятинную церковь. Судя по оставшимся руинам и по дошедшим до нас описаниям, это было грандиозное по тем временам строение, богато изукрашенное мрамором, мозаикой и фресковой живописью. Современники, видевшие эту церковь, говорили, что только на небесах может существовать что-либо более прекрасное.

На площади, перед входом в церковь, стоял на мраморном постаменте памятник в виде четырех бронзовых коней, а вокруг были расположены три дворца. Судя по сохранившимся фундаментам и остаткам каменных стен, толщиной в полтора метра, это были, вероятно, двухэтажные здания невиданных тогда размеров: самый большой из этих дворцов занимал по фронту семьдесят метров, а самый меньший — сорок пять. Одно из помещений, вероятно тронный зал или большая трапезная князя Владимира, имело двадцать пять метров в длину и двенадцать в ширину. Найденные обломки украшений свидетельствуют о том, что дворцы были отделаны с подлинной роскошью.

При Ярославе Мудром строительство продолжалось с еще большим размахом, и к концу его княжения Киев по своему величию и красоте действительно мог соперничать с Константинополем.

Территорию Владимирского города Ярослав расширил в восемь раз и все это пространство огородил мощными стенами, превратив Киев в неприступную крепость. Эти стены, как показывают раскопки, состояли из шести рядов наполненных землей бревенчатых срубов — «городниц» и имели у основания восемнадцать метров толщины, при высоте около четырнадцати метров. Поверху шло еще дубовое «заборало», с бойницами для стрельбы и сбрасывания вниз камней. Так называемые Золотые ворота, служившие главным въездом в город, сохранились до наших дней.

При Ярославе Киев обогатился целым рядом замечательных строений, из которых стоит упомянуть новый дворец великого князя, дворец и подворье митрополита, библиотеку, школу и, в особенности, непре-

взойденный Софийский собор, сохранившийся доныне и еще сейчас поражающий зрителя своим архитектурным совершенством, величием и роскошью отделки. Вот что о нем написал современник Ярослава Мудрого и талантливейший писатель русской древности — митрополит Илларион:

> «Церковь сия дивна и славна есть всем окружным странам, яко же ина, подобна ей, не обрящется во всем полунощи земном, от востока и до запада».

В годы княжения Ярослава Владимировича возник также Киево-Печерский монастырь, который вскоре приобрел на Руси исключительное значение не только как крупнейшая цитадель православия, но и как главный оплот культурной мысли и просвещения. Первым поселившимся на Печерске отшельником был инок Илларион, но когда в 1051 году он был возведен в сан митрополита, его освободившуюся пещеру заняли подвижники Антоний и Феодосий, которые и основали эту замечательную обитель.

Густо был заселен к этому времени и Подол, где селился, главным образом, ремесленный люд. При Ярославе Мудром Киев был самым большим производственным центром Восточной Европы, и здесь процветало более шестидесяти видов различного ремесла. В частности, во второй половине XI века тут уже существовал стекольный завод и производилась высокохудожественная мозаика. Киевские мастера обладали также секретом изготовления отличной эмали, а ювелиры своим искусством и тонкостью работы не уступали византийским.

Рост города, хотя и в более замедленном темпе, продолжался при ближайших преемниках Ярослава, и за следующее столетие Киев украсился целым рядом новых замечательных строений. Из них стоит упомянуть Успенский собор, построенный в 1073 году сыном Ярослава и родоначальником Черниговских князей — Святославом Ярославичем. Этот собор, внутренняя отделка которого отличалась необычайной роскошью, был истинной жемчужиной древнерусского зодчества и долгое время служил на Руси образцом для строения других храмов.

Рос Киев, росла и слава его, им восхищались побывавшие здесь иностранцы. Но над царственным горо-

дом уже сгущались грозовые тучи. И, вопреки господствующему мнению, сокрушила его величие не столько орда Батыя, сколько свои же русские князья.

В соперничестве и усобицах, разгоревшихся между русским Севером и Югом, князь Андрей Боголюбский в 1169 году захватил Киев и предал его беспощадному разрушению. Сделал он это вполне обдуманно, повинуясь холодному политическому расчету: ему, перенесшему великокняжескую столицу на север, в город Владимир, нужно было навсегда подорвать значение «матери городов русских.»

Вот в каких словах описывает это событие Ипатьевская летопись:[1]

> «Взят же бысть Киев месяця марта в восьмый день и грабиша за два дни весь град и Подолье, и Гору, и монастыри, и Святую Софью, и Десятиньную Богородицу и не бысть помилованья никомуже и ниоткудуже, церквам горящим, крестьянам оубиваемым, а другим вяжемым. Жены ведомы быша в плен, разлучаемы от мужей своих, младенцы же рыдаху зряща матерей своих. И взяша суждальцы имения множество и церкви обнажиша, иконы, книги и ризы, и колокола изнесоша и все святыни взята и бысть зажжен монастырь Печерский... И бысть в Киеве на всех человецех стенанье и туга, и скорбь неоутешимая и слезы непрестаньныя.»

От этого разгрома Киев оправлялся медленно, ибо за него шла непрекращающаяся жестокая борьба между Смоленскими, Черниговскими и Галицкими князьями — в течение следующих тридцати лет он чуть ли не ежегодно переходил из рук в руки. В 1202 году Смоленский князь Рюрик Ростиславич, вместе с половцами овладевши Киевом в седьмой раз, отдал его на разграбление своим союзникам в качестве уплаты за их помощь. Предоставим на этот раз слово другому летописцу:[2]

> «Взят бысть Кыев Рюриком и всею Половецькою землею, и сотворися велико зло на Ру-

---

[1] Ипатьевская летопись. Изд. Императорской археографической комиссии, С.-Петербург, 1908, с. 545.

[2] Лаврентьевская летопись, с. 418—419.

стей земли, якого же не было от крещения над Кыевом... Не токмо одно Подолье взяша и пожгоша, но и Гору взяша, и митрополью святую Софью, и Десятиньную святую Богородицу разграбиша, и монастыри все. И иконы поимаша, и кресты честные, и сосуды священныя, и ризы. А что чернец и черниц, и попов, и попадей, и киян, и жены их, и дщери, и сыны, то все ведоша иноплеменници в вежи своя.»

Все это с достаточной ясностью показывает, что в деле разорения Киева, которое принято целиком приписывать татарам, значительная часть должна быть отнесена на счет своих же князей, проявивших больше вандализма, чем ордынцы, ибо грабили они и разрушали не чужие, а свои собственные национальные святыни и бесценные памятники русской старины.

* * *

Орда Батыя подошла сюда осенью 1240 года. Киевом владел в это время князь Даниил Романович Галицкий, но так как этот захиревший город не представлял для него особого интереса, сам он оставался в Галиче, а в Киеве сидел его наместник, воевода Дмитро.

Началась осада. Киевляне защищались с предельным мужеством и около двух месяцев отбивали все приступы врага. Но 6 декабря татары ворвались в город. Все его население продолжало сражаться с ордынцами на улицах, защищая каждую пядь родной земли. Наконец, все уцелевшие заперлись в Десятинной церкви, превратив ее в последнюю цитадель сопротивления.

Из этого факта следует сделать вывод, что трех каменных[1] дворцов Владимира Святого, находившихся на этой же площади, к моменту татарского нашествия уже не существовало, иначе киевляне, конечно, использовали бы для обороны их, а не церковь, гораздо менее пригодную для этой цели. Вероятно эти дворцы были

[1] Некоторые историки считают, что эти дворцы Владимира Святого были деревянными. Но это совершенно не вяжется с обнаруженными при раскопках мощными фундаментами и нижней частью каменных стен толщиной в полтора метра. Деревянными могли быть только верхние этажи или терема этих дворцов.

разрушены Андреем Боголюбским, как и многие исторические здания Киева.

Под тяжестью массы людей, взобравшихся на хоры, Десятинная церковь рухнула, похоронив под своими развалинами последних защитников города. Но главный герой этой беспримерной обороны, воевода Дмитро, уцелел. Предание говорит, что когда его, израненного и связанного, поставили перед Батыем, последний похвалил его за мужество и спросил: «Что ты будешь делать, если я прикажу возвратить тебе твой меч?» Дмитро ответил: «Я снова подниму его против тебя, хан!» За исключительную доблесть Батый повелел сохранить ему жизнь.

Почти все оставшееся население Киева было перебито, а сам город разграблен, разрушен и сожжен. Но стоит обратить внимание на следующую подробность, приводимую летописцами: из всех исторических зданий, вернее из всего города, остались целыми только Софийский собор, Кирилловская церковь, Печерский монастырь и Михайловский монастырь. Из этого видно, что татары соблюдали тарханную грамоту[1] Чингизхана и щадили церкви. Деревянные, конечно, сгорели в пламени общего пожара.

Всякая жизнь на Старокиевской горе после этого разгрома замерла на несколько столетий, а горсточка переживших гибель города киевлян обосновалась на Подоле, где не все было разрушено. По преданию тут уцелело семь строений. Краски здесь, надо думать, сгущены, но, во всяком случае, не очень, ибо папский легат Плано Карпини, побывавший в Киеве семь лет спустя, когда Подол уже в значительной мере отстроился, насчитал в нем около двухсот домов.

Насколько медленно возвращалась к жизни древнерусская столица, можно судить по запискам французского инженера Боплана, посетившего Киев в 1640 году, ровно через четыреста лет после нашествия Батыя. Он пишет:

> «Между горой и Днепром лежит Новый Киев, город малолюдный, насчитывающий пять-шесть тысяч жителей, обнесенный деревянной

---

[1] Тархан значит «неприкосновенный». Этой грамотой Чингиз-хан утверждал полную свободу вероисповедания в покоренных им странах и неприкосновенность церковного имущества и личности священнослужителей.

стеной с башнями и окопанный ничтожным рвом в двадцать пять футов шириной... От прежнего Киева — одного из древнейших и красивейших городов Европы — остались только следы былых укреплений, развалины церквей и княжеских усыпальниц, да храм святой Софии одинаково прекрасный, с какой бы стороны на него ни посмотреть.»

Завершив покорение Руси, Батый отдал Киевское княжество Суздальскому князю Ярославу Всеволодовичу, от которого оно перешло к его сыну, Александру Невскому, а потом к брату последнего, Ярославу. Но никого из них разоренный Киев не интересовал, и они ограничивались тем, что посылали в него своих наместников. Далее тут княжили по ханским ярлыкам различные мелкие князья, последним из которых был некий Феодор. Его прогнал литовский великий князь Ольгерд Гедиминович, который в 1362 году захватил Киевщину и отдал ее во владение своему сыну Владимиру.

Владимир Ольгердович, русский по матери[1] и, как вся семья Ольгерда, с детства исповедывавший православие, оставил по себе добрую память, как князь совершенно русский по духу и по воспитанию, а к тому же ревностный защитник православной церкви. Под его властью Киевское княжество значительно окрепло, а город Киев снова приобрел значение крупного политического и административного центра. Подол был полностью отстроен и обнесен деревянными стенами, а на горе Хоревице выстроен обширный и хорошо укрепленный замок — кремль, в котором размещались все органы управления и проживал сам князь.

Присоединение к Литовскому государству избавило Киевщину от татарской власти, и здесь все шло хорошо пока был жив князь Ольгерд. Но положение резко изменилось после его смерти, когда власть перешла к его младшему сыну Ягайлу, который вскоре принял католичество, с именем Владислава, и, получив польскую корону, объединил под своей рукой Литву и Польшу. Литовским великим князем, подчиненным ему, в 1392 году был объявлен его двоюродный брат Витовт, тоже католик.

---

[1] Его матерью была княгиня Ульяна Александровна Тверская.

Началось окатоличивание русско-литовских земель. Владимир Ольгердович новым порядкам не сочувствовал и оказывал Витовту открытое неповиновение. Дело кончилось тем, что в 1394 году он был изгнан из Киева и вскоре бежал в Москву, а киевский престол достался его младшему брату Скиргайлу[1].

Однако Скиргайло тоже не оправдал надежд Витовта, а вскоре сделался ему даже опасен. Он также не пожелал изменить православию и, став Киевским князем, решительно продолжал политику своего брата и предшественника Владимира. Твердой защитой русских интересов он быстро завоевал в Киевской земле популярность, к тому же был прославленным воином, а потому Витовт предпочел избавиться от него без шума, раз и навсегда: в 1395 году он был отравлен.

С той поры Витовт князя сюда не назначал и правил Киевщиной при помощи наместников, но нередко наезжал и сам, в связи с теми или иными событиями.

Он как раз находился в Киеве, когда летом 1398 года сюда прибыл со своей свитой и верными ему воинами хан Тохтамыш, разбитый в Крыму Кутлук-Тимуром.

ГЛАВА XXII

> «Совещашася Витофт с Тахтамышем, тако глаголя: аз тя посажу в Орде на царствие, а ты мя посадишь на княжении на великом на Москве и на всеи Руской земли. И на том сташа и поидоша купно на царя Темирь Кутлуя».
>
> *Троицкая летопись*

— А у здешнего хана много войска? — спросил маленький Абисан, сидевший, поджав ноги, у выхода из шатра, внимательно наблюдая за сборами отца.

— Это не хан, — ответил Карач-мурза. Он только что натянул на ноги желтые, расшитые бисером сафьяновые сапоги и теперь надевал поданный ему нукером кафтан из синего с золотом аксамита[2]. — У литовцев

---

[1] Православное имя Скиргайлы было Иван.

[2] Аксамит — старинная драгоценная ткань, с золотым или серебряным узором, вытканным на основе из шелкового бархата.

и у русских повелители называются князьями. А войска у князя Витовта много.

— Я думаю, все-таки можно захватить этот город. Мы с Бехтибеком[1] вчера подъезжали к крепости и хорошо все высмотрели. С полуночной стороны ее легче всего взять: там стена ниже, и в одном месте ров почти засыпан обвалом.

— Ах, ты, вояка! А зачем нам брать Киев? Князь Витовт наш друг, — промолвил Карач-мурза, с ласковой улыбкой взглянув на семилетнего сына. Это был рослый, крепко сложенный и большеглазый мальчик, выглядевший старше своих лет. Он старался держаться с солидностью воина и одет был как взрослый, даже с маленькой, по росту, но настоящей саблей на боку.

— Ты говорил, что эмир Идику тоже был наш друг. А теперь он взял все наши города и пастбища.

— Собаку Идику мы еще побьем, сынок. Князь Витовт нам в этом поможет, если вы с Бехтибеком не отнимете у него Киева. Слыхала, жена? — добавил Карач-мурза, обращаясь к Хатедже, которая в эту минуту появилась из-за перегородки. — В сыне-то нашем твоя кровь говорит, тимуровская!

— Наверно моя. Кто не знает, что кровь Чингиз-хана и русских князей, которая в тебе течет, — это голубиная кровь, — смеясь, ответила Хатедже. Ей было сейчас за тридцать пять, но она мало изменилась за последние годы, только чуть-чуть располнела и выглядела свежо и молодо.

«В дочери мне годится, — с некоторой грустью подумал Карач-мурза, поглядев на жену. По существу это было верно: ему уже минуло пятьдесят шесть. Волосы и коротко подстриженная борода его были почти седы, но фигура сохранила свою стройность, и синие глаза были ясны, как прежде. Стариком он себя не чувствовал, и до сих пор никто из встречных людей еще не назвал его аксакалом. — Ну, что же? Аллах к нам милостив — живем дружно, да и сын у нас, сразу видно, растет богатырь. А остальное разве важно?

Он с привычной сноровкой повязал голову белой шелковой чалмой, заколол ее спереди застежкой с большим рубином и, пристегнув к поясу драгоценную

[1] Бехтибек — один из младших сыновей Тохтамыша.

саблю, подаренную ему в день свадьбы Тимуром, спросил:

— Конь готов?

— Готов, пресветлый оглан, — ответил помогавший ему одеваться Нух.

Коротко простившись с Хатедже и кивнув сыну, Карач-мурза вышел из шатра. Стойбище Тохтамыша было разбито на живописном берегу Днепра, в нескольких верстах от Киева. Сам хан тоже находился здесь, хотя ему, его семье и свите князь Витовт предлагал разместиться в замке. Но врожденная недоверчивость Тохтамыша заставила его отклонить это предложение под тем предлогом, что только находясь при своем войске он сможет быть спокоен за то, что его татары сохранят дисциплину и ничем не обидят местных жителей.

Сегодня надо было ехать на переговоры с Витовтом. И хотя Тохтамыша сопровождало не менее сотни приближенных, в самом совещании, по предварительному уговору, кроме двух монархов, должен был принимать участие только Карач-мурза — в качестве переводчика, ибо обыкновенному толмачу нельзя было доверить столь важных тайн.

По берегу Днепра кавалькада въехала в город и, миновав его, стала подниматься в гору, к южным воротам замка, носившим название Драбских. Другие его ворота, Воеводины, выходили на север, но с той стороны подъём был настолько крут, что дорога местами была вырублена в виде лестницы и подняться по ней после сильного дождя или во время гололедицы было очень трудно даже пешему.

Замок представлял собой неприступную крепость, которую можно было взять только на измор, путем долгой осады. Стены его, имевшие около двух верст в окружности, были сделаны из четырехсаженных дубовых городниц, с наружной стороны обмазанных толстым слоем глины. По верху шло деревянное заборало, со скважнями для стрельбы, и на равных расстояниях друг от друга высилось десятка полтора бревенчатых, крытых шатровыми крышами шестигранных башен, с тремя рядами бойниц каждая[1].

Едва конь Тохтамыша, ехавшего впереди других,

---

[1] Описание этого замка, уничтоженного в конце XVII века, оставили нам польские историки, а зарисовки — голландский художник Ван-Вестерфельд.

ступил на площадку перед рвом, со стен замка ударил приветственный залп из пушек. Затем, под грохот барабанов, опустился подъемный мост, и хан со свитой торжественно въехал в распахнувшиеся перед ним ворота. Его глазам представилась довольно обширная площадь, посреди которой стоял католический костел, а по бокам три православных церкви, которых тут еще не решились закрыть, и несколько приземистых деревянных зданий. В дальнем конце высился бревенчатый двухъярусный дворец, к крыльцу которого, от самых въездных ворот вела дорога, обозначенная двумя рядами вооруженных копьями воинов, поставленных для почетной встречи.

Привычной рукой сдерживая своего возбужденного пушечной пальбой арабского жеребца, Тохтамыш медленно двинулся вперед по этой живой улице. В трех шагах за ним следовали его старшие сыновья — Джелал ад-Дин и Керим-Берди, а с ними и Карач-мурза; остальная свита красочной россыпью растянулась сзади.

Когда хан приблизился к дворцу, на его высоком крыльце, окруженный десятком приближенных, появился великий князь Витовт, в белом атласном кунтуше с золотым шитьем и в такой же шапочке, украшенной пером серебристой цапли.

Тохтамыш легко соскочил с коня и стал подниматься на крыльцо, в то время как Витовт с него спускался. Встретившись на площадке, посреди лестницы, монархи обнялись под приветственные крики народа и на минуту замерли так, легонько похлопывая друг другу по плечам и спине. Затем Витовт взял гостя под руку и увлек во дворец. Карач-мурза и оба царевича последовали за ними.

* *
*

— Хотя только сегодня Аллах даровал мне счастье тебя увидеть и обнять, как брата, великий и благородный князь, я всегда был тебе верным другом, — говорил Тохтамыш, когда трое участников совещания уединились в рабочей горнице Витовта, украшенной оружием и охотничьими трофеями. — Ты это сам знаешь. Я никогда не поднимал против тебя оружия. Многие русские земли, которые платили Орде дань, потом ото-

шли к Литве; когда король Ягайло был литовским князем, я заставлял его платить мне за эти земли. Но с тебя я ничего не хотел брать и даже никогда не напоминал тебе об этом.

Карач-мурза перевел слова хана на русский язык, которым отлично владел Витовт. Последний, выслушав их, внутренне улыбнулся. «Еще бы ты стал мне об этом напоминать, когда последние годы только и успевал, что бегать от Тимура», — подумал он, но вслух сказал:

— Я видел и понимал это, великий хан. У нас есть общие враги, и перед лицом этих врагов нам всегда нужно оставаться друзьями. И потому я не только ценю твою дружбу, но и тебе готов доказать свою.

— Твои слова льются в мое сердце потоком радости, князь. Я знал, что ты мудр и великодушен и потому сейчас, в минуту несчастья, я здесь, у тебя.

— Ничья жизнь не слагается из одних удач. Но всякую беду можно поправить, особенно если у человека есть верные друзья. Говори, хан, чем я могу помочь тебе?

— Мне нет надобности много говорить, князь: ты сам знаешь, чем Аллах покарал Орду в эти последние годы. Если бы моими врагами были только те, кто, подобно Тимуру, шел на меня с оружием в руках, они были бы побеждены и уничтожены. Но более страшные и подлые враги находились вокруг меня, среди моих военачальников. Эти неблагодарные люди, которых я возвысил и осыпал милостями, предавали меня на каждом шагу, в каждой битве. Многие из них уже заплатили за это своими головами. Но самый коварный из этих врагов не только жив, но и захватил, попустительством Аллаха, власть в Орде. И вот, я приехал к тебе просить помощи против него.

— Ты говоришь о Кутлук-Тимуре, великий хан?

— Кутлук-Тимур сам по себе ничто, и мне хватило бы трех туменов войска, чтобы избавиться от него навсегда. Я говорю об Идику, который стоит за его спиной и, не показывая своего лица, управляет и Кутлуком и всей Ордой.

— Тебе известно, сколько у них войска? — после небольшого молчания спросил Витовт.

— Когда мне пришлось уйти из Крыма, у них было десять или одиннадцать туменов. Но за это время они могли собрать еще столько же.

— И сверх того, если им будет нужно, они получат помощь от Хромого Тимура...

— Нет, князь, этого мы можем не бояться. Они изменили Тимуру, как прежде изменили мне, и он им ни в чем не поможет.

— Ну, а какими силами располагаешь ты?

— Здесь со мной немного больше трех туменов. И еще три или четыре мои люди приведут из верных мне улусов.

— Значит, чтобы обеспечить победу, тебе нужно еще тысяч полтораста воинов, — промолвил Витовт. — Много... У меня сейчас и половины того не наберется. Эх, будь ты христианином, было бы иное, — помолчав, добавил он, и его серые, с хитринкой, глаза из-под густых, вразлет бровей пытливо уставились на хана. — Тогда и король Ягайло помог бы, и великий магистр. А за «неверного» никто из них сражаться не захочет...

— Я уже думал об этом, князь, — сказал Тохтамыш, поглядев на Карач-мурзу и, как ему показалось, прочтя в его глазах одобрение. — Аллах от меня отвернулся, он помогает теперь моим врагам, а не мне. Может быть, ваш Бог будет ко мне милостивей... Если христианские цари и князья помогут мне победить моих врагов и утвердиться в Сарае, клянусь тебе: когда я снова буду единым повелителем Великой Орды, я приму христианскую веру и заставлю весь мой народ принять ее.

— Я рад это слышать, хан! И, поверь, так будет лучше и для тебя, и для Орды. Вы, татары, великий и храбрый народ, вам давно пора приобщиться к истинной вере и стать нашими братьями. Римский первосвященник даст тебе королевскую корону и благословит оружие тех, кто придет к тебе на помощь. У нас будет достаточно войска, чтобы сокрушить всех твоих врагов и утвердить тебя на царстве в Орде. Я это на себя беру, и можешь мне верить. Но когда ты вновь обретешь власть и могущество, могу ли я тоже рассчитывать на твою помощь в некоторых моих делах?

— Клянусь тебе в этом, достойнейший князь! Говори, что я должен сделать, и если это будет в моей власти, считай, что ты уже достиг желаемого!

Витовт помедлил. Разумеется, он заботился, прежде всего, о своей собственной выгоде и давно обдумал те условия, на которых стоило помочь Тохтамышу возвратиться на ордынский престол. И принятие Ордой

католичества было далеко не самым важным из них, хотя и оно обеспечивало ему благосклонность папы и королевскую корону. Сам же Витовт, за свою сорокавосьмилетнюю жизнь успевший уже три раза переменить религию, был к вопросам веры совершенно равнодушен.

История его жизни была необычна с самого рождения. Его отец, Кейстут, будучи язычником, как-то посетил на Жмуди знаменитый храм богини Прауримы в городе Полонге и тут, увидев прекрасную вайделотку[1] Бируту, влюбился в нее без памяти. Посвященная богам, она не имела права на замужество, но это Кейстута не остановило: он увез ее силой и женился на ней. Первенцем от этого брака, оказавшегося, между прочим, очень счастливым, был Витовт.

С юных лет он испытал немало превратностей судьбы. Когда в борьбе с Ягайлом погиб его отец, а сам Витовт был схвачен и заточен, он сумел бежать, переодевшись в платье служанки, и нашел прибежище у Тевтонских рыцарей. Они обещали помочь ему против Ягайла, если он примет католичество. Витовт на это без колебаний согласился, получив при крещении имя Виганда.

Началась война, на которой выгадывали только рыцари, беспощадно грабившие Литву, а потому два года спустя Витовт на довольно выгодных условиях помирился с Ягайлом и обратил свое оружие против тевтонов. Очевидно, желая подчеркнуть свой полный разрыв с Орденом, он перешел в православие, с именем Александра.

Однако три года спустя, когда Ягайло, сделавшись католиком и польским королем, объединял Литву и Польшу в одно государство, Витовт с такой же легкостью отрекся от православия и возвратился в католичество, что при новых порядках было несравненно выгоднее.

Первый этап борьбы с Ягайлом закончился для него весьма удачно: он получил громадный удел, в который входили княжества Гродненское, Трокское и Бельское, почти вся Волынь и города Брест, Дорогочин, Сураж, Каменец и Волковысск, со своими областями.

Но честолюбивый Витовт этим не удовлетворился.

---

[1] Вайделоты — жрецы литовских языческих богов, хранители священного огня.

Сочетая в себе ум, хитрость и отвагу с качествами дальновидного и очень гибкого политика, он продолжал борьбу, опираясь то на католический Тевтонский Орден, то на православных князей, недовольных католиками, то на языческую Жмудь, которая относилась к нему с симпатией и доверием, как к сыну князя Кейстута, боготворимого жмудинами. Выдав свою дочь Софию за великого князя Московского Василия Дмитриевича, он установил дружественные отношения с Русью, так что, в случае надобности, мог рассчитывать и на ее помощь.

Дела Ягайлы складывались плохо, и в 1392 году он вынужден был признать Витовта великим князем всей Литвы, сохраняя над ним верховную власть в качестве короля объединенного Польско-Литовского государства. Но эта власть была почти номинальной, на деле же Витовт распоряжался в Литве совершенно самостоятельно. Однако он и на этом не успокоился: к своим владениям, которые помимо Литвы уже охватывали почти все земли бывшего княжества Черниговского, Киевщину и Волынь, в течение трех следующих лет он присоединил княжества Витебское и Смоленское, а еще год спустя Ягайло вынужден был уступить ему и всю Подольщину. Теперь границы Литвы на западе соприкасались в Венгрией, а на Востоке — с татарской Ордой.

Но вожделения Витовта простирались еще много дальше: в мечтах он уже видел себя королем огромного государства, в которое войдут Псков, Великий Новгород, княжества Тверское и Рязанское, а может быть и все другие русские земли. Правда, для этого придется вступить в жестокую и трудную борьбу с Москвой. Но разве сама судьба, которая до сих пор была к нему неизменно милостива, не посылает ему сейчас случай создать себе могущественного союзника, при помощи которого можно будет достигнуть даже того, о чем он до сих пор и мечтать не отваживался?

Будет ли только благоразумно уже сейчас открыть Тохтамышу свои карты? Может быть, хитрый татарин, вероломно обманувший Тимура, заплатив ему за помощь предательством, точно так же поступит и с ним, с Витовтом? Но Тохтамыш, как бы прочитав его мысли, сказал:

— Теперь у меня нет и не будет друзей, кроме тебя, князь. Москва только и думает о том, как бы сбросить совсем власть Орды, а Тимур меня ненавидит, и от него я ничего не могу ожидать, кроме зла. Твоя дружба и

твоя помощь мне будут нужны всегда, и потому я готов сделать все, что ты захочешь, чтобы сохранить их.

— В этой дружбе залог и твоего и моего могущества, великий хан, — медленно сказал Витовт, поняв, что Тохтамыш говорит правду. — И если она не будет нарушена, мы с тобой поделим власть над всеми землями, от Вислы до Иртыша и до Сырдарьи. Я тебе помогу возвратиться на престол в Сарае и снова стать властелином над всеми улусами Золотой и Белой Орды. Но, когда ты будешь силен, как прежде, ты мне поможешь овладеть русскими землями и сесть на царство в Москве.

ГЛАВА XXIII

«Люди сходны между собою в плохом, а отличают их друг от друга только хорошие качества и степень воздержания от пороков».

Ибн-Халдун

Вечером того же дня Витовт устроил празднество и пир в честь высоких гостей. В большой трапезной княжеского дворца, которая была невелика по своим размерам, за богато убранными столами поместилось человек семьдесят представителей высшей знати — литовской, татарской и русской. Народ попроще пировал прямо на площади перед дворцом, освещенной огромными кострами и факелами.

Тут жарились на вертелах целые туши домашних и диких животных и птиц, на столах громоздились горы нарезанного хлеба и во множестве стояли расписные глиняные чарки, а на площади, в разных местах, были расставлены бочки с вином, горилкой и медом, из которых каждый черпал, что ему было любо.

В трапезной, освещенной десятками свечей, столетние меды и дорогие вина лились рекой и царило неподдельное веселье. Радовались гости, радовались и хозяева, ибо состоявшееся соглашение было обоюдно выгодным: оно сулило и Витовту и Тохтамышу то, к чему каждый из них стремился. Но оба они в своих затаенных мечтах шли уже гораздо дальше.

Кто бы не оказался в конце концов на московском престоле, — пусть даже Витовт, Тохтамыш в тайниках

души твердо рассчитывал удержать верховную власть над Русью, в чем, если понадобится, — думал он, — ему помогут польский король и тевтонский магистр, которые вовсе не хотят чрезмерного усиления Витовта, а к тому же всегда были врагами Руси.

Витовт, в свою очередь, был уверен в том, что сделавшись при помощи Тохтамыша единым государем Литвы и Руси, он сумеет подчинить себе татарского хана и таким образом распространить свою власть на все земли Золотой и Белой Орды.

Все же в этот вечер все здесь казались искренними друзьями, и с обеих сторон было поднято много здравниц, которые Карач-мурза, нарочно посаженный между Тохтамышем и Витовтом, переводил с татарского языка на русский и наоборот.

— Диву я даюсь, слушая тебя, царевич, — обратился Витовт к Карач-мурзе, когда уже было много съедено, а еще больше выпито. — Ты по-русски говоришь, словно бы всю жизнь на Руси прожил, да и лицом на татарина не похож ни мало. И не знай я наверное, что ты родич близкий великому хану, никогда бы не поверил тому, что ты ордынец.

— Моя мать татарка, князь, а отец был русский.

— Вот оно что! Значит, в него ты и удался. Как же так случилось, что при русском отце ты стал татарином?

— Спасаясь от врагов, которые были сильнее его, пришлось ему покинуть свою отчину и искать прибежища в Белой Орде. Там он женился, там и умер, когда мне еще и году не было.

— Экое дело! А кто же он был-то, родитель твой?

— Был он князем земли Карачевской, а звали его Василием Пантелеевичем. Воровством отняли у него стол родичи его, Козельские князья, — с того все это и пошло.

— Слыхал я про тот случай, хотя и давно это было. Так ты, стало быть, из рода Карачевских князей! Как же тебе доводится князь Иван Мстиславич, что ныне сидит в Карачеве?

— По двоюродной ветви он мне племянник, княже.

— Добрый человек, хотя будто и ворог твой, по делам отцов, — хитровато улыбнулся Витовт, наполняя кубки себе и Карач-мурзе из стоявшей перед ним се-

ребряной ендовы[1]. — Женат он на воспитаннице моей, Гольшанской княжне Юлиане, потому и не трогаю его пока, хотя всех иных русских князей в государстве своем я уже согнал со столов, ибо наскучили мне их свары. Земли им оставил много, но то уже не княжества, а поместья, и войска держать никому из них не позволяю. Так оно спокойней и мне, и им.

Витовт говорил правду, но объяснял ее не полностью. В первые же годы своего великого княжения на Литве он упразднил в ней почти все удельные княжества, превратив их в воеводства, поветы и волости, во главе которых отнюдь не всегда оставались бывшие князья. Но мероприятие это было вызвано вовсе не тем, что Витовту надоели распри и претензии удельных князей: приняв католичество и обязавшись, по уговору с Ягайлом, насаждать его в литовско-русских землях, он ожидал сопротивления со стороны православных князей и потому заранее постарался их по возможности обезвредить, лишив права иметь вооруженные воинские силы и обратив в простых, хотя и очень крупных, помещиков, которые оказались в подчинении у поставленных им воевод и поветовых старост. Он даже распорядился, чтобы в государственных грамотах и списках их имена писались без княжеского титула.

Князь Иван Мстиславич Карачевский находился в несколько лучшем положении, чем другие: благодаря своей женитьбе на любимице Витовта[2], он не был лишен удела и еще считался владетельным князем, хотя и был урезан в правах, подобно всем прочим русским князьям.

— Так что ты, по сути, старший в роду Карачевских князей, — продолжал Витовт, — и ныне надлежало бы тебе сидеть в Карачеве. Ну, да в том было бы тебе не много корысти: в Орде ты, поди, много большим уделом володеешь?

— Володел, князь, — усмехнулся Карач-мурза. — А ныне и показаться там не могу.

— Ну, о том не печалуйся! Вот побьем теперь ваших ворогов и не только свое вернешь, а еще больше получишь.

---

[1] Ендова — сосуд для напитков в виде круглой вазы, с носиком для наливания чарок

[2] Впоследствии, когда они овдовели, князь Витовт женился на ней.

— Да услышит тебя Аллах, князь.

— А в земле отцов своих ты когда-либо бывал? — спросил Витовт.

— Был однажды, в молодых годах, когда княжил там Святослав Титович,— ответил Карач-мурза.

— Дед князя Ивана? Ну, при нем было иное, а сейчас совсем захирел Карачев: стены пообвалились, обветшали дома, народ подевался невесть куда— поглядеть не на что! Отжили свое старые княжества, ныне уже иное идет им на смену.

Карач-мурза промолчал, хотя ему и хотелось спросить своего собеседника: почему же это старые княжества, процветавшие во времена Ольгерда, который прекратил в них усобицы, но никогда не посягал на их бытовой уклад, всего за двадцать лет, прошедших со дня его смерти, так захирели и обезлюдели?

Впрочем, спрашивать Витовта об этом, а также и о том, что именно идет теперь на смену прошлому, у Карач-мурзы не было надобности: за несколько дней до этого ему довелось беседовать с киевским епископом, от которого он знал правду. Старец горько жаловался на то, что православное население Литвы терпит все более жестокие утеснения и несправедливости, не говоря уж о том, что на смену старым русским порядкам, которые соблюдал Ольгерд, теперь пришли польские, несравненно более тяжелые для народа.

На Руси зависимый крестьянин в ту пору работал на барщину три дня в неделю, а в Польше, где свободных крестьян вообще не было, ибо все они были прикреплены к земле, принадлежавшей помещикам, барщина была доведена до пяти дней, причем зимой надо было работать одиннадцать часов в день, а летом шестнадцать. Стократ тяжелее были там и налоги, а потому неудивительно, что под гнетом всех этих перемен, разорявших население русско-литовских удельных княжеств, народ из них начал бежать в Московскую Русь или в низовые, свободные земли, где в те годы стало зарождаться вольное казачество.

— Прежде было так, — пояснил свою мысль Витовт, видя, что Карач-мурза молчит, — землей владели мелкие князья и были они друг другу истинно волками. Но потом пришли львы и передушили волков. Ныне настало время львов, царевич.

— И теперь львы будут душить друг друга? — улыбнулся Карач-мурза.

— Не токмо будут, а уже душат. Те, что послабее, погибнут, а сильные поделят власть и землю. К тому идет.

— У нас говорят: льва может победить и лисица, если найдет правильный способ.

— Так оно и есть! И одолеет не тот, у кого крепче когти и зубы, а у кого лучше голова. Ты слыхал сегодня, о чем договорились мы с ханом Тохтамышем и, должно быть, сам уразумел, что одной силой того не достигнешь: нужен и светлый разум. Коли хан, снова сев в Сарае, не заплывет жирком и не позабудет о том, что клялся мне в дружбе навеки, крепка будет его власть в землях Орды, а моя на Литве и на Руси. Ты ему близок, царевич, и коли будет нужно, укрепи его в этом, а я тебя тоже не забуду. Мало ли что может случиться у вас в Орде? Так вот, ежели придется тебе когда-нибудь плохо, приезжай прямо ко мне и в обиде не останешься. Земля твоих отцов ныне под моей властью и потому ты для меня как-никак свой. На княжение тебя не посажу, ибо покончил я с этим, но поместье дам такое, что не всякий князь у меня имеет.

— На добром слове тебе спасибо, пресветлый князь, — промолвил Карач-мурза, которому внезапно вспомнились предсказания митрополита Алексея и колдуна Ипата. — Никто не знает, что ждет его впереди. Может быть, судьба меня заставит напомнить тебе об этом великодушном обещании.

ГЛАВА XXIV

> «И беша Едигуй преболе всех иних князей ордынских, лукавый и злохитрый, крепок и храбр зело, иже все царстве держаша един и по своей воле царя поставляша, его же хотяща».
>
> *Рогожский летописец*

Едва закончились переговоры и завершившие их празднества, Тохтамыш, со своей семьей и приближенными, уехал в город Лиду, который Витовт предоставил ему для жительства вместе со всеми окрестными землями и городскими доходами. Пришедшим с ним воинам-татарам и прибывающим из Орды пополнениям были

отведены хорошие пастбища в пограничной полосе, возле города Черкасы.

Позаботившись, таким образом, о своем союзнике, сам Витовт, не теряя времени, начал готовиться к большой войне. Дело шло успешно. За лето к Киеву, возле которого собиралось войско, к тем немалым силам, которыми Витовт уже располагал, подошли ополчения, собранные в Подольщине и на Жмуди. Волошский господарь, бывший в ту пору вассалом Литвы, готовил рать в помощь Витовту. Узнав о том, что в случае победы Тохтамыш поклялся обратить Орду в католичество, король Ягайло и великий магистр Конрад фон Юнгинген, не желая упустить свою долю славы и папского благоволения, тоже обещали прислать в помощь отряды.

Чтобы заранее подорвать дух противника, Витовт, с той частью войска, которая уже была в сборе, осенью совершил поход в низовья Днепра и Дона. Он доподлинно знал, что местные татарские князья не располагают крупными силами, а потому не рисковал ничем, и победа далась ему легко, хотя и не принесла особых результатов. Опустошив южные улусы Орды и угнав с собой стада захваченных у татар коней и овец, зимой он возвратился в Киев.

В Сарае этот набег вызвал переполох. Приписав его подстрекательству Тохтамыша и хорошо понимая, что это только начало, за которым последуют более серьезные действия Эдигей и Кутлук-Тимур спешно приступили к пополнению своего войска.

Весной к Витовту прибыло ордынское посольство, которое, именем великого хана Кутлук-Тимура, потребовало выдачи Тохтамыша. Витовт принял послов высокомерно и ответил, что об этом не может быть и речи, ибо великим ханом Золотой и Белой Орды является именно Тохтамыш. И далее, в свою очередь потребовал, чтобы Кутлук-Тимур подчинился своему законному повелителю, угрожая в противном случае войной.

Получив такой ответ, хан Кутлук, находившийся в Сарае, растерялся. Он понял, что подобным тоном может говорить только противник, совершенно уверенный в своей силе, а потому, не зная, что теперь предпринять, сейчас же отправил гонца к Эдигею, который в это время собирал войска в Зауралье. Эмир эмиров[1]

[1] Эмир эмиров — у татар титул верховного главнокомандующего.

ответил, чтобы Кутлук со всеми наличными силами немедленно подступил к рубежам Литвы, куда и сам обещал подойти к середине лета с собранными пополнениями.

В июле Кутлук-Тимур, с тринадцатью туменами войска, разбил свой стан на левом берегу реки Ворсклы, намереваясь ожидать здесь подхода Эдигея. Но раньше того подошел со своей ратью Витовт и стал на правом берегу, напротив татарского стана.

Кутлук такой возможности не предусмотрел и теперь, очутившись один на один с противником, который был много сильнее, совершенно пал духом и не знал, что делать. Войска у Витовта было почти в два раза больше, чем у него, и притом оно было обильно снабжено пушками и пищалями, которых у татар почти не было.

Если бы литовский князь немедленно начал битву, он без всякого труда разгромил бы Кутлука. Но он не знал того, что перед ним стоит не вся орда и что сюда вскоре должен подойти Эдигей, а потому, видя огромное превосходство своих сил, он не спешил начинать сражение, надеясь, что устрашенный противник и так согласится на все его условия.

Разумеется, Кутлук-Тимур, со своей стороны, не проявлял никакой воинственности и думал только о том, как бы выгадать время и дождаться прихода Эдигея. Вступать первым в переговоры он, однако, не хотел, понимая, что какие бы уступки он ни предложил, Витовт обязательно будет требовать бо́льшего. Благоразумнее было подождать, чего потребует Витовт, и потом начать торговаться, по возможности затягивая время.

Витовт, между тем, выбрал очень удобную позицию, хорошо ее устроил, затем тщательно разведал все ближайшие броды и возле каждого из них поставил на своем берегу сильную охрану и по две пушки. За всеми этими делами прошло три дня, и только на четвертый к Кутлук-Тимуру явились его послы. Витовт требовал признания Тохтамыша великим ханом, немедленной передачи ему командования над татарским войском и уплаты большого откупа.

Кутлук попросил три дня на размышление, ссылаясь на необходимость посоветоваться со своими военачальниками. А по истечении этого срока ответил, что его эмиры и войско не согласны подчиниться Тохтамы-

шу, но что оставаясь великим ханом Золотой Орды, он, Кутлук-Тимур, готов признать себя вассалом литовского государя и платить ему дань.

Тогда Витовт, не возражая против этого, поставил четыре дополнительных условия: чтобы Тохтамышу была передана власть над Белой Ордой; чтобы в Сарае сидел литовский наместник, который вместе с ханом будет решать все государственные дела; чтобы монету в Орде впредь чеканили с изображением Витовта и, наконец, чтобы хан Кутлук оставил ему в залог своего сына Тимур-Султана.

К этому Витовт добавил, что ответа будет ожидать до следующего утра, и одновременно приказал ко всем бродам подвести сильные отряды войска, готовые в любую минуту начать переправу.

Положение хана Кутлука было отчаянным. Он понимал, что если примет позорные условия Витовта, Эдигей ему этого не простит и поднимет против него всю Орду. А если не примет, завтра его ждет жестокое поражение, может быть, даже плен и выдача Тохтамышу, его смертельному врагу.

Не зная, на что решиться, около полуночи он отдал приказ, соблюдая тишину, начать отход. Но вскоре сообразил, что до рассвета все отступить не успеют и что, разбросав своё войско, он только облегчит неприятелю победу. Отменив свое распоряжение, он решил выбрать из двух зол то, которое казалось ему меньшим: согласиться на все требования Витовта и тем, по крайней мере, обеспечить себе его поддержку против Эдигея.

Было уже далеко за полночь, когда придя, наконец, к этому, он отпустил слуг из своего шатра и прилег на постель, намереваясь уснуть. Но не успел сомкнуть глаз, как услышал быстро приближающийся конский топот, который замер у его шатра, и через минуту перед ханом предстал эмир Эдигей.

— Да воссияет имя Аллаха над всей вселенной! — воскликнул Кутлук, вскакивая с постели. — Наконец-то ты приехал, эмир!

— Я задержался, потому что когда ты ушел в поход, Сарай осадил хан Куюрчук. Узнав об этом, я свернул со своего пути и навел там порядок. Куюрчук бежал, войско его рассеяно. А что происходит здесь?

Кутлук-Тимур, изрядно преувеличивая силу литов-

ского войска, рассказал о событиях последних дней и о ходе своих переговоров с Витовтом.

— Значит, эта литовская собака осмеливается требовать, чтобы Великая Орда признала его своим господином? И чеканила деньги с его поганой мордой! — выслушав все, промолвил Эдигей. — Что же ты решил завтра ему ответить, хан?

— Если бы ты не приехал, эмир, пришлось бы соглашаться на все. Я и так тянул сколько мог, ожидая тебя. Но если ты привел много войска...

— Я собрал шесть туменов, но три из них должен был оставить в Сарае, потому что Куюрчук может снова напасть на город. Остальные три тумена завтра к полудню будут здесь. Я обогнал их и прискакал сюда с десятком нукеров, когда узнал, что тут происходит.

— Три тумена — это очень мало, эмир. У Витовта и Тохтамыша войска наполовину больше, чем у нас. И у них много пушек...

— И что ты думаешь делать, хан?

— Я думаю, что надо соглашаться на то, чего требует литовский князь. Так мы, по крайней мере, спасем свое войско. А имея войско, потом можно будет повернуть дело по-другому.

— Я бы хотел, чтобы у меня отвалились уши прежде, чем я услышу от тебя такое, хан!

— Ты забываешь, с кем говоришь, эмир!

— Я говорю с человеком, который стал называться великим ханом потому, что он показался мне достойным этого[1]. Но если я захочу, то завтра же этот человек станет прахом.

— Не будем ссориться, эмир. Я знаю все, чем я тебе обязан, и чту тебя как отца. Ты старше и опытней, посоветуй же, что мне завтра ответить князю Витовту?

— Утром я сам дам ему ответ. Ты услышишь, как надо разговаривать с наглецами, если даже за их спиной стоит большое войско.

---

[1] Сам Эдигей, не будучи чингизидом, не мог вступить на престол.

ГЛАВА XXV

> «Князь великий Витовт Кейстутьевич Литовьский, собрав вои многи, с ними же бе и царь Тохтамишь со своим двором, а с Витовтом — Литва, немцы, ляхи, жемоть, татарове, волохи и подоляне. Единых князей с ним бе числом 50 и бысть сила ратных велика зело.
>
> «И приде на царя Темирь-Кутлуя и сретишися на Воръскле и бысть им бой велик месяца августа в 12 день».
>
> *Московская летопись*

Сразу же после разговора с Кутлук-Тимуром Эдигей послал своим трем туменам приказание идти не прямо к общему стану, а забрать влево и остановиться в степи, не доходя полутора фарсахов до Ворсклы. Другие три тумена одновременно были отправлены из лагеря Кутлука на такое же расстояние вправо, с тем чтобы к рассвету быть на указанном месте и по возможности укрыться в каком-нибудь овраге или за рощей.

День двенадцатого августа родился ясным и солнечным. Когда над Ворсклой рассеялся утренний туман, противники увидели один другого в таком же положении, как накануне: литовское войско было сосредоточено у бродов, татарское, не принимая боевого порядка, стояло в версте от берега. Правда, Витовту показалось, что татар стало меньше, но заметив, что в их стойбище сейчас сложены почти все шатры, накануне покрывавшие значительное пространство степи, он приписал это простому обману зрения.

До девяти часов он ожидал послов Кутлук-Тимура, но они не появлялись и, наконец, потеряв терпение, Витовт сам отправил к нему князя Андрея Ольгердовича Полоцкого, который находился в его войске, наказав требовать от хана немедленного и точного ответа на предъявленные ему условия.

В татарской ставке князя Андрея принял Эдигей.

— Великий хан Кутлук-Тимур сейчас занят и не может сам говорить с тобой, — сказал он, небрежно похлопывая нагайкой по сапогу. — Но я его эмир эмиров, и он поручил мне передать тебе его ответ князю Витовту.

— Я слушаю тебя, эмир, — промолвил Андрей Ольгердович.

— Хан говорит, что если литовский князь хочет сохранить мир с Ордой и спасти свою землю от разорения, он должен признать его, великого хана Кутлук-Тимура, своим отцом и господином и платить ему дань.

— Я не для шуток сюда прислан, эмир, — воскликнул князь Андрей, едва обретая дар речи от изумления. — Говори дело!

— Это и есть дело, — невозмутимо сказал Эдигей. — Шутки были тогда, когда хан Кутлук-Тимур говорил другое, но я вижу, что ваш князь этого не понял. Скажи ему еще, что мы требуем, чтобы он выдал нам нашего врага, хана Тохтамыша, и его старших сыновей — Джелал ад-Дина и Керима-Берди.

— Может еще что-нибудь? — насмешливо спросил князь Андрей.

— Да, есть еще одно, — ответил Эдигей, делая вид, что не замечает в словах посла насмешки. — Великий хан желает, чтобы деньги на Литве теперь чеканились с его именем [1].

— Не знаю, должен ли я верить своим ушам, эмир! Ты вправду говоришь все это от имени хана Кутлук-Тимура?

— Да, князь. И от своего имени тоже.

— Ну, тогда послушай, что я тебе скажу: молод еще хан Кутлук-Тимур, чтобы великий государь Литвы признал его своим отцом и господином, либо имя его стал чеканить на своих деньгах! Доселева речь у них была об обратном, и хан ваш на то уже, почитай, соглашался.

— Аллах! Разве мы виноваты в том, что князь Витовт не понимает шуток? Хану нечего было делать, и он от скуки потешался над вашим князем. Ты сказал правду: хан Кутлук-Тимур еще молод. И если князь Витовт только потому не хочет ему подчиниться, — пускай подчинится мне и чеканит деньги с моим именем: я уже пожилой человек, и это ему не будет обидно.

— Из столь несуразных слов твоих вижу, что вы

---

[1] С именем, а не с изображением, потому что по мусульманским законам воспрещалось воспроизводить изображения людей или животных в скульптуре или рисунках — это считалось кощунственной попыткой подражать Богу в деле творения. Вот почему на мусульманском Востоке совершенно отсутствуют памятники подобного рода.

ищете битвы. И тому дивлюсь, что ты, эмир, старый и опытный воин, не разумеешь, чем эта битва кончится.

— Я знаю, что ваше войско сильнее, и первым на вас сегодня не нападу. Но если нападете вы, я буду защищаться, и пусть нас рассудит Аллах. Он не всегда посылает победу тому, у кого больше воинов.

— Это твое последнее слово, эмир?

— Да, князь, я сказал все.

* *
*

Витовт был взбешен, когда Полоцкий князь передал ему содержание своего разговора с Эдигеем.

— Неужто ему захотелось сразиться с нами? — воскликнул он. — На какое же чудо он уповает? Воистину Бог отнял разум у старого пса!

— Будь осторожен, князь, — промолвил Тохтамыш, находившийся в шатре Витовта вместе с другими военачальниками. — Идику очень хитер. Он не стал бы так говорить с тобою, если бы что-то не обещало ему победу. Он, наверно, приготовил нам какую-то западню.

— Что он мог приготовить? Из каждого своего воина он двоих не сделает, а сила у нас...

— Государь, татары уходят! — крикнул в это мгновение князь Иван Бельский, откидывая полу шатра.

Все поспешно вышли наружу и с первого взгляда убедились в том, что Бельский сказал правду: вся орда была на конях и, раскинувшись по степи широкой лавиной, уходила с места своей стоянки.

— Ну, вот вам и вся хитрость Эдигея! — воскликнул Витовт. — Наговорил всякого охальства, думая после того сбежать, не приняв боя! Но от нас он далеко не уйдет. Не медля минуты, начинать переправу — конница впереди, пешие полки и пушки за нею!

В это время года Ворскла была здесь не широка, и переправа шла споро. Задние тумены орды были еще хорошо видны вдали, когда вся конница Витовта и Тохтамыша сосредоточилась на левом берегу и пошла в преследование. Пешие воины и пушки двигались сзади, все больше отставая, но Витовта это мало беспокоило: он был уверен в том, что татары, не жалея лошадей, будут уходить до самой темноты, и рассчитывал атаковать их только на рассвете следующего дня,

стянув к тому времени все свое войско к месту их ночевки.

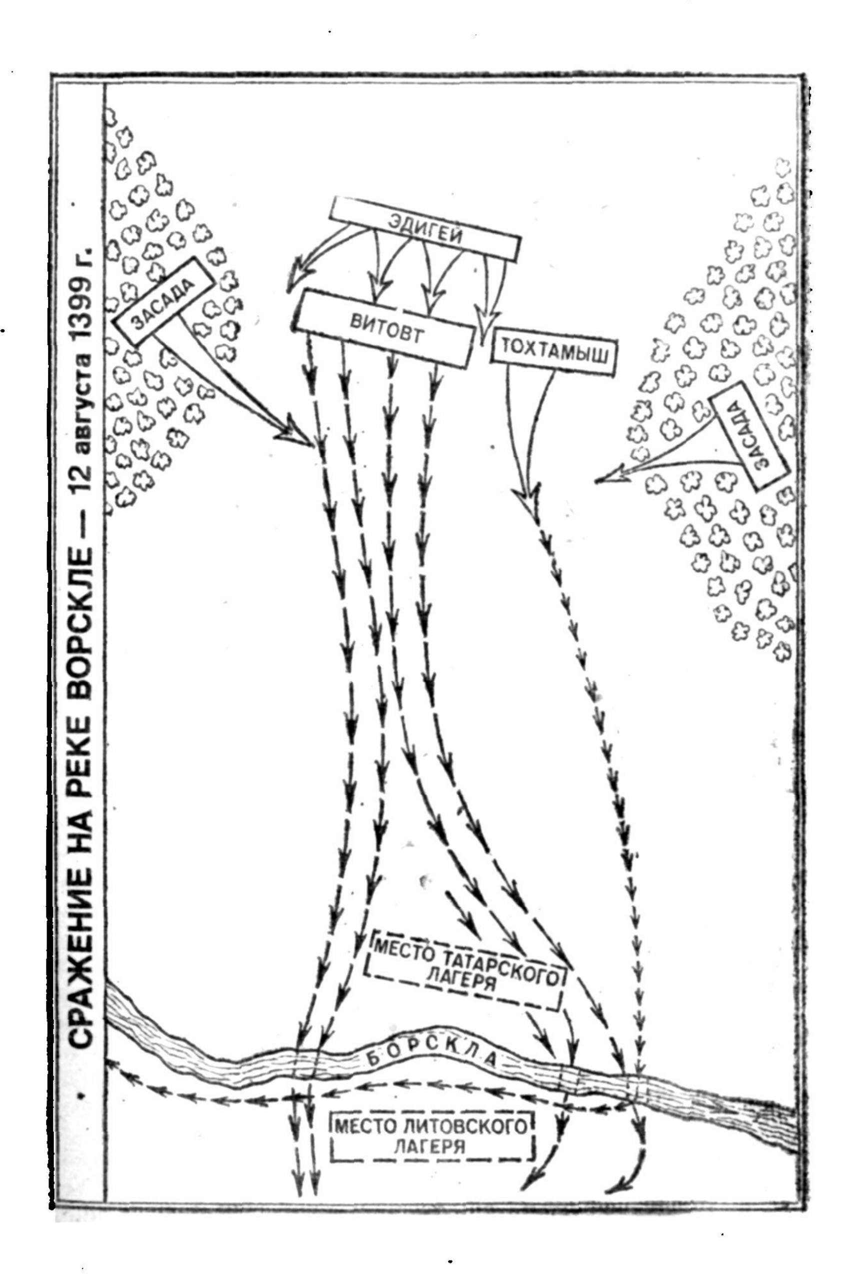
Но велико было его удивление, когда, отойдя от берега верст на десять, татары внезапно повернули коней и с устрашающими криками двинулись навстречу. Впрочем, Витовта это не испугало, а скорее обрадовало: окинув взглядом приближающуюся орду, он сразу увидел, что по численности она значительно уступает его коннице, а потому без раздумия принял бой, не сомневаясь в легкой победе.

Однако иного мнения был Тохтамыш, тумены которого составляли теперь правое крыло литовского войска. Хорошо зная татарские уловки, он понял, что Эдигей нарочно выманил их в степь, заставил оторваться от артиллерии и отнюдь не случайно начал сражение именно на этом месте: тут есть нечто, что дает эмиру эмиров надежду на победу, несмотря на вполне очевидное для него превосходство сил противника. Тохтамыш был настолько уверен в этом, что сейчас же послал Карач-мурзу к Витовту с советом отойти назад, к своим пушкам. Но было уже поздно: едва ускакал Карач-мурза, передовые всадники сшиблись, и по всей линии завязалась ожесточенная сеча.

Сражение развивалось вполне благоприятно для литовцев. Они явно теснили орду, которая вскоре начала подаваться назад и, казалось, вот-вот обратится в бегство. Но вдруг справа и слева от сражающихся в степи почти одновременно показались крупные отряды ордынской конницы, которые, охватывая фланги литовского войска, карьером заходили ему в тыл.

Одним из первых это заметил Тохтамыш, ибо чего-либо подобного он ежеминутно ожидал. Со времен Чингиз-хана заход в тыл неприятеля считался в Орде не только вершиной воинского искусства, но и залогом победы, а потому Тохтамыш, как татарин, больше всего боялся в битве окружения. Сноситься с Витовтом уже не было времени — надо было действовать мгновенно, и потому хан поступил так, как на его месте поступил бы всякий посредственный ордынский военачальник: он повернул свои тумены и во весь опор помчался с ними в тыл, стараясь предотвратить соединение готовых сомкнуться там неприятельских клещей.

Но литовцы поняли это совсем по-иному. «Мы окружены! Татары Тохтамыша бегут!» — раздались повсюду крики, создавая смятение и панику, которыми


СРАЖЕНИЕ НА РЕКЕ ВОРСКЛЕ — 12 августа 1399 г.
ЭДИГЕЙ
ЗАСАДА
ВИТОВТ
ТОХТАМЫШ
ЗАСАДА
МЕСТО ТАТАРСКОГО ЛАГЕРЯ
БОРСКЛА
МЕСТО ЛИТОВСКОГО ЛАГЕРЯ

не замедлил воспользоваться Эдигей: он сразу бросил два или три тумена в прорыв, оставленный Тохтамышем, и одновременно усилил натиск на центр литовского войска. Находившийся здесь Витовт, чтобы избежать охвата справа, хотел закрыть прорыв полком волошского господаря, который стоял за центром, пока не принимая участия в битве. Но, оглянувшись, он увидел, что волохи бегут с поля сражения. Видя, что их окружают и что все вокруг пришло в полное расстройство, вслед за ними ударились в бегство и некоторые литовские полки.

Ордынцы Тохтамыша, между тем, вовремя поспели на угрожаемое место в тылу и вступили в бой с отрядами Эдигея, посланными для окружения. Они не дали этим отрядам соединиться и отрезать путь к реке, но когда увидели, что литовское войско, — как им показалось, все, целиком, — бежит с поля сражения, они бросили все и устремились к Ворскле. Смяв по дороге пехоту Витовта, которая, вместе с пушками, двигалась к месту боя, они первыми доскакали до реки и все успели переправиться на правый берег, прежде чем тут возник обычный в таких случаях гибельный хаос.

Но сражение еще не кончилось: жмудины, во главе с самим Витовтом, князь Лутко Краковский, со своими поляками, и дружины князей Полоцкого и Брянского стояли твердо, сдерживая натиск врага, в то время как несколько князей и воевод, посланных Витовтом, старались остановить бегущих и вернуть их в битву.

Однако все было тщетно. Паника охватывала все большую массу людей, которые перестали повиноваться своим начальникам и, не обращая внимания на окрики и угрозы, рвались к реке. Теперь только одно казалось им важным: добраться до переправы, пока путь к ней не отрезали татары.

Положение тех, кто еще сражался, очень скоро сделалось отчаянным. Ордынцы их окружили со всех сторон и теперь все усилия прилагали к тому, чтобы врубиться в этот живой остров и разрезать его надвое. Вся тяжесть этого удара легла на дружины Полоцкого и Брянского князей, оказавшихся в центре остатков литовского войска.

Князь Андрей Ольгердович, которому уже было семьдесят пять лет, в битве теперь быстро уставал, и это принуждало его к осмотрительности. Но сейчас, видя, что его люди начинают сдавать, он, чтобы ободрить

их своим примером, выехал, как бывало, вперед и в первом ряду рубился с наседающими татарами. Неожиданно он увидел шагах в десяти от себя Эдигея, сидевщего на великолепном вороном коне. Видимо сам эмир не сражался, а только руководил боем, так как в руках у него, кроме нагайки, ничего не было. Указывая ею на Полоцкого князя, он что-то крикнул своим нукерам, и они тотчас бросились вперед.

Оттеснив дружинников Андрея Ольгердовича, они старались схватить его, но старый князь не давался. Один за другим под ударами его меча падали нукеры, которые вынуждены были щадить своего противника, ибо эмир эмиров приказал взять его живым. Наконец, Эдигею это надоело: он снова крикнул что-то, и минуту спустя Полоцкий князь пал под градом посыпавшихся на него сабельных ударов.

Князь Дмитрий Брянский, с десятком дружинников пробивавшийся на выручку брата, находился уже в нескольких шагах, когда это случилось. Ему тоже было за семьдесят, но он был еще могуч и крепок. Сделав последнее усилие, он и его люди устремились вперед и отогнали татар от тела павшего.

Князь Андрей лежал ничком, весь окровавленный; плечи его вздрагивали, пальцы судорожно царапали землю.

— Брат! — крикнул Дмитрий Ольгердович. — Брат! Отзовись, для Бога, коли ты жив!

Не получив ответа, он соскочил с коня и, забывши всякую осторожность, опустился возле умирающего на колени, силясь приподнять его. Но в этот миг метко пущенное одним из татар копье пронзило ему шею, и убитый князь Дмитрий упал на тело брата.

Наконец Витовт, едва сдерживая слезы стыда и ярости, обрел силу признаться себе в том, что битва безнадежно проиграна и что дальнейшее сопротивление обрекает его войско на полную гибель. Он приказал пробиваться к берегу. Это еще можно было сделать, так как при нем оставалось тысяч сорок наиболее стойких бойцов, а татары, находившиеся у него в тылу, рассыпались по всему полю и были заняты ловлей бегущих и грабежом литовского обоза.

Подготовленные своими начальниками, по звуку трубы все сразу повернули коней и, стараясь не разрываться, помчались к берегу Ворсклы, сзади и с боков преследуемые дико вопящими ордынцами, которые ру-

били отстающих и старались заарканить тех, на ком были дорогие доспехи.

Витовт, легко раненный в щеку, вначале скакал в самой гуще своих бойцов и находился в сравнительной безопасности. Но ближе к реке широкое пространство перед ними оказалось усеянным брошенными пушками и повозками литовского обоза — здесь конница Витовта не могла больше двигаться плотной массой и, обтекая эти препятствия, вынуждена была рассыпаться по полю. Это сразу облегчило преследователям возможность выбора — одного за другим они заарканили здесь нескольких литовских воевод, в том числе князей Ивана Бельского и Михаила Ижеславского.

Но вот, пущенная искусной рукой петля взвилась над головой самого Витовта и, затянувшись на золоченом панцире князя, сорвала его с седла. Он попытался вытащить кинжал, чтобы перерезать аркан, но руки, тесно прижатые петлей к туловищу, не повиновались. Еще утром этого рокового дня он считал себя достаточно сильным, чтобы диктовать свою волю владыкам Великой Орды, а сейчас его, как падаль, поволок за собой по пыльной земле простой татарский десятник.

Но почти сразу Витовт почувствовал, что тело его остановилось и конец перерубленного кем-то аркана больно хлестнул по лицу. Понимая, что дорого каждое мгновение, он усилием воли преодолел жестокую боль от ушибов и сразу вскочил на ноги. Мимо него, с саблей в руке метнулся Карач-мурза, тут же ухватив за повод его коня, который, потеряв всадника, замедлил бег и находился еще в нескольких шагах от них.

— Спасибо, царевич! — крикнул Витовт, вскакивая в седло. — Я не забуду, что сегодня ты меня спас от плена. Но как ты здесь очутился? — спросил он, когда они, снова смешавшись с другими всадниками, рядом скакали к реке.

— Прежде чем нас стали окружать, хан Тохтамыш послал меня к тебе с поручением, князь, и я отстал от своих.

— Ты хочешь сказать, что не побежал вместе с ними! Из-за этого проклятого хана... — но чем закончил Витовт, Карач-мурза не дослушал, так как объезжая попавшуюся на пути опрокинутую пушку, он вынужден был отстать от князя.

* *
*

Переправа стоила литовцам неисчислимых жертв. Охваченные паникой, со всех сторон поражаемые вражескими стрелами и огнем, который татары открыли по ним из их же пушек, они тысячами гибли на берегу и тонули в реке. Из всего огромного войска князя Витовта только малой части удалось переправиться через Ворсклу и уйти от погони.

Поражение было полным: весь громадный обоз побежденных, все их пушки и пищали, горы холодного оружия, множество пленных и тысячи коней стали добычей ордынцев. Более ста тысяч воинов Витовта, в том числе девятнадцать князей, не возвратились из этого бесславного похода.

Татары преследовали бежавших по пятам, опустошая все на своем пути. Дойдя до Киева, где укрылись остатки литовского войска, они сожгли Подол и осадили замок, но взять его не смогли и, получив от Витовта большой откуп, возвратились в свои степи, разграбив предварительно всю Киевщину и Волынь.

Торжество Эдигея омрачалось лишь тем, что ему не удалось схватить Тохтамыша. Последний, хорошо понимая, что после такого поражения Витовт ему уже ничем не поможет, не стал ожидать развязки кровавых событий на Ворскле: переправившись через нее на два-три часа раньше других, он поскакал со своими туменами не к Киеву, а к верховьям Дона и дальше, в зауральские улусы Орды. Его никто не преследовал, ибо Эдигей был уверен, что он бежит впереди войска Витовта.

Догоняя его, Карач-мурза, которому удалось выйти невредимым из побоища на Ворскле, мысленно подводил итоги этого страшного дня.

«Воистину непостижимы пути Аллаха, — думал он. — Девятнадцать лет тому назад московский князь Дмитрий Иванович, тоже имея за спиной реку, не дрогнул перед огромной ордой Мамая и разбил ее в прах, хотя войска у него было много меньше, чем у его противника. Как же могло случиться, что сегодня Идику с малыми силами нанес такое страшное поражение войску Витовта, которое имело все преимущества и располагало всем, что нужно для победы?

Наверное, это оттого, что князь Дмитрий Иванович и русские воины стояли за свою землю и потому лучше дрались, а Витовт посягал на чужое... Человек сильнее всего тогда, когда он защищает двери своего дома.

Ну и, кроме того, видно, что когда Аллах раздавал полководцам воинскую мудрость, в мешок князя Дмитрия Он положил много больше, чем в мешок князя Витовта».

ГЛАВА XXVI

> «И еще сразились Идику и Тохтамыш между собою пятнадцать раз. И было так, что раз тот одержит победу над этим, а другой раз этот над тем».
>
> *Ибн-Арабшах*

Поражение на Ворскле имело для Литвы тяжелые последствия, ибо ее ослаблением не преминули воспользоваться все, у кого были с ней счеты. Витовту пришлось навсегда похоронить мечту о владычестве над Русью и над Ордой — сейчас он был бы рад возможности удержать хоть то, что имел, но и это не удавалось.

Последние годы он только на словах признавал над собой верховную власть польского короля, на деле же был независимым государем. Но теперь Ягайло потребовал у него действительного подчинения и прежде всего обязал усилить католизацию Литвы. Это было Витовту невыгодно, ибо создавало ему множество врагов в его собственном государстве, но он вынужден был согласиться, так как ему нужна была помощь Польши против Тевтонского Ордена, который воспользовался удобным моментом и приступил к захвату земли жмудинов. Началась война, которую Витовт в конце концов проиграл, хотя ему и помогал Ягайло. По мирному договору Жмудь отошла к Ордену.

Осенью 1401 года Рязанский князь Олег Иванович с большим войском подступил к Смоленску и, поддержанный восставшим населением, овладел городом. Сидевший там наместник Витовта — князь Роман Брянский и его бояре были перебиты, Смоленское княжество отложилось от Литвы, и там снова сел изгнанный Витовтом Юрий Святославич, зять Рязанского князя.

В течение следующих лет Витовту пришлось вести против Смоленска три войны, чтобы снова подчинить его своей власти. Едва он справился с этим, ему при-

шлось воевать с Москвой из-за Пскова, который он уже считал своим. Эта война тоже была для него неудачна и окончилась тем, что он вынужден был отказаться от каких-либо притязаний на Псковщину.

Немало неприятностей причинял Витовту и Эдигей, который оказался искусным политиком и умело ссорил между собой своих врагов. Дружественные отношения между Литвой и Московской Русью были испорчены именно его стараниями. В войне из-за Пскова принимал участие и ордынский отряд, который Эдигей послал на помощь Московскому князю.

Беспощадно расправившись со всеми непокорными, а затем установив целую систему небывалых налогов и тяжелых повинностей, Эдигею удалось справиться с последствиями нашествия Тимура и на короткое время восстановить былое могущество Орды, которой он управлял самодержавно от имени подставных ханов. По смерти Кутлук-Тимура, умершего через полгода после сражения на Ворскле, Эдигей поставил на его место хана Шади-бека[1], молодость которого позволяла рассчитывать на его полную покорность. Но в этом эмир эмиров просчитался: Шади-бек желал править сам и очень скоро начал делать попытки избавиться от какой-либо опеки. Правда, вначале они были настолько робки и несерьезны, что Эдигей, державший в своих руках всю воинскую силу Орды, до поры до времени на них не обращал внимания.

Укрепив свою власть и создав постоянное войско, которое, по свидетельству среднеазиатских историков, численностью превышало двести тысяч всадников, Эдигей стал помышлять о том, чтобы отнять у Тимура Хорезм. Он уже готовил для этого почву, вербуя и покупая себе сторонников в Ургенче, но приступить к открытым действиям против столь грозного противника, как Железный Хромец, не решался, пока был жив Тохтамыш, который не прекращал борьбы и являлся для Эдигея постоянной внутренней угрозой.

После поражения на Ворскле Тохтамышу удалось благополучно добраться до улуса Карач-мурзы, в Зауралье, где он вскоре значительно пополнил свой отряд и окреп настолько, что смог распространить свою власть на огромную, хотя и мало населенную область,

---

[1] Шади-бек был внуком Урус-хана от его старшего сына Кутлук-Буги.

лежащую между Иртышом и Обью. Он даже пытался основать тут независимое ханство, со столицей в Чингиз-Туре[1].

Для большой войны с Эдигеем сил у него было еще недостаточно. Но эти силы постепенно росли, ибо к Тохтамышу из Большой Орды начали бежать все обиженные и разоренные непосильными налогами, а таких было много.

Эдигей хорошо понимал, что нужно покончить с этим опасным врагом, пока он еще сравнительно слаб и не нашел себе новых союзников. Он посылал против Тохтамыша отряд за отрядом, но до сих пор все было тщетно: при их приближении противник чаще всего скрывался в бескрайних лесах и болотах, не принимая открытого боя, а потом нападал внезапно, хорошо выбрав время и место, и не раз обращал войско Эдигея в бегство. В случае же неуспеха отряды Тохтамыша снова рассеивались в лесных чащах, где преследовать их было невозможно.

Так продолжалось пять лет, в течение которых у Эдигея с Тохтамышем произошло четырнадцать вооруженных столкновений, не считая бесчисленного количества мелких стычек. В этих битвах успех бывал переменным, но самую крупную из них, осенью 1404 года, выиграл Тохтамыш.

Окрыленный этой победой, он решил, что настало время для новой попытки сокрушить врага и вырвать у него власть над Ордой. Обстановка этому благоприятствовала: Тохтамыш знал, что у Эдигея с ханом Шади-беком происходят серьезные трения, грозящие перейти во внутреннюю войну. Знал он и другое: Тимур, обеспокоенный происками Эдигея в Хорезме, относился к нему с возрастающей враждебностью и, наверное, непрочь был бы от него избавиться. Это давало Тохтамышу некоторую надежду на сговор с Тимуром и на его помощь. Может быть, Железный Хромец уже забыл старую вражду?

Как раз в это время случилось событие, которое, казалось, подтверждало предположения Тохтамыша: один из его сыновей, Девлет-Берди, поднял в Крыму восстание против Эдигея и, овладев Каффой, провозгласил себя независимым крымским ханом. Но когда сю-

[1] Это так называемый «Тохтамышев юрт». Город Чингиз-Тура, по русским летописям Чамга-Тура, — нынешняя Тюмень.

да подошел с большим войском Эдигей, генуэзцы хотели выдать ему Девлета и последний вынужден был бежать к Тимуру, который его принял очень милостиво и обещал свою помощь.

По слухам, Железный Хромец усиленно готовился к походу на Китай и собирался выступить с началом весны. Времени терять было нельзя, и Тохтамыш решился: в первых числах января он вызвал к себе Карач-мурзу и сказал ему:

— Поедешь к Тимуру. Говори и обещай ему, что хочешь, но надо добиться того, чтобы он забыл нашу былую вражду и помог нам против Идику. Сейчас хорошее время для того, чтобы завести с ним такой разговор: Идику сделался для него опасным, и может быть, Хромой будет рад случаю от него избавиться, прежде чем начинать большую войну с Китаем. Тебя он любит и, если поможет Аллах, ты уговоришь его. Выезжай завтра. Много людей с собой не бери и в дороге не жалей коней.

ГЛАВА XXVII

> «В месяце Реджеб года 807[1] послал Тохтамыш-хан к Тимур-беку одного из старейших своих вельмож, Карач-ходжу».
>
> *Шереф ад-Дин Али Иезди*
>
> «Тохтамыш, император татарский, и Тимур-бек снова помирились и вместе стали замышлять против Эдигуя».
>
> *Руис Гонсалес де Клавихо*

Карач-мурзе не пришлось ехать в Самарканд: по пути он узнал, что Тимур уже выступил в поход и сейчас находится в городе Отраре, куда стягиваются все его войска. Послу Тохтамыша это значительно сократило путь, и в начале февраля он был уже на месте. Но Тимур принял его не сразу, ему лишь через несколько дней доложили о прибытии посла: Железный Хромец был тяжело болен, и как раз в это время болезнь его сильно обострилась.

Он уже месяца два тому назад почувствовал при-

---

[1] Январь 1405 года по христианскому календарю.

знаки странного и мучительного недомогания: невыносимые боли в желудке, обычно после еды, и сменяющие их приступы страшной слабости. Но, надеясь превозмочь болезнь, он не пожелал отложить поход, к которому все было уже готово.

Ему было уже шестьдесят девять лет, и он давно понял, что даже при его воинском счастье человеческая жизнь слишком коротка для завоевания мира. Но он,— полвека тому назад никому не известный грабитель караванов,— перед смертью хотел всю Азию увидеть у своих ног, и для достижения этой цели ему оставалось совсем немного, только один этот поход, если он окажется удачным. А неудачных походов у него никогда не бывало.

Покорив всю Среднюю Азию, Закавказье, Персию и Багдадский халифат, разгромив татарские орды, он в 1398 году разбил войско Делийского султана и, бурей пройдя по всей Индии, возвратился в Самарканд с такой добычей, какая, по утверждению персидских историков, от начала мира не доставалась ни одному завоевателю[1]. Сразу же за этим последовала победная война с Турцией и с Египтом. Султан Баязет был взят в плен, Сирия и Малая Азия достались Тимуру.

Теперь непокоренным оставался только Китай, к завоеванию которого Железный Хромец долго и тщательно готовился. Успех столь трудного похода не мог быть обеспечен только численностью и хорошим вооружением войска — нужно было также обезопасить свои тылы, подготовить пути наступления и насколько возможно ослабить противника. И Тимур в этом направлении сделал все, что мог сделать полководец его ума и прозорливости.

Годами он подрывал торговлю Китая, продуманно и последовательно лишая его рынков сбыта и удобных караванных путей; наводнив страну своими лазутчиками, он внимательно следил за всем, что там происходит, не жалея средств, сеял смуты и разжигал недовольство против новой династии Мин, воцарившейся после свержения Тогон-Темура, последнего императо-

[1] Интересно отметить, что когда шли в этот поход, на границе Индии Тимур приказал каждому своему воину положить один камень в общую пирамиду. При возвращении он велел каждому уцелевшему воину вынуть из кучи один камень. Таким образом, то, что осталось, явилось памятником, который сами себе сложили погибшие в этом походе.

ра-чингизида[1]. На пути своего будущего похода он заранее построил несколько сильных крепостей, создал склады продовольствия, велел развести несметные стада овец и, оросив некоторые пустынные области, засеять их ячменем и пшеницей.

Наконец, было собрано громадное войско, обильно снабженное пушками, камнеметами, стенобитными машинами и всем прочим, необходимым для осады крепостей и успешной полевой войны. Теперь, когда все было готово и сулило несомненный успех, ничто не могло заставить Тимура отказаться от похода, которым завершалось покорение Азии. И потому болезнь побудила его не отменить этот поход, а, наоборот, выступить раньше, чем предполагалось: Железный Хромец боялся, что не успеет завершить дело своей жизни.

При нем неотлучно находились два искуснейших медика и, временами, их усилиями, а может быть и сами по себе, боли его почти оставляли, и он чувствовал себя значительно лучше[2]. Один из таких периодов улучшения наступил вскоре после приезда Карач-мурзы, и Тимур изъявил желание его видеть.

Великий эмир, несмотря на свою болезнь, не захотел остановиться в одном из дворцов Отрара, а как всегда на походе, находился при своем войске и жил в войлочном шатре, не отличавшемся особой роскошью.

Когда вошел Карач-мурза, Тимур, в накинутой на плечи шубе, сидел на ковровой постели у наполненного жаром мангала. Кроме него, в шатре находился скромного вида юноша — его любимый внук Улугбек[3] и один из лекарей, хорезмиец Тахир Ибн-Осман, усердно растиравший что-то в бронзовой ступке.

Тимур сильно постарел за последние годы, теперь он был совершенно сед, и все лицо его было иссечено морщинами. Но все же он выглядел далеко не так плохо, как ожидал Карач-мурза, и только зеленоватая бледность да бескровные губы говорили о том, что болезнь его серьезна.

— Я рад еще раз видеть тебя, оглан, — промолвил он в ответ на приветствие Карач-мурзы. — Из всего,

[1] Император Тогон-Темур, свергнутый в 1368 году, в китайской истории известен под именем Шунь-Ди, из династии Юань.

[2] Полагают, что Тимур был отравлен медленно действующим ядом.

[3] Улуг-бек — позже султан Мавераннахра и Герата и знаменитый ученый-астроном.

что сделал хан Тохтамыш с тех пор, как я его знаю, я могу считать приятным лишь то, что своим послом ко мне он всегда присылает тебя.

— Да воздаст тебе Аллах годами здоровья и долгой жизни за твои милостивые слова, великий эмир, — кланяясь, ответил Карач-мурза.

— Садись и говори, с чем прислан. Но раньше скажи: здорова ли Хатедже? И не пришлось ли тебе или ей жалеть о том, что с вами случилось в Кара-Самане пятнадцать лет тому назад?

— Благодарение Аллаху, жена здорова и поручила мне передать низкий поклон ее великому дяде. А живем мы хорошо и всегда благодарны тебе за то, что ты соединил нас, преславный гурхан.

— Кажется, у вас есть сын?

— Да, великий эмир. Ему сейчас четырнадцать лет, но он уже настоящий воин и никто не скажет, что ему меньше семнадцати.

— Если он захочет, пришли его ко мне. Когда он будет постарше, я его сделаю правителем какой-нибудь завоеванной страны, как сделал всех других своих родственников.

— Да не откажет тебе Аллах ни в чем за твое великодушие, гурхан. Я скажу об этом своему сыну.

— Других детей у вас нет?

— Была еще дочь, но ее унесла болезнь, когда ей было всего четыре года.

— Ризван открыл ей двери самого лучшего из садов Аллаха: в такие годы еще не знают греха, — сказал Тимур и, помолчав немного, добавил: — Ну, теперь говори, с чем прислал тебя Тохтамыш?

— Хан Тохтамыш повелел мне сказать, великий эмир, что нет на всей земле человека, который более чем он желал бы тебе от Аллаха...

— Оставь это, — устало отмахнулся Тимур. — Начинай прямо о деле.

— Хан не перестает сожалеть о сделанных им ошибках, которые лишили его твоей дружбы и твоего покровительства, великий эмир. Но ты сам знаешь, как дорого он за эти ошибки заплатил. Теперь он просит тебя забыть все, что было, и возвратить ему твое благоволение.

— Чего же он хочет?

— Мудрость твоя известна всему миру, гурхан, и потому нет надобности говорить тебе о том, что истин-

ным виновником всех событий, которые отвратили твой высокий взор от хана Тохтамыша, был эмир Идику — недостойный человек, посеявший между вами вражду, а потом обманувший и его, и тебя. И теперь всем видно, что только он один извлек выгоду из того, что произошло.

— Сейчас всем кажется, что это так. Но в Коране сказано: счастье нередко является началом несчастья, и удача часто ведет к неудаче. Так будет и с Идику. Он еще получит полностью то, чего заслужил.

— Если ты так говоришь, великий эмир, то слова хана Тохтамыша будут подобны семени, которое упало на добрую почву: хан считает, что те, кого обманул Идику, должны общими силами покарать его и что время для этого уже наступило.

— Понимаю, оглан: воробей предлагает быку вместе вспахать поле и засеять его просом, — промолвил Тимур, улыбнувшись. Но улыбка была не злая, и это сразу заметил Карач-Мурза. Он тоже улыбнулся и ответил:

— Нет, великий эмир: сокол предлагает орлу вместе уничтожить гиену. Хан Тохтамыш сейчас не так слаб, как думают. Два месяца тому назад он одержал над Идику крупную победу. Но для того чтобы совсем уничтожить своего врага, сил у него недостаточно, и он просит твоей помощи, обещая всегда быть тебе верным другом и покорным сыном. Он клянется навеки забыть о том, что Хорезм и Азербайджан раньше принадлежали Орде, и никогда не посягнет ни на одну пядь земли, которую ты осчастливил своим владычеством, гурхан.

— Значит, когда у хана Тохтамыша увели всех коней, он понял, что можно было запирать конюшню, — промолвил Железный Хромец и, помолчав с минуту, добавил: — Но он уже достаточно наказан за свои ошибки и, я думаю, не захочет повторять их. Скажи хану, что я больше не буду вспоминать прошлого и еще раз ему помогу. Возвратившись из этого похода, я с помощью Аллаха, отберу у Идику улус Джучи[1] и передам его хану Тохтамышу. Жизнь его хорошо поучила, и я верю, что теперь он не нарушит тех обещаний, которые мне дает, ибо знает уже, что имея дело со мной,

---

[1] Улусом Джучи называлась территория, которую при разделе империи Чингиз-хана получил его старший сын Джучи-хан, то есть земли Золотой и Белой Орды.

всегда выгоднее исполнять свои обещания, чем нарушать их.

— Да свершится все по твоему мудрому слову, великий эмир! Тот день, когда я возвращусь к хану Тохтамышу и передам ему твой ответ, будет для него самым счастливым днем жизни.

— Пусть же наступит для него этот день скорее! Поезжай завтра, и да сопутствует тебе милость Аллаха.

* *
*

Вечером хорезмийца Тахир Ибн-Османа сменил у постели Тимура другой лекарь, араб Мухаммед Бен-Якуб. Когда гурхан чувствовал себя хорошо, как сегодня, они оставались при нём по очереди.

Ибн-Осман помещался в шатре вместе со своим племянником и учеником Джаффаром. В этот день, после вечерней трапезы, он приказал слуге оседлать лучшего коня и, убедившись в том, что никто не может его подслушать, тихо сказал Джаффару:

— Собирайся в путь, надо выехать сейчас же. Я здесь сказал, что посылаю тебя в Яссы, к моему ученому другу Хумар ад-Дину за лекарством, которое может исцелить гурхана. Ты знаешь, где найти Хумар ад-Дина. Покажи ему это кольцо и скажи: сегодня Тимур сговорился с послом Тохтамыша о том, чтобы отнять улус Джучи у эмира Идику и передать его Тохтамышу. Нужно известить об этом эмира эмиров, не теряя дня. Хумар ад-Дин знает, как это сделать, — и, понизив голос до шепота, Ибн-Осман добавил: — Скажи еще, пусть пресветлый эмир Идику знает: разрушитель Ургенча проживет недолго.

ГЛАВА XXVIII

> «Тохтамыш же, не зная того, что беды обступили его со всех сторон, пребывал в беспечности в своем шатре и очнулся только тогда, когда его начали язвить змеи копий и ехидны стрел, а львы смертей схватили его».
>
> *Ибн-Арабшах*

Через несколько дней после отъезда Карач-мурзы болезнь Тимура резко обострилась, и в ночь на девят-

надцатое февраля он умер, передав верховную власть своему старшему внуку Пир-Магомету. Но другие родичи не пожелали этому подчиниться, и сразу вспыхнула смута. Против Пир-Магомета выступил второй внук Тимура, любимец войска Халил-Султан[1].

Поход на Китай был отменен, и среди тимуридов началась кровавая борьба за власть, сопровождавшаяся быстрым развалом империи. В первый же год усобиц от нее отпали Индия и Багдадский халифат, а Хорезмом овладел эмир Эдигей. Многие области Средней Азии обособились под властью различных родственников Тимура и местных эмиров.

Только через пять лет победителем из междоусобных войн вышел сын Тимура, Шахрух, который обосновался в Герате, а Мавераннахр отдал своему сыну, Улуг-беку.

Государственная жизнь под властью тимуридов здесь продолжалась еще целое столетие, временами даже не без блеска. Но империя Тимура умерла вместе с ним, потому что среди его потомков вовсе не оказалось таких талантливых организаторов и полководцев, какими изобиловал род Чингиза.

* *
*

Известие о сговоре Тохтамыша с Тимуром эмир Эдигей получил в начале марта, но о смерти Тимура он еще ничего не знал, и потому полученная новость его встревожила, тем более, что всего за неделю до этого он снова потерпел от Тохтамыша поражение, на этот раз гораздо более серьезное, чем предыдущее.

Осенью против Тохтамыша действовал его отряд численностью всего в три тумена под начальством темника Бузан-бека, которого Эдигей знал как храброго и опытного военачальника. Но когда этот отряд был разбит, а сам Бузан-бек попал в плен, эмир эмиров пришел в ярость и решил, что пора раз и навсегда покончить с врагом, который снова становился опасным.

Он прибыл на реку Тобол сам, во главе семи туменов отборной конницы. При его приближении Тохта-

---

[1] В 1407 году Халил-Султан окончательно разбил Пир-Магомета, который был убит в сражении. Но два года спустя Халил-Султан был побежден своим дядей Шахрухом и попал к нему в плен.

мыш со своим войском, как обычно; скрылся в лесах, и где он находится, Эдигей точно не знал. Наконец, его разведчики обнаружили противника, который расположился станом на большой лесной поляне между Чингиз-Турой и Искером [1].

По татарскому обычаю, Эдигей решил обойти его и напасть одновременно с двух сторон. Для этого, приблизившись к лагерю Тохтамыша с запада, он послал по два тумена в обход справа и слева, а с остальными тремя остался в засаде, возле дороги на Чингиз-Туру, не сомневаясь в том, что уходя из окружения, его противник побежит именно сюда.

Но Тохтамыш, расставивший в лесу скрытые дозоры и внимательно следивший за всеми передвижениями Эдигея, его перехитрил: едва посланные эмиром обходные отряды отошли на значительное расстояние, он скрытыми лесными тропами быстро подошел к главным силам Эдигея и, напав врасплох с разных сторон, жестоко разгромил их. Сам эмир эмиров едва спасся от плена, тумены его были частью истреблены, частью рассеялись по лесу. Несколько часов спустя такая же участь постигла один из отрядов, посланных Эдигеем в обход: он был окружен и уничтожен почти полностью. Другой отряд, от встреченных в лесу беглецов узнав о случившемся, успел вовремя отступить.

Эдигею понадобилось несколько дней, чтобы собрать своих уцелевших бойцов. С ними он поспешно отошел на юг и остановился в степи, в двух переходах от Чингиз-Туры. Здесь его нашел гонец Хумар ад-Дина, присланный с новостями из ставки Тимура.

В полученном сообщении говорилось, что Железный Хромец обещал помочь Тохтамышу по возвращении из китайского похода, но Эдигея это не успокоило. Он вполне допускал, что Тимур просто хитрит, чтобы усыпить его бдительность.

«Войско его пока стоит возле Отрара, — думал эмир, — и только сам Хромой да Аллах знают, куда оно оттуда двинется. Может быть, он нарочно кричит о Китае, а пойдет прежде всего сюда. Я бы на его месте так и сделал, чтобы не оставлять у себя за спиной врага, который отберет у меня Хорезм и Азербайджан, пока я буду воевать в далеком Китае».

---

[1] Искер — татарский город, стоявший в шестнадцати верстах от нынешнего Тобольска. Позже он стал столицей сибирских ханов.

Эдигею было совершенно ясно одно: чтобы не оказаться между молотом и наковальней, нужно покончить с Тохтамышем сейчас же, пока не выступил Тимур. С силами меньше четырех туменов, которые у него теперь оставались, идти открыто на Чингиз-Туру, куда после своей победы возвратился Тохтамыш, было бы безумием, ибо противник имел войско гораздо больше. Но можно было рассчитывать на то, что Тохтамыш в ближайшее время не ожидает нового нападения и потому не будет особенно бдительным. Эдигей, как опытный воин, хорошо знал, что если ему удастся подойти незаметно и ночью напасть на город врасплох, все преимущества будут на его стороне, несмотря на неравенство сил. И он решил попытаться осуществить этот план.

Под видом купцов он заслал в Чингиз-Туру несколько своих людей, приказав им высмотреть и разведать все, что могло облегчить ночной налет. Пять дней спустя один из посланных возвратился и привез самые благоприятные известия: в стане Тохтамыша царила полная беспечность; тумены его были разбросаны по пастбищам вокруг Чингиз-Туры, за исключением одного, который нес в ней охранную службу. Но сам хан и его приближенные жили не в городе, а в трех верстах к северу от него, где на большой поляне стояли их шатры под охраной всего трех сотен нукеров, ибо какое-либо нападение с этой стороны, минуя город, казалось совершенно невозможным. Поляну подковой охватывал лес, что чрезвычайно облегчало задачу Эдигея.

На следующий день, после полудня, он снялся со стоянки и, чтобы сбить с толку возможных наблюдателей Тохтамыша, двинулся на юг, по направлению к Сараю. Но едва стемнело, повернул обратно и, уклоняясь к востоку, шел быстро всю ночь, а перед рассветом спрятал свой отряд в подходящей для этого роще. Так, двигаясь ночами и отдыхая днем, он обошел Чингиз-Туру далеко с востока и на пятую ночь, никем не замеченный, со всех сторон окружил стойбище Тохтамыша.

Через полчаса все было кончено. Перерезать спавших нукеров не составило труда, сделано это было так быстро и тихо, что Тохтамыш проснулся только тогда, когда воины Эдигея ворвались в его шатер. Хан вскочил с постели, но в ту же секунду снова упал на нее с

разрубленной головой. Для верности его еще пронзили двумя или тремя копьями. Когда несколько минут спустя в шатер вошел эмир эмиров, ему было достаточно одного взгляда, чтобы убедиться в том, что враг его мертв.

Все приближенные хана были перебиты, шатры разграблены, и отряд Эдигея, обойдя стороной мирно спавшую Чингиз-Туру, к рассвету был уже далеко на пути в Сарай.

ГЛАВА XXIX

«Не возлагает Аллах на душу человека ничего, кроме возможного для нее».

Коран

Карач-мурза прибыл в Чингиз-Туру в конце марта, через несколько дней после смерти Тохтамыша. Здесь он застал двух старших сыновей убитого хана, Джелал ад-Дина и Керима-Берди. Первый из них сидел на улусе в Искере и, оповещенный о случившемся, прискакал сюда два дня тому назад; второй в роковую ночь случайно заночевал в городе и потому избежал гибели. Оба они сейчас были совершенно растеряны и не знали, что предпринять, тем более что ни один не доверял другому.

Керим-Берди, хитрый и честолюбивый, в душе отнюдь не склонен был уступить Орду Эдигею, но он хотел бороться за престол для самого себя, а не для Джелал ад-Дина и потому уже обдумывал, как и когда ему выгоднее будет отделаться от старшего брата.

Джелал ад-Дин, отважный воин, но ограниченный человек, горел желанием продолжать борьбу, но сам был неспособен ее организовать, а потому он несказанно обрадовался приезду Карач-мурзы, ум и бескорыстие которого были ему известны с детства.

Радость его возросла стократ, когда Карач-мурза сообщил, что посольство его увенчалось полным успехом и что Тимур обещал им свою помощь.

— Если так, собаке Идику конец! — воскликнул он. — Я объявлю себя великим ханом, и мы будем продолжать войну!

— Ты, наверно, плохо меня слушал, — промолвил

Карач-мурза. — Я сказал, что Тимур обещал выступить против Идику, когда возвратится из похода на Китай. А этот поход он рассчитал на два года. Если ты, не дождавшись его, начнешь воевать с Идику один, то конец тебе, а не Идику.

— Что же ты советуешь делать?

— Ждать Тимура. А пока сидеть тихо и накапливать силы.

— Хорошо, агай[1], я сделаю так, как ты говоришь. Но ты не оставишь меня? Ты мне поможешь и дальше своими мудрыми советами, как помогал всегда моему отцу?

Карач-мурза ответил не сразу. Он уже устал от этой бурной кочевой жизни и беспрестанных походов, чувствовал, что силы его уходят, ему хотелось покоя. Служить Тохтамышу до конца он считал своим долгом, ибо с самой колыбели судьба их связала тесными узами. Но разве он должен служить еще и его сыновьям, которых тринадцать, и все они будут без конца воевать и добиваться престола?

Он уже хотел ответить отказом, но вспомнил, что Джелал ад-Дин был лучшим другом его убитого сына Рустема, вспомнил и то, что Тохтамыш любил его больше всех остальных своих детей. И, вздохнув, он промолвил:

— Я прожил шестьдесят три года и из них, наверно, половину провел в седле. Полученным ранам давно потерял счет. Я уже становлюсь стариком, Джелал. Но я останусь с тобой, пока Тимур не возвратится из Китая и не откроет тебе путь в Сарай-Берке.

— Да продлит Аллах твою славную жизнь еще на сто лет, агай! Клянусь тебе: когда я стану великим ханом, во всей Орде не будет человека более почитаемого, чем ты! И я сам буду чтить тебя, как отца.

Джелал ад-Дин был доволен и мысленно уже видел себя на престоле великих ханов. Но его ожидал жестокий удар: через неделю пришло известие о смерти Тимура. А еще две недели спустя другое: Эдигей стягивает войска к верховьям реки Иргиз. Никаких иных врагов у него здесь не было, и это с предельной ясностью говорило о том, что он намерен этим же летом двинуться в Зауралье и привести к повиновению непокорные ему улусы.

---

[1] Агай — дядя.

Теперь уже обоим царевичам приходилось думать не о престоле, а о спасении жизни. Последнее целиком относилось и к Карач-мурзе: он знал, что Эдигей не простит ему его преданности Тохтамышу, а также оскорбления, полученного в ставке Тимура пятнадцать лет тому назад. И когда они собрались на последний совет, он сказал племянникам:

— Скоро Идику будет здесь полным хозяином, ибо нет никого, кто бы мог ему в этом помешать. Теперь во всей Орде не останется такого угла, где бы он нас не достал. Не знаю, что будет потом, но сейчас всем нам нужно бежать отсюда. Вы молоды и хотите продолжать борьбу, да поможет вам в этом Аллах! Но для того чтобы победить Идику, вам надо найти нового могущественного покровителя, которому было бы выгодно сделать для вас то, что хотел сделать Тимур. Его сыновья и внуки вам не помогут потому, что теперь они будут долго воевать между собою. Но у Идику есть еще два сильных врага: московский князь Василий и литовский князь Витовт. И если не один, так другой из них может дать вам прибежище и помощь.

— Куда же нам лучше ехать? — уныло спросил Джелал ад-Дин. — В Москву или в Литву?

— Если бы вы искали спокойной жизни, я бы сказал: лучше в Москву. Но вы хотите воевать с Идику, значит, для вас лучше Литва: князь Витовт еще не отплатил Идику за свое поражение на Ворскле и, может быть, он захочет сделать вас орудием своей мести. Завтра я еду в Карачель, а оттуда прямо в Литву. Князь Витовт давно звал меня к себе и обещал мне улус, если я не смогу оставаться в Орде. Да свершится воля Аллаха! Если литовский князь не забыл своего обещания и примет меня хорошо, я там останусь. И я буду говорить с ним о вас, а потом пришлю к вам гонца. Но если Витовт сейчас не захочет вас принять или если войско Идику двинется сюда раньше, чем придут вести от меня, тогда бегите в Москву.

* *
*

Три дня спустя Карач-мурза был уже в Карачеле. Тут все дремало в обычной ленивой тишине. Апрель уже приближался к концу, кругом победно зеленели степи, а в полные воды Миаса с берега засматривали

плакучие ивы, охорашиваясь друг перед другом в своем первом весеннем наряде. Все сейчас казалось тут обновленным и юным, и только разбросанные по косогору незатейливые строения еще больше почернели и вросли в землю. Городок, построенный князем Василием Пантелеевичем, был ровесником Карач-мурзы, он тоже успел состариться.

Этот улус прочно закрепился за их родом: от князя Василия он перешел к Карач-мурзе, а последний, получив от Тохтамыша новые обширные владения, отдал его своему второму сыну, Юсуфу, который тут жил уже много лет. Хатедже и Абисан сейчас тоже находились здесь.

Юсуф, которому уже перевалило за сорок, был попрежнему могуч и невозмутим. Он не любил войну, в ханские усобицы не вмешивался, обзавелся большой семьей и сидел здесь крепко. Страстью его были лошади, он понимал в них толк, разводил их с любовью, и его племенные жеребцы славились во всей Орде.

Когда Карач-мурза, собрав всех членов семьи, кратко объяснил им значение последних событий и сказал, что едет в Литву просить прибежища у князя Витовта, Юсуф по обыкновению молчал.

— Ну, а ты, — спросил Карач-мурза, — если литовский князь даст нам хороший улус, поедешь туда?

— Нет, отец, — ответил Юсуф, — я останусь. Мне здесь хорошо, и меня Идику не тронет, я не мешался в его дела. Зачем я поеду в чужую страну?

— Это страна твоих предков.

— Тут тоже страна моих предков. Здесь я родился, здесь для меня все свои, и я для всех свой. А там я буду чужим. Ты — другое дело, отец, тебе нельзя тут оставаться, ты поезжай, и да поможет тебе Аллах. А я останусь — зачем нам терять хороший улус?

Карач-мурза не настаивал, он понимал сына. Это был уже настоящий татарин, хотя он и не пожелал поднять оружия против Руси, когда Тохтамыш шел на Москву.

Было решено, что Карач-мурза пока поедет один, взяв с собой только несколько нукеров и слуг, а потом, если князь Витовт примет его хорошо, к нему сейчас же приедут ханум Хатедже и Абисан.

* *
*

Перед тем, как пуститься в путь, Карач-мурза обошел городок, мысленно прощаясь с ним навсегда. Шестьдесят два года тому назад, так же обходил его в последний раз князь Василий, но, простившись с творением рук своих, он никуда не уехал...

Сын медленно приблизился к заросшему травой кургану, под которым спал вечным сном отец. Был час вечернего намаза. Опустившись на колени, Карач-мурза помолился истово, вкладывая в эту молитву всю неосознанную скорбь своей души, раздвоенной с детства, всю тоску приближающейся старости. И, окончив, подумал, что скоро он будет молиться по-другому... Но ведь Бог един, и до него доходят молитвы всех людей. Поднявшись на ноги, Карач-мурза долго стоял, глядя почти бездумно на исполинский дубовый крест, поставленный Никитой на могильном холме и еще пощаженный временем.

Он знал, что завтра покинет Орду навсегда и не задавал себе вопроса — больно ли ему покидать ее? Так надо... И не потому, что здесь ему грозит опасность, — разве он когда-нибудь боялся опасностей? Нет, это было что-то другое и особенное, словно какие-то забытые голоса ему говорили: «Здесь оборвался путь твоего отца, но ты знаешь, куда он ехал, и теперь тебе нужно продолжить его путь!» И этих голосов он не мог и не хотел ослушаться.

Став на колени, он поклонился могиле и поцеловал землю у ее подножья.

«Оставайся и спи спокойно, отец! Я вернусь туда, куда не суждено было вернуться тебе».

ВОЗВРАЩЕНИЕ

**Исторический роман
эпохи борьбы
Польско-Литовского государства
с Тевтонским Орденом**

7 Зак. 228

ОТ АВТОРА

Настоящей книгой заканчивается пятитомная историческая эпопея, которой я дал общее название «РУСЬ И ОРДА». Она повествует об эпохе, очень скудно освещенной в нашей литературе, и охватывает целое столетие истории Руси и смежных с нею государств, в их политическом и бытовом взаимодействии, — ибо только такой подход к прошлому обеспечивает правильное его понимание.

Вероятно, некоторые на меня посетуют за то, что на протяжении всего этого долгого повествования историк во мне явно преобладал над романистом. На это отвечу, что я и не стремился к тому, чтобы развлечь читателей описанием каких-либо надуманно-захватывающих авантюр, а ставил себе целью — в интересной и по возможности увлекательной форме дать им побольше подлинно исторических сведений, таких, которые трудно отыскать в общедоступных источниках.

Исходя из этого я, может быть, слишком много внимания уделил бывшим татарским улусам и среднеазиатским странам — Хорезму и Мавераннахру. Но не следует забывать, что эти страны и населяющие их народы давно вошли в состав нашей общей Российской семьи, а мы до сих пор знаем о них позорно мало и часто не имеем никакого представления о тех исторических связях, которые издавна сближали нас с Востоком.

О прошлом наших западных соседей мы знаем немного больше, но все же далеко не достаточно, если вспомнить, что история Литвы и Польши на протяжении веков сливается с историей южных и западных русских княжеств. Теперь же, когда Восточная Пруссия стала частью России, законный интерес приобретает для нас и история Тевтонского Ордена.

Вот почему в своем повествовании я часто «нарушал границы» всех этих стран и переносил действие из одной в другую.

Итак, труд, которому я отдал двенадцать лет жизни, наконец закончен. Он тепло встречен теми зарубежными читателями, которые еще в полной мере остались русскими людьми. Но широкого признания и распространения в наши дни он получить, конечно, не может, ибо идеологически не отвечает требованиям ни одной из двух основных политических сил, которые ныне господствуют в мире.

В работе у меня был один критерий: я подходил к прошлому и к его оценке с позиции просто русского человека, любящего свою страну и старающегося представить ее историю в правдивом освещении. И если сегодня к известности и к материальному успеху нужно идти иными путями, — я рад и тому, что мне удалось своими силами издать написанное, хотя бы ничтожным тиражом, и тем спасти его для будущего. Верю, что придет время, когда мои книги обратятся в общепризнанное пособие к познанию нашего прошлого.

И тем разноплеменным россиянам, которых они укрепят в любви к нашей общей Отчизне и в уважении к ее славным строителям, — великим и малым, — я посвящаю этот труд.

ЧАСТЬ ПЕРВАЯ

КАРАЧЕЕВКА

ГЛАВА I

«Король Владислав вручил Витовту кормило правления литовскими и русскими землями, ибо знал, что князь Витовт был мужем большого и гибкого ума и что нельзя было найти никого более способного править Литвой».

Ян Длугош,
польский историк XV века

В конце мая 1405 года Карач-мурза, с десятком нукеров и слуг, без всяких приключений прибыл в город Вильну, где в ту пору находился Витовт, заканчивая свои приготовления к походу на Псков.

Возраст не притупил любознательности Карач-мурзы и, поднимаясь по крутой дороге на Замковую гору, вершину которой как бы каменной короной венчал княжеский замок, он то и дело придерживал коня, чтобы оглядеть этот интересный город, так непохожий на все другие, виденные им.

Здесь, среди непроходимых лесов, на слиянии рек Вилии и Вилейки еще в V или VI веке возникло поселение одного из древних охотничьих племен Литвы. Лет триста спустя это первобытное поселение уже порядочно разрослось и было окружено земляным валом и рвом, а в тринадцатом столетии превратилось в хорошо укрепленный городок, который князь Гедимин — дед Витовта — сделал своей столицей, построив здесь этот замок.

Теперь это был довольно крупный город, среди обильной зелени просторно раскинувшийся в широкой котловине, окруженной невысокими холмами. Большей частью его строения были деревянными, но немало виднелось и каменных, в том числе Нижний замок, стоявший почти у самого берега реки, здание ратуши и десятка полтора храмов — католических и православных. Последних было больше, но Карач-мурза еще не знал,

что добрая их половина, сохраняя свой прежний наружный облик, уже была обращена в костелы. Лишь позже он узнал и то, что Вильне, по примеру всех больших городов Польши, недавно было даровано так называемое магдебургское право, в силу которого она была изъята из ведения княжьих воевод и судей и получила самоуправление в лице выборного градоначальника — войта, двенадцати советников городской рады и семи лавников — пожизненно избиравшихся присяжных, которые вместе с войтом вершили суд над горожанами[1].

Верхний замок, где проживал Витовт, не отличался архитектурными совершенствами, но производил впечатление неприступной крепости. Это было приземистое каменное строение с массивными восьмигранными башнями и мощными стенами. С одной стороны он был надежно защищен отвесной кручей горы, а с другой довольно узким, но глубоким рвом. Переехав его по подъемному мосту, который, видимо, давно уже не поднимался, ибо в прорезях стены, сквозь которые были пропущены его цепи, целыми гроздьями лепились гнезда ласточек, Карач-мурза, никем не остановленный, миновал сводчатые ворота и очутился на широком внутреннем дворе замка. Отсюда стены его казались невысокими; через каждые десять-двенадцать шагов на них стояли неуклюжие бомбарды[2] на прочных дубовых козлах, а рядом высились пирамиды грубо обтесанных каменных ядер.

Высмотрев среди находившихся во дворе людей одного, одетого побогаче, Карач-мурза приблизился к нему, назвал себя и попросил доложить о нем великому князю.

Витовт не заставил Карач-мурзу ожидать долго. Татарская Орда и события, там происходящие, играли важную роль в его политике, ибо он издавна стремился поставить воинскую силу Орды на службу своим интересам, а заодно хотел рассчитаться с Эдигеем за свое поражение на Ворскле. В силу этого, он с особым вниманием следил за всеми обстоятельствами внутренней борьбы между ханами, чтобы знать, когда и какому

---

[1] Постепенно магдебургское право было распространено и на все другие крупные города Литвы, Малой и Белой Руси.

[2] Бомбардами назывались первые, незадолго до того появившиеся пушки. На Руси их называли тюфяками, заимствовав этот термин у татар.

из них стоит оказать поддержку. Всего две недели тому назад до него дошли слухи о смерти Тимура и Тохтамыша — это коренным образом меняло всю политическую обстановку в татарских улусах и в Средней Азии, но подробности еще не были ему известны, а кто же мог знать их лучше, чем Карач-мурза?

— Рад тебя видеть, царевич, — сказал он, поднявшись навстречу вошедшему гостю и пожимая ему руку. — И ежели есть правда в тех слухах, которые до меня ныне дошли, я догадываюсь, почему ты здесь.

— Воистину обижен Аллахом тот, кто может сомневаться в твоей мудрости, князь, — ответил Карач-мурза. — Но в Орде за последнее время случилось много важных событий, и я не знаю, о каком из них успели дойти до тебя вести либо слухи.

— Прошел у нас слух о смерти Тимура, но не минуло и седьмицы, как стали уже говорить, что умер хан Тохтамыш, будто убитый Эдигеем. И доселева я толком не знаю, о ком из них молва лжет, ибо сумнительно, чтобы сразу умерли оба.

— На этот раз молва не солгала, князь: Аллах призвал к себе их обоих.

— Доподлинно ли тебе о том известно?

— Да, князь. Я покинул ставку Тимур-бека в Отраре за пять дней до его смерти и приехал в Чингиз-Туру через три дня после того, как там похоронили хана Тохтамыша.

— Стало быть, никто не знает лучше тебя о том, что произошло. Садись же и рассказывай, как все случилось.

Карач-мурза, изредка прерываемый вопросами Витовта, в общих чертах поведал ему о всех событиях, разыгравшихся в Орде после того, как он был отправлен Тохтамышем к Тимуру, умолчав пока лишь о своих личных делах.

— А скажи мне, — спросил Витовт, выслушав его рассказ, — таким ли хворым казался Хромой, когда ты его покидал, что можно было ждать столь скорой его смерти?

— Нет, князь, глядя на него, я такого не ждал. Недуг его был тяжел, но эдак внезапом от него не умирают.

— А не сталось ли, что его отравили?

— Могло быть и так. Я сам об этом подумал.

— Наверное, с тем особо и поспешили только пото-

му, что он обещал свою помощь хану Тохтамышу. У Эдигея, поди, были возле Тимура свои люди.

— В этом трудно сомневаться, князь. Идику умен и коварен. И он знал, что в честном бою не одолеет такого врага.

— И теперь, избавившись от Хромого, он, вестимо, мнит себя полным хозяином в Орде и в окрестных землях?

— Когда я выезжал сюда, он уже выступил с большим войском на Хорезм. Мне говорил человек, ехавший из Сарая-Берке, что там у хана Шадибека осталось всего пять туменов.

— А Шадибек Эдигею столь же послушен, как был Кутлук?

— Разное говорят, князь. Я слыхал, что у них уже были ссоры.

— Ну, а Тохтамышевичи? Что они мыслят делать теперь, и есть ли за ними какая-либо сила?

— Они имеют четыре тумена войска, но Идику оставил против них, на реке Иргиз, шесть туменов под начальством царевича Булат-Султана. И когда сам он возвратится из Хорезма, а это будет очень скоро, потому что сыновья и внуки Тимур-бека воюют теперь между собой и не окажут ему сильного сопротивления, он очистит от своих врагов северные улусы и приведет их к покорности, если этого не сможет сделать один Булат-Султан. А потому я посоветовал моим племянникам Джелал ад-Дину и Кериму-Берди бежать оттуда и где-нибудь в безопасном месте подождать, пока ветер счастья подует в их паруса.

— Пускай приезжают ко мне, — сказал Витовт, с минуту подумав. — Я чаю, что такой ветер скорее всего подует в их паруса отсюда.

— Да воздаст тебе Аллах сторицей за милость, которую ты им оказываешь, князь! Я сам хотел просить тебя об этом, но твое великодушие сделало мои слова ненужными.

— Пошли им сказать, чтобы ехали теперь же, не затевая сражений с Булат-Султаном, дабы зря не губить своих людей. Всех воинов, какие у них есть и каких соберут еще, пусть ведут сюда. Я им отведу окраинные свои земли, близ Дикого Поля, — там пастбища такие, что на целую орду достанет. А потом поглядим, как сложатся дела у Эдигея, и когда придет час, я по-

могу сесть в Сарае тому из них, кто мне поклянется в том же, в чем клялся их отец перед битвой на Ворскле.

— Джелал из братьев старшой, и он обещает быть тебе верным и вечным другом, князь.

— Коли так, ему и пособлю. А если этот обманет, другой брат останется в запасе, — усмехнулся Витовт.

— Джелал тебя не обманет, пресветлый князь. Я с ним много говорил и знаю его мысли.

— Ну, стало быть, с этим кончено. А сам-то ты что думаешь делать? Ужели еще не навоевался и не манит тебя покой?

— Манит, князь. И, может быть, я найду его, если ты не забыл тех великодушных слов, которые сказал мне в Киеве шесть лет тому назад, когда мы пировали в твоем замке.

— Я ничего не забываю, царевич. Помню и то, что ты меня спас от плена в битве с Эдигеем и что я у тебя в долгу, хотя и без того рад был бы тебя видеть в числе моих самых знатных подданных.

— Я не заслужил таких милостивых слов, князь.

— Э, что там слова! Ты заслужил большего, и я сейчас тебе докажу, что умею ценить такие заслуги, — промолвил Витовт и задумался. Карач-мурза — родич татарских ханов и знаток всех тонкостей политической жизни Орды, мог ему оказаться очень полезным. И щедрость по отношению к нему не будет лишней.

— Думаю, что хотел бы ты поселиться на земле отцов своих, в княжестве Карачевском? — спросил он, прийдя к этому заключению.

— Да, всемилостивый князь, если будет на это твое соизволение.

— Там, на южных рубежах, по рекам Рыбнице и Неручи, самые подходящие для тебя места и никем не занятые, ибо к ним близко подходит Дикое Поле и туда часто набегают татары. Ну, а ты с ними поладить сумеешь, так что и тебе там будет привольно, и я от того получу выгоду. Как раз думал ставить там крепостицу, может, ты мне ее и построишь, коли будет в том надобность. Места хорошие: не один только лес, а есть и степи, так что лошадей и овец сможешь держать сколько пожелаешь. Земля черная, родит богато, и этим ты тоже не бреги. Смердов там, должно быть, мало или вовсе нету, — боятся татарского полону, но они сами к тебе придут, коли увидят от тебя надежную защиту. А по первой поре хорошо бы тебе привести с собою

сотен пять татар с семьями, а коли больше, то еще лучше, места там достанет на всех. Сможешь?

— Смогу, государь.

— Ну, вот и ладно. Побудь здесь моим гостем и отдохни, сколько сам пожелаешь, а затем поезжай с Богом. Я дам тебе письмо к племяннику твоему Ивану Мстиславичу — все же он там еще считается князем и будет ему обидно, коли посажу тебя на тех землях без его ведома, — пусть думает, что сам тебе их дал. Я напишу ему, что делается это для защиты его владений от татарских набегов, так он и рад будет. И знаешь что? — добавил Витовт: — Ты лучше пока не говори ему, кто ты таков. Ордынский, мол, царевич, приехал служить мне, и только. Так спокойней будет вам обоим, а то он еще перепугается и учнет тебе козни строить. Он здоровьем хвор и долго не проживет, а тогда поглядим, может, я тебя на его место посажу, коли дело позволит.

— Теперь ты мой повелитель, князь, и я сделаю все, как ты хочешь. А за щедрые милости твои да возвеличит тебя Аллах и да исполнит Он все твои желания!

— Вот, кстати, насчет Аллаха: теперь тебе и всем тем татарам, кои с тобой придут и в моем государстве навечно останутся, надобно будет принять христианскую веру.

— Я к тому готов, государь, и с собою приведу лишь таких людей, которые будут на то согласны тоже.

— И вот еще что тебе скажу: знаю, род твоих отцов православный, и может, ты захочешь остаться в их обычае, — в том неволить тебя не стану. Но коли желаешь послушать доброго совета, принял бы ты лучше нашу, католическую веру. От того тебе будет больше пользы, особливо, если хочешь быть Карачевским князем после Ивана Мстиславича. Сам я, коли говорить правду, к этим делам равнодушен — мне все одно, что католик, что православный. Но я не самодержец, надо мною стоит король Владислав, а он ярый католик, и православному человеку от него больших милостей ждать нельзя. Ты над этим подумай!

— Я подумаю, князь.

ГЛАВА II

«Одно поколение отходит, другое поколение приходит, а земля вовеки пребывает... Кружится на ходу своем ветер и на круги свои возвращается он».

Еклезиаст

Святослав Титович, второй из Козельских князей, княживших в Карачеве, умер несколько лет спустя после того, как впервые побывал там Карач-мурза. Младшему сыну Юрию еще при жизни своей дал он в удел город Мосальск [1], а старший, Мстислав, наследовал после отца Карачевский стол. Но он прокняжил недолго и умер еще не старым. Единственному его сыну Ивану, когда он вступил на княжение, было немногим за двадцать. Тем же годом женился он на воспитаннице Витовта, Гольшанской княжне Юлиане Ивановне, которой в ту пору было пятнадцать лет. Год спустя родился у них сын Михаил, а тремя годами позже — дочь, нареченная Софьей.

Иван Мстиславич смолоду был здоровьем слаб, но статен и хорош собою. Волосами был он рыжеват, как и все в его роду, но у него они красиво вились кудрями и цветом отдавали не на лисий хвост, как у других, а на спелую рожь. Бороду он брил, глаза имел серые, ясные, а лицом был бел и румян, хотя и нездоров был этот румянец.

В младенчестве был он чистый херувим, и родители в нем души не чаяли. Все, что Ванюша успевал пожелать, давалось ему тотчас, отчего нрав он приобрел трудный, и угодить ему порою бывало мудрено. Все-то он, как тогда говорили, хотничал [2], и то ему не так, и другое не этак, и хотенкам его не было конца, а потому с юных лет прозвали его в Карачеве Хотетом, да так эта кличка за ним и осталась. Княжич сперва обижался на такое прозвище, и многим его обида выходила боком, но потом притерпелся и обвык, так что в зрелых годах и сам, случалось, говаривал: «Я — князь Хотет Карачевский», либо: «Это наше, хотетовское».

---

[1] От этого князя Юрия Святославича пошел род князей Масальских, которые позже разделились на четыре ветви: Клубковых-Масальских, Литвиновых-М., Кольцовых-М., Рубцевых-М.

[2] Хотничать тогда означало «привередничать», хотенка — «прихоть». Отсюда Хотет — привередник, человек вздорный, которому трудно угодить.

При всем том сердце имел он не злое, а спеси ему польские порядки поубавили, ибо вере отцов изменить он не захотел, православным же князьям на Литве теперь приходилось терпеть немало обид и утеснений. Да и самое княжение таких удельных, как он, ныне стало лишь пустым словом, а многих и вовсе согнали с отчих столов. Его, однако, Витовт оставил и пока был к нему милостив, но, несмотря на это, Иван Мстиславич в душе крепко не любил великого князя: слишком уж был он ласков с княгиней Юлианой Ивановной. И хотя знал Хотет, что ничего худого за этим покуда нет, но видел ясно, что терпит его Витовт только из-за жены; будто сам по себе он не князь древнейшего роду и не законный хозяин этой земли, а пришей собаке хвост. И было ему это обидно и горько.

Но чтобы не вышло какого худа, все это он старался таить в себе, даже жене не показывал виду, а потому, когда приехал ордынский царевич с письмом от Витовта, князь принял его любезно и, усадив за стол в приемной горнице, тут же начал читать привезенное письмо.

В грамоте Иван Мстиславич был не силен, обычно письма читал и писал ему сын, проживший два года в Кракове и там кой-чему научившийся, но при татарине звать Михайла он постеснялся и потому читал долго, а Карач-мурза тем временем с любопытством оглядывал помещение, в котором они находились. Он сразу узнал эту горницу по рассказам и описаниям Никиты. Тут, видимо, мало что изменилось с той далекой поры, когда вот на этих самых скамьях сидели бояре Алтухов, Шестак и другие, ожидая выхода его деда, князя Пантелеймона Мстиславича; у стен стоят те же резные дубовые лари, а над дверью налево, в трапезную, висит голова тура с огромными рогами, когда-то убитого его отцом, князем Василием...

Да, вещи и предметы остались те же, и для знающих прошлое в них жива была память тех, кто их создал или когда-то ими пользовался. Но в этих вещах, как и во всем облике города Карачева, уже отчетливо виделись черты тления, чувствовалось, что судьба произнесла над всем этим свой приговор, и время, не торопясь, приводит его в исполнение.

С тех пор, как Карач-мурза здесь побывал, прошло почти сорок лет, и он лучше чем кто-либо мог заметить эту тлетворную работу времени. Старые бревенчатые

стены города, прежде служившие надежным оплотом власти и спокойствия его предков, теперь никому не могли внушить ни страха, ни почтения, а скорее вызывали жалость и грусть. Они ушли в землю и стали заметно ниже; никто их больше не обновлял, многие бревна прогнили и из них сыпалась труха, а местами разрушились и оползли целые городницы[1], так что в город теперь можно было войти не только через ворота, но и через эти проемы в стене. Дома на улицах обветшали и почернели, новых совсем не было видно, а многие из старых стояли пустыми и заброшенными, а то и вовсе обратились в развалины, еле приметные за разросшимися кустами бузины и густым бурьяном.

Текло время, и жизнь шла своими путями, они были по-прежнему широки и бурливы, но судьба, пролагая их, обошла стороной этот древний городок, и от некогда могущественного княжества Карачевского ныне только и остались почерневшие, полуобвалившиеся стены, да вот этот рыжеватый человек с чахотным румянцем на лице, князь по имени, с трудом читающий письмо-приказ своего чужеземного владыки...

Наконец Иван Мстиславич закончил чтение и поднял глаза на Карач-мурзу.

— Ну что же, в добрый час, — промолвил он. — Ты, поди, знаешь, о чем мне пишет великий князь. Волю его я должен исполнить, да и нет у меня причин тому препятствовать. Места́ там все одно пустые, и коли они заселятся, мне от того будет только польза. Посади там кого русского — татары его пограбят и людей уведут в полон, ну, а ты для них как-никак свой и тебя они, может, не тронут. Где же ты хочешь, чтобы я тебе землю дал?

— Тех мест я не знаю, князь. Где укажешь, там и сяду.

— Князь Витовт Кейстутьевич пишет: по реке Рыбнице, либо по Неручи. Так ведь это сотни верст и везде там пусто. Лучше бы ты сам съездил да поглядел, я тебе дам провожатого. Которое выберешь место, то я за тобою и запишу.

— Хорошо, князь, я поеду. А за ласку твою спаси тебя Бог.

— Меня благодарить не за что, благодари Витов-

---

[1] Городница — звено в деревянной крепостной стене, бревенчатый сруб, наполненный землей.

та — он здесь ныне хозяин. А мне, говорю, от того, что ты там поселишься, кроме пользы ничего не будет.

— Сколько же мне выбирать земли?

— Это сам гляди. Витовт Кейстутьевич пишет: дать, сколько тебе будет потребно. После воротись сюда, сделаем опись рубежей, а грамоту от князя Витовта получишь. Когда же думаешь туда поехать? — помолчав, спросил Хотет.

— Дня два, либо три дам отдохнуть коням, а там и поеду, князь.

— Добро. А завтра жду тебя на обед. За трапезою еще побеседуем.

* *
*

На обеде у князя, кроме членов его семьи, присутствовали трое бояр, из которых один был очень стар, а два других казались ровесниками Ивана Мстиславича. Стол был не изыскан, но обилен, и хозяева потчевали радушно. Истинным его украшением служила сама княгиня Юлиана Ивановна, которой было уже за тридцать, но казалась она моложе и блистала свежестью и красотой необыкновенной. Прелестны были ее серые глаза с поволокой неги, но особое обаяние всему облику княгини придавали ее пышные, пепельно-русые волосы, которых она не прятала под повойник, как это было принято у русских замужних женщин того времени. Польские обычаи уже сказывались в этих краях.

Приглядевшись к княжне, Карач-мурза увидел, что и она на редкость хороша. Ей еще не было и четырнадцати лет, и она не успела развиться в женщину, но лицом походила на мать, и, глаза у них были одинаковые, впрочем, только на первый взгляд: у матери они излучали больше тепла, а у дочери больше света.

«Не одно сердце, наверно, сожгут эти глаза», — невольно подумал Карач-мурза, когда она на него взглянула.

Княжич Михаил, юноша лет семнадцати, тоже лицом был приятен, а ростом высок и строен. В Кракове у польских панов перенял он некоторую тонкость манер, чем выгодно отличался от сидевших за столом карачевских бояр; в разговоре держался скромно, но не робел и за словом в карман не лазил. Карач-мурзе он понравился.

— А ты князя Витовта и прежде знавал, царевич, либо теперь впервой к нему приехал? — спросил Иван Мстиславич, когда уже выпили по две-три чарки и несколько освоились друг с другом.

— Семь тому лет, как мы встретились с ним впервые, — ответил Карач-мурза. — Был я с ханом Тохтамышем у князя Витовта в Киеве и ходил с ним на Ворсклу.

— И в той злосчастной битве участвовал?

— Да, князь.

— Ты не братом ли хану Тохтамышу доводишься, царевич? — спросила вдруг Юлиана Ивановна, до сих пор не принимавшая участия в разговоре.

— Двоюродным братом, княгиня.

— Все равно... Так это, значит, ты князя Витовта вызволил, когда на него татарин аркан накинул! Он нам рассказывал.

— Я был поблизости и перерубил аркан, — скромно ответил Карач-мурза. Княгиня больше ничего не сказала, но ему показалось, что глаза ее отразили признательность.

— Так вот оно что, — протянул Иван Мстиславич. — Теперь я понимаю, почему Витовт Кейстутьевич дает тебе земли, сколько ты сам хочешь. Попади он в полон, ему бы это подороже стоило! Ну, а Орду ты почто покинул, будучи столь высокого ханского роду? Там ты, поди, много большими угодьями володел?

— Володел, князь. Но в Орде ныне взял верх мой лютый ворог, и я все потерял, а чтобы воевать с ним еще, я уже стар. Вот и приехал сюда на покой.

— Ну, в час добрый! И коли тебя здесь свои же татары не станут тревожить набегами, покой тебе будет. У нас тихо. Удельных князей так поприжали, что усобицы им и на ум не идут.

— Это и лучше, князь.

— Что усобицы вывели, то, вестимо, лучше. А вот, что прижали, в том хорошего мало.

— Так, ведь, если бы не прижали, были бы усобицы.

— Не скажи. Не в ту сторону ныне жмут. Вон при Ольгерде Гедиминовиче усобиц князья тоже не смели заводить, а жили вольно, по старине, никто их с отчих столов не гнал и в душу к ним с сапогами не лез. А ныне, коли ты вере своей изменить не хочешь, ты уже

человек подлой[1] стати. Король Владислав пишет указ за указом: католикам пожалованья да привилеи, а православным урезки да утеснения. Ну, да что об этом говорить, — спохватился вдруг Хотет, сообразив, что развязал язык при чужом человеке, который может пересказать все Витовту. — Вестимо, не столь уж оно и плохо, только человеку всегда лучшего хочется, такова уж его натура. Ты лучше скажи: семья-то у тебя есть, али бобылем тут станешь жить?

— Есть у меня жена и два сына. Старший имеет в Орде хороший улус и большую семью, он там и останется. А молодший, вместе с матерью, невдолге приедет ко мне сюда.

— Только одна у тебя жена, царевич? — с легким лукавством в голосе спросила Юлиана Ивановна.

— Одна, княгиня. Я всегда жил с одной.

— Будто и не по-татарски, — промолвил один из молодых бояр, уже слегка захмелевший. — Ежели закон и обычай дозволяют, почему не попользоваться?

— Прошу прощения, царевич, — вставил Михаил, очевидно желая замять неловкость, — младшему сыну твоему, что сюда приедет, сколько лет?

— Годами он чуть молодше тебя, княжич, но на вид того не скажешь: росту он твоего, а в плечах будет пошире.

— Слушаю я тебя, слушаю, царевич, — прошамкал старый боярин, до сих пор не произнесший ни одного слова, — и все боле дивлюсь твоей русской речи. Николи не слыхал, чтобы татарин так чисто говорил по-нашему.

— Я многому учился и говорю на разных языках, — ответил Карач-мурза, — а на русском лучше других, ибо часто бывал на Руси и подолгу общался с русскими.

— И все же дивно мне это, — не унимался боярин. — Да и голос твой я, будто, колись слыхал.

— Ну, это тебе, Федор Семенович, от вина примстилось, — сказал князь. Ведь ты из Карачева, почитай, во всю жизнь не выезжал, а царевич тут впервые.

— Да, вино у тебя крепкое, Иван Мстиславич, — поднимаясь из-за стола, промолвил Карач-мурза. Он решил, что благоразумней будет уйти, пока старик, не-

---

[1] Слово «подлый» в то время употреблялось в значении «низший».

сомненно помнивший его отца, не слишком воскресил в памяти прошлое. — Пора уж и мне на отдых, притомился в пути изрядно и досе не отошел.

— Побудь с нами, еще, царевич, — сказал князь. — Куда тебе спешить? Ну, поедешь на Неручь днем позже, какая в том беда?

— В том беды и впрямь не будет, но вот стар я стал, это беда! Не токмо на бранном поле, но и за веселым столом не тягаться уж мне с молодыми. За привет и за ласку тебе, Иван Мстиславич, спасибо, а тебе, княгинюшка, за отменное угощение. Чаю, еще не однажды свидимся.

ГЛАВА III

На следующий день, едва рассвело, Карач-мурза, взяв с собою своего старшего нукера Нуха, который верно служил ему уже много лет, выехал из города и направился в Кашаевку.

С той поры, как довелось ему побывать там в молодости, он ничего не слыхал о семье Софоновых, но память о ней хранил крепко. Стариков он не рассчитывал застать в живых, ведь им ныне было бы мало не по сто лет, но кто-либо из сыновей еще мог жить, да и Ирина тоже... Желание узнать о судьбе сестры и заставило его предпринять эту поездку.

«Ее-то в Кашаевке нету, — думал он, приближаясь к усадьбе. — При такой красоте, вестимо, давно вышла замуж снова и живет где-либо своей семьей, коли еще жива. Но тут о ней беспременно что-нибудь знают.»

Усадьба стояла на месте, и в ней даже мало что изменилось, только дом совсем почернел, да липы возле него так разрослись, что тенью своею закрывали почти полдвора.

— Кто у вас тут хозяин? — въехав во двор, спросил Карач-мурза у стоявшего подле крыльца паренька.

— Как кто? Вестимо, родитель мой Павел Михайлович.

— А тебя самого как звать?

— Меня-то? Мишкой кличут.

— Так вот, Мишка, доведи-ка отцу, что гость приехал, а имя свое сам ему скажу.

Минуты три спустя на крыльцо вышел богатырско-

го сложения мужчина лет под шестьдесят, с сильной проседью в бороде.

— Не узнаешь меня, Павел Михайлович? — спросил Карач-мурза, слезая с коня.

— Будто не признаю, — вглядываясь, ответил хозяин. — Да и не было у меня, кажись, знакомцев татар.

— А боярина Снежина ты помнишь, с которым на сохатого когда-то ходил?

— Мать честная! Да неужто это ты, Иван Васильевич?! — вскричал Софонов, сбегая с крыльца и сжимая Карач-мурзу в объятиях.

* *
*

Час спустя они сидели в трапезной, за столом, в кругу семьи Павла Михайловича, и Карач-мурза уже успел поведать о том, почему он очутился в этих краях.

— Ну, вот и ладно, — промолвил Софонов, — будем, значит, почти соседями. Я тот край добро знаю. Ты бери землю по Неручи, там будет получше: место ровное, не столько болот и оврагов, да и смерды кое-какие есть, а на Рыбнице пусто. Да коли будет надобна тебе какая помога, только скажи! Ведь мы знаем, какой ты боярин Снежин, — покойница мать нам открыла твою тайну, взявши с нас клятву, что из семьи нашей сказанное ею не выйдет. Клятву свою мы блюдем, однако теперь зачем тебе таиться? Князь наш ноне ничто, он Витовта боится, как черт креста, и коли ты с Витовтом хорош, так он еще и тебя бояться будет. А ежели тут одному-другому сказать, что ты сын князя покойного, всеми любимого Василея Пантелеевича, каждый почтет за великую радость тебе в чем ни есть пособить!

— Спасибо на добром слове, Павел Михайлович, но помощь мне едва ли снадобится: я приведу с собой много людей из Орды. Что же до истинного имени моего, — особо таить его и вправду нет надобности, но все же по первому времени, доколе тут не обживусь, лучше бы его не знали. Так мне и князь Витовт советовал.

— За нас будь спокоен, Иван Васильевич, отсюда оно не выйдет. Ну, а семья твоя и люди когда подъедут?

— А вот, как получу надел, сразу же и пошлю к ним гонца, чтобы выезжали, — к осени будут здесь. Но ты мне теперь о своих расскажи. Родители твои давно ли преставились?

— Матушка померла тому уже годов двадцать, а отец всего семь лет назад, доживши до девяноста шести. Брат мой, Григорий, скончал свои дни много раньше, — убило его в лесу молоньей. Сестра Елена, — ты ее не знал, это старшая из нас всех, — тоже давно ушла. И ныне остались в живых только я да Ирина.

— А она где? — спросил Карач-мурза. — И кто ее муж?

— Нет, замуж она больше не вышла. Жила здесь дома, но еще до смерти матери приняла постриг и ныне в Ельце, игуменьей тамошнего Богородицкого монастыря. Ты к ней съезди, то будет для нее большая радость, она тебя часто вспоминала.

— Беспременно съезжу, — не сразу ответил Карач-мурза, — вот только поуправлюсь с делами. Ну, про Алтухова, Семена Никитича, тебя не спрашиваю, вестимо, его давно уже нет. А не слыхал ли ты чего про сына боярского Клинкова, что служил у Брянского князя, а смолоду был дружинником моего отца и звался тогда Лаврушкой?

— Как же, знавал я его. Он, уже будучи воеводой, убит на Куликовом поле, в битве с Мамаем. Пал со славою, спасая самого великого князя Дмитрея Ивановича, и по его воле погребен в Москве, вкупе с другими набольшими воеводами.

— Хорошая смерть, — промолвил Карач-мурза. — Да, много уже ушло из жизни достойных людей, да блаженствуют они вечно в садах Алла... Божьих. Ну, а ты как живешь и доволен ли своей судьбой?

— Как тебе сказать? Семья у меня дружная, живем ладно, в достатке, а в душе покоя нет, как прежде бывало, — все будто ждешь, что тебя кто-то сзади кистенем по башке ударит. Правят нами чужаки-иноверцы и правят, вестимо, так, чтобы своим, католикам, было получше, а нам похуже. Жили мы раньше по старине, и свое право каждый знал твердо, а ныне того нет, и николи не знаешь, что для тебя завтра придумают. Вот, к примеру, шлет король Владислав в наши земли указ: все старые грамоты на владение вотчинами с такого вот дня полной силы уже не имеют и, коли хочешь укрепить свое право навечно, должен получить новую грамоту, с печатью и с подписом самого короля. И дале сказано: король эти грамоты будет давать лишь тем, кто перейдет в католическую веру, а кто не схочет, тому грамота остается прежняя. Тебя с места не гонят,

но вотчина уже, будто, не совсем твоя, — коли не угодишь, могут и отнять. Да и продать ее без дозволения короля, либо его наместников, ты не можешь, а если такое дозволение тебе дадут, с продажи большая доля идет в королевскую казну. И другой указ: коли ты православный, дочку свою, либо сродственницу не можешь выдать замуж без согласия властей, а католику можно. Ну, где же такое видано? Того и жди, теперь объявят, что если ты православный, должен на коне ездить задом наперед, либо просить дозволения попариться в бане! Я еще пожду малость и, коли так дальше пойдет, всех четверых сынов отправлю в Москву, на службу к великому князю Василею Дмитриевичу, туда уже многие отсель поуезжали. А вотчина по смерти моей пусть идет королю под хвост!

— Да, изменились тут времена, — промолвил Карач-мурза. — Едучи в Карачев, повсюду я видел, что народ беднее живет, нежели в первый мой приезд.

— А как ему еще жить? Ведь людей налогами да поборами вовсе задавили. Раньше вольный смерд платил князю подать, а тягловый работал на хозяина три дня в неделю, и это все. А ныне чего только ему не выдумали! Он должен, кроме подати, платить налог от дыма, от плуга, либо от сохи, от прясла [1], от скирда, от помола и от покоса, от убоя скотины и еще невесть от чего, а кто на барщине — работает пять дней в неделю на помещика. Ну, как же народу не бедовать? И потому бегут смерды кто куда горазд: одни к Москве, а другие на низ, в дикие земли. Э, да что о том говорить! Видно, прогневили мы Бога, и послал Он нам все это в науку, чтобы наперед за свою старину и друг за друга стояли покрепче. Мудрые люди давно знали, что так будет, и остерегали народ. Едва умер князь Ольгерд Гедиминович, — Ягайло был еще православным и о женитьбе на польской королеве даже не помышлял, — а наш здешний колдун Ипат уже сказал: скоро править тут будут ляхи, а русский народ пойдет из беды в беду. Так оно и вышло.

— Неужто Ипат дожил до короля Ягайла?

— Али ты знавал его, Иван Васильевич?

— Однажды довелось встретиться.

---

[1] Прясло — звено забора или изгороди, от кола до кола. Для взимания налога в Польше это расстояние определялось в среднем как две сажени.

— Ну, кто хоть раз с ним дело имел, не позабудет. Вещий был старик! Уж не знаю, святым ли он был, либо сам черт в нем сидел. Вот тебе случай с нашей Ириной: эдак год спустя после того, как ты у нас побывал, пошла она как-то в лес, по ягоды, и повстревался ей старичок древний с лукошком, собирал он травы и коренья. Николи она его прежде не видела, однако поздоровалась, либо спросила что, — уже не помню. Словом, сели они на траву отдохнуть и разговорились. Между прочим, зашла у них речь о Боге и о вере, он ей и говорит: «Что ты в этом понимать можешь? Только то, чему тебя попы учили, а много ли они сами знают? Я их хаять не хочу — есть среди них достойные и святой жизни люди, только к Богу они идут круговой дорогой, блуждая в потемках книжных писаний, я же, хотя в церкви смолоду не бывал, шел к Нему прямым путем и потому всех попов опередил». Ну, Ирина, как ты знаешь, за словом в карман не лазила, и тотчас ему в ответ: «Писания те писаны святыми пророками и апостолами», а ты говоришь «потемки», и себя выхваляешь зря. А что до попов и чернецов наших, то ведомо всем — было среди них немало чудотворцев и провидцев великих, коим за чистую веру их и за прямой путь Господь открывал и прошедшее и грядущее». А он, Ипат, значит, ей на это такое: «В том, что книги те писаны святыми людьми, знавшими Истину, я с тобой спорить не буду. Да ведь писания их всяк толкует по-своему, вот и получились потемки, средь которых прямой путь отыскать мудрено, потому и нет среди нас единой веры. Отцу же небесному всякий мил, кто идет к нему с чистым сердцем и дар провиденья Он дает тем, кто достоин. Сподобился того и я, а коли тому не веришь, давай испытаем... Вот, к примеру, поп, хотя бы духовник твой, что он о душе твоей знает? — Только то, что ты ему сама откроешь. А я тебя сегодня впервые вижу и ни о чем не спрашиваю, а послушай, что тебе сейчас скажу»... И выложил ей самый тайный случай из ее жизни, о котором ни одна душа знать не могла, да при этом еще все ее думки сокровенные как четки перебрал! О чем доподлинно речь его была, Ирина нам не сказала, но домой прибежала вся белая и с неделю ходила сама не своя, видно в самую точку колдун попал.

— Ужели жив он еще?

— Нет, помер. Прожил он, как люди считали, мало не сто тридцать лет и смерть принял годов тому с пят-

надцать. И знаешь, как умер-то? Видно, еще задолго выкопал себе в лесу яму, круглую и тесную, как колодезь, и когда почуял, что подходит конец живота его, залез в ту яму стоймя и сам себе загорнул землей, что округ была навалена, только одну голову оставил торчать снаружи. Так, много дней спустя, люди его и нашли. Голова была уже вовсе сухая, но вот диво: ни одна ворона ее, видать, не клюнула!

Беседа за столом продолжалась еще долго, и лишь на заходе солнца, с трудом преодолев натиск радушных хозяев, которые уговаривали его остаться у них погостить, Карач-мурза возвратился в город, а наутро, со своими слугами и с провожатым князя Ивана Мстиславича, выехал на реку Неручь.

* *
*

Проехав несколько десятков верст по трудным, давно не езженным дорогам, а местами — по глухим лесным тропам, либо вовсе по бездорожью, маленький отряд Карач-мурзы заночевал в лесу у костра и, продолжив путь на следующий день, к полудню был уже на месте.

Оказалось, что истоки Рыбницы и Неручи лежат почти рядом, в каких-нибудь шести-семи верстах друг от друга, на невысокой возвышенности, откуда Неручь течет в Зушу, а Рыбница в Оку.

Вверху по Неручи расстилались широкие черноземные поля, покрытые пышной травой и местами пересеченные оврагами. Изредка тут попадались небольшие болота, дубравы и перелески; ниже по течению эти перелески становились обширнее и встречались все чаще, а верстах в двадцати от истоков сливались уже в сплошной лес, который еще дальше переходил в густой хвойный бор, где несметной ратью высились могучие, прямые сосны, годные на постройки. В Неручь справа и слева впадало много ручьев и мелких речек; все тут покоилось в первобытной тишине и было безлюдно — за целый день путникам встретились лишь три глухих деревушки, в пять-шесть дворов каждая.

Место Карач-мурзе понравилось, и он решил не искать иного. Снова заночевали в лесу и выбрали удобную для поселения поляну, где до постройки домов надлежало поставить войлочные шатры, которые везли

они с собой и пока оставили в Карачеве. Через два дня Карач-мурза возвратился в бывшую столицу предков и получил от князя Ивана Мстиславича опись рубежей своего нового владения. Она была немногословна:

> «От места источного реки Неручи, что течет в Зушу, по левому берегу тоя реки на семь поприщь[1] вширь, а по длине поприщь на тридцать вниз по той Неручи, до речки безымянной, что в Неручь течет с восхода, а на другом ее берегу три высоких камня.»

На следующий день Карач-мурза отправил гонца с этой описью в Вильну, к Витовту, а другого к Юсуфу, в его улус. Сыну он писал, что литовский государь принял его милостиво и дал много земли в княжестве их предков, и далее наказывал отправить к нему ханум Хатедже и Абисана не медля, а с ними тех татар, числом до пятисот семейств, которые согласятся принять христианскую веру и за то обрести спокойную и сытую жизнь. Просил также пригнать к нему с тысячу коней и несколько тысяч овец, указав путь окраинами Рязанской земли.

Тот же гонец повез письмо Джелал ад-Дину, с извещением о том, что великий князь Витовт предлагает ему и Кериму-Берди приют и помощь, соглашаясь принять их вместе со всем войском, которое они смогут с собою привести.

Покончив с этими делами, Карач-мурза со своими людьми, взяв с собою шатры и закупив все необходимое на первое время, выехал в свое новое поместье.

ГЛАВА IV

> «Пусть не печалят тебя те, которые устремляются к отходу от истинной веры: ведь они ничем не могут повредить Аллаху, а себя накажут».
>
> *Коран*

Место для будущей усадьбы и для поселка Карач-мурза выбрал верстах в двадцати от истоков Неручи, в начале лесистой части своих владений. Тут была широкая поляна, которую лес охватывал подковой с трех

[1] Поприще — древнерусская мера длины, близкая к версте.

сторон; с четвертой открывался вид на реку, протекавшую в полуверсте отсюда, и на раскинувшиеся за нею поля.

Здесь поставили три привезенные с собой шатра и, едва это было сделано, Карач-мурза послал своих людей в замеченные поблизости деревни, с приказанием всем взрослым мужчинам явиться к нему утром, в ближайшее воскресенье.

Их пришло тридцать семь человек. Столпившись на поляне, они хмуро и удивленно глядели на появившегося из шатра седобородого татарина. Но удивление их еще возросло, когда этот татарин обратился к ним на чистом русском языке и сказал:

— Земля, на которой вы живете, теперь принадлежит мне. Те из вас, которые захотят остаться на старом месте, будут работать на меня два дня в неделю. Я думаю, для вас это будет лучше, чем платить все те налоги, которые вы сейчас платите, потому что тот, кто у меня останется, будет от всех налогов освобожден. Если среди вас есть несогласные с этим, они могут уйти — кругом много свободных земель. Избы уходящих и все, чего они не смогут взять с собой, я куплю для тех, кто придет на их место. Подумайте и потолкуйте между собою, а через полчаса скажете мне ваш ответ. — С этими словами Карач-мурза повернулся и вошел в свой шатер.

Не прошло и двадцати минут, как Нух доложил, что крестьяне просят его выйти к ним.

— Все бы согласны остаться, господин, — промолвил стоявший впереди других пожилой мужик. — Вестимо, эдак как ты сказал, нам будет получше. Только вишь ты, какое дело... Уж не знаю как и обсказать-то его, чтобы не прогневить твою милость.

— Говори и ничего не бойся. Я обижаться не стану.

— Ну, ладно, коли так, не обессудь... Не поймем мы, кто ты будешь таков и откель взялся? Видим, господин важный, но будто, татарин, может и веры басурманской. А досе нам татары были первые вороги. И боятся люди, что ты не позволишь им молиться по-нашему, а то и погонишь опосля в Орду.

— По роду я не татарин, — улыбнувшись, ответил Карач-мурза, — только лишь прожил долго в Орде. После вы узнаете, кто я, и, думаю, не станете жалеть, что у меня остались. Землю эту мне дал великий князь Витовт Кейстутьевич. Здесь поселятся многие татары,

но все они примут христианскую веру и будут вам не только добрыми соседями, но и защитой от других татар. А Богу все будем молиться одинаково, как вы и доселе молились. В этом же году поставлю тут христианскую церковь, которую сами вы будете строить в счет барщины, либо по вольному найму. И поп у нас будет свой. Что еще хотите вы знать?

— Да, быдто, более ничего, — ответил старший крестьянин. — Коли так, дело ясное. Останемся все у твоей милости, а там поглядим, уйти николи не поздно. Как величать-то тебя велишь?

— Зовите Иваном Васильевичем.

— Ну, исполать тебе, батюшка Иван Васильевич, на новосельи!

— Спасибо. Коли буду вами доволен, помогу всякому, у кого явится в том нужда. Другим смердам, кои вблизи живут, при случае говорите: кто захочет перейти ко мне, того приму, дам земли и пособлю, чем надо, а ряд[1] с ними будет такой же, как с вами: два дня барщины на неделе.

— Скажем, батюшка, всем. А что велишь нам-то делать?

— Начинайте рубить и очищать в лесу сосны для построек и свозить бревна на эту поляну. Кто сейчас может работать больше двух дней в неделю, тому на будущее зачту, либо уплачу деньгами, как кто захочет. А после строить начнем. Есть среди вас добрые плотники?

— Как не быть! С топором да с деревом всякий из нас, почитай, с малолетства породнился.

— Ладно. Завтра пусть старосты придут ко мне, я укажу, где валить деревья. А пока с Богом!

* *
*

Стояло лето, до жатвы оставалось больше месяца. В эту пору крестьяне были почти свободны от своих хозяйственных работ, и потому заготовка бревен пошла споро. Неделю спустя, убедившись в том, что дело наладилось и идет самотеком, Карач-мурза, взяв с собою Нуха, отправился в Елец, до которого от его поместья было около сотни верст.

---

[1] Ряд — договор, соглашение.

Дорога почти все время шла полями и была легка, а потому, выехав на рассвете, путники к заходу солнца уже въезжали в город.

Елецкое княжество в ту пору было уделом Рязанского и находилось уже за пределами Польско-Литовского государства, что сразу было заметно по большему благосостоянию сел и деревень, встречавшихся по пути. Несколько десятков лет тому назад, когда на великом княжении в Карачеве сидел отец Карач-мурзы, Василий Пантелеевич, Елец принадлежал ему. Но в связи с дальнейшими событиями и возвышением Козельских князей, этот город перешел в удел к внуку князя Тита Мстиславича — Федору Ивановичу, известному своим участием в Куликовской битве. Ему наследовал его старший сын Иван, убитый при захвате Ельца Тимуром, а ныне княжил тут второй его сын, Василий Федорович.

За истекшие десять лет город уже вполне оправился от страшного разгрома, которому подверг его Железный Хромец, и был много больше нынешнего Карачева. Стоял он на левом, возвышенном берегу реки Сосны и был обнесен новыми бревенчатыми стенами, со многими глухими и проездными башнями. На другом берегу реки тоже виднелось немало построек, там размещались ремесленные слободы.

Богородицкий женский монастырь находился в самом городе, на краю спускавшейся к реке кручи, и тоже был обнесен высокой бревенчатой стеной. Пока Карач-мурза его отыскал, уже стемнело, а потому он счел более удобным переночевать на постоялом дворе и только утром возвратился сюда.

Встреча с Ириной произошла совсем не так, как рисовало воображение Карач-мурзы. Он был уверен, что она его не узнает и нарочно не сказал своего имени послушнице, которая пошла докладывать игуменье о посетителе. Одежда на нем была на этот раз русская.

Но Ирина узнала его сразу и встретила без всякого удивления, словно давно ждала. Впрочем, радости своей она не старалась скрыть и с первых же слов сумела придать этому свиданию и всему дальнейшему разговору простой, родственный характер, исключавший всякую натянутость. Может быть она, годами ожидая этой встречи, давно была к ней готова и сотни раз продумала, как себя повести, а может быть, это пришло к ней внезапно, но все как-то сразу стало на свое место, слов-

но после долгой разлуки встретились брат и сестра, с детства близкие друг другу и связанные тесными семейными узами.

Ирине уже минуло шестьдесят пять, волосы ее были белы, но держалась она прямо и бодро, глаза были ясны, а в лице еще угадывалась красота молодости. Карач-мурза был на два года моложе, но то же самое можно было сказать и о нем. В молодых годах они мало походили друг на друга, но теперь, когда время одинаково поработало над ними, в их чертах появилось много сходства и, видя их вместе, никто бы не усомнился в том, что это брат и сестра. Вскоре они, с чувством обоюдной радости, это заметили и сами.

Беседа их затянулась на много часов, ибо каждому нужно было рассказать о себе все, за минувшие долгие годы. Впрочем, Ирина больше слушала, а говорил Карач-мурза — его жизнь была стократ богаче событиями. Солнце уже клонилось к закату, когда он поднялся, собираясь уходить. Но Ирина его задержала:

— Погоди. О самом важном у нас еще не говорено: веры-то ты и доселева басурманской. Заметила я, что в келию мою вошедши, не помолился ты на святые образа, да и Аллаха в беседе нашей не раз помянул. Так не гоже. Коли воротился ты навечно в землю отцов своих, надобно тебе и веру истинную принять.

— Я хочу это сделать и к тому давно был готов, — ответил Карач-мурза. — Но вот, князь Витовт, когда был я у него в Вильне, мне совет дал креститься у попов-католиков. Они тоже Христа чтут Богом и в чем тут разница я, по-правде, не знаю...

— В чем разница! — горячо перебила Ирина. — Коли говорить о вере и об обрядах, то разницы особой будто и нет, но не в этом суть. Русь испокон веков держится на своем православии, а католики — наши извечные враги. Почему так, — не знаю. Может, потому, что вера наша тихая и благостная, мы ее силою никому не навязываем, а католику жизнь не мила, доколе он всех не заставил по-своему верить и молиться. И во имя Христа, который заповедывал нам любовь и кротость, льют они реки крови. Нешто не знаешь, что было не столь давно в Прусской земле и на Жмуди?

— Так ведь то немцы.

— А немцы не католики? Ляхи, правда, такого не делают, но не сам ли ты сказывал ныне, как обижают

они православных людей в Литовских землях? Неужто хочешь стать им пособником?

— Я и в мыслях того не имел. Думал — одинаковые христиане и те, и эти, только лишь имамы у них разные...

— Имамы? А это кто же еще такие?

— Прости, сестра. Имамы — это у мусульман. Я хотел сказать — главные попы, митрополиты, что ли. Ну и вот, поелику князь Витовт сказал, что инако король Владислав не вернет мне Карачевский стол...

— Ну, вот видишь! — снова перебила Ирина. — О том я тебе и толкую: всегда у них понуждение, не то, так иное. Либо купить человека в свою веру хотят. Ты, может, не слыхал о том, что сей король Владислав-Ягайло, со своей молодой женой, королевой Ядвигой, невдолге после венца объезжали литовские земли, а за ними ехали польские попы, и шел обоз с одеждой. И по деревням и селам бирючи кричали: кто перейдет в католическую веру, тому дадут новые порты и рубаху! Это, вестимо, смердам, а тем, кто повыше — отрез сукна давали, кафтан, либо шубу [1]. Ну, а ты еще повыше — тебя княжением норовят купить. Но по мне лучше чистую совесть и веру отцов сохранить, нежели называться князем и, сидя в том развалившемся Карачеве, быть прикащиком чужого короля! И заметь: даже Хотет вере своей изменить не схотел. Ужели ты хуже его?

— Может быть, и хуже, потому что я своей мусульманской вере изменяю, — улыбнулся Карач-мурза. — Но не будем больше говорить об этом: я все понял и приму православную веру.

— На том да благословит тебя Христос! А когда окрестишься?

— Не знаю, сестра. Вот, когда поеду в Карачев...

— А чем тебе Елец плох?

— Елец?

— Ну, да. Тут мы тебя, не мешкая и окрестим.

— А разве можно так, сразу?

— Коли еще на день тут останешься, можно. Вестимо, надо бы тебя к тому получше наставить, да верю, что для такого случая Господь мой спех простит, ибо боюсь: уедешь ты и опять тебя кто-либо учнет с толку сбивать.

---

[1] Исторический факт, о нем оставил свидетельство польский историк Ян Длугош.

— Нет, сестра, больше меня никто не собьет. Однако и впрямь откладывать дело нет нужды, да и любо мне будет, что не кто иной, а ты сама меня в веру отцов введешь.

— Ну, введу-то не я, а крестной матерью твоей буду, это для меня великая радость. И отца достойного найдем. Хочешь князя нашего, Василея Федоровича? — спросила Ирина, немного подумав. — Он человек добрый и уже в летах.

— Не надо князя, — сказал Карач-мурза. — Пусть лучше будет совсем не знатный человек, старик какой-нибудь.

— И правда, так лучше, — понимающе взглянув на него, промолвила Ирина, — будто сам народ русский станет твоим восприемником. Есть у нас такой старый дед, за бортями[1] монастырскими смотрит, тут же и живет под стеной обители. Сейчас пошлю за ним и за отцом Герасимом, что у нас требы справляет. Крестик крестильный тоже тебе найду.

— Не надо, сестра,— сказал Карач-мурза. С этими словами он расстегнул ворот кафтана и, сняв с шеи золотую цепочку, на которой висели две кожаные ладанки, начал распарывать одну из них. В ней оказался зашитым золотой крестик.

— Узнаешь? — спросил он, протягивая его Ирине.

— Мой крестик! — воскликнула она. — Неужто всю жизнь на себе носил?

— С того самого дня, как получил.

— А почто его в кожу зашил?

— Как бы я, мусульманин, носил его открыто?

— И то правда. А в другой ладанке что?

— Молитва из Корана.

— Сжечь ее теперь надобно.

— Думаю, нехорошо это будет, — помолчав, промолвил Карач-мурза. — В ней нет ничего худого, это святые слова, с которыми и христианин мог бы обратиться к Богу. Лучше я ее закопаю где-нибудь в лесу.

— Ну, что ж, закопай, — согласилась Ирина. — А вот погляди на это, — добавила она, доставая из ларца, стоявшего под божницей, золотой перстень с голубым бриллиантом. — Тоже с той самой поры с ним не расставалась. Носить его на пальце мне, по иночеству моему, ныне не подобает, так я его в божнице храню.

---

[1] Борть — улей, бортник — пасечник.

* *
*

Вскоре пришел отец Герасим и после короткого совещания с игуменьей попросил Карач-мурзу последовать с ним в церковный притвор, для наставления в основах православной веры.

Они уже переступили порог кельи и Ирина готовилась затворить за ними дверь, когда Карач-мурза, вспомнив что-то, внезапно остановился.

— А не можно, сестра, вместе со мною еще одного окрестить? — спросил он.

— Кого это? — удивилась Ирина.

— Нукера моего, Нуха. А то как завтра домой поеду с поганым басурманом? — добавил он, стараясь под шуткой скрыть овладевшее им волнение.

— Коли так, окрестим и его, — улыбнувшись ответила Ирина. — Зови сюда своего басурмана.

Выйдя за ограду монастыря, где под деревьями ожидал его Нух с лошадьми, Карач-мурза сказал:

— Нух! Сегодня мы назад не поедем. Ныне я принимаю христианскую веру.

— Да будет благословенно имя Аллаха! — ответил нукер. — Значит, такова Его святая воля, оглан.

— Тебе тоже следует это сделать.

— Ты мой начальник и мудрый человек, оглан. И если ты принимаешь христианскую веру и говоришь, что мне тоже нужно принять ее, я готов, пресветлый оглан, ибо знаю, что ты не пожелаешь зла ни себе, ни мне.

— Тогда иди за мной!

Беседа отца Герасима с новообращаемыми длилась почти до полуночи. За этим последовал чин отречения их от Ислама, а после исповедь. Остаток ночи они провели в уединении и молитве, а наутро были крещены, причем Карач-мурза получил имя Ивана, а Нух — Наума. Затем оба прослушали литургию и были допущены к таинству причастия.

После скромной трапезы, которую игуменья предложила всем участникам этого события, Иван Васильевич сделал щедрое пожертвование на монастырь, оставил сестре несколько золотых, чтобы потом, как бы от себя, дала их старику крестному, и простившись со всеми, под вечер пустился в обратный путь.

ГЛАВА V

> «И рече те татарове тако: не срам бо есть нам покорится, пишут бо наши книги и христианския яко же в грядущие лета соединятся тут все языци и будут во единой хрестьянской вере под русскою державою».
>
> *Казанский летописец*

Четыре месяца спустя на Неручь пришел из Орды громадный обоз, с которым прибыли Хатедже и Абисан-мурза, а с ними около пятисот семей ордынцев, среди которых оказалось немало полурусских, рожденных от пленных матерей. Были и чисто русские по крови, которые лишь родились в Орде. Среди таковых находился и старый Ильяс, много лет прослуживший у Карач-мурзы нукером, давно женившийся на татарке и теперь выехавший на Русь вместе с четырьмя сыновьями, из которых трое были уже семейными, и с тринадцатилетней дочерью. Были среди приехавших и внук темника Кинбая — Якуб, сын Рагима, дед и отец которого давно полегли в битвах, а сам он успел дослужиться до сотника. Всего прибыло, считая женщин и детей, около двух тысяч человек, со всем своим скарбом и скотом. Пустынные берега Неручи сразу приняли другой вид и наполнились шумной жизнью.

Всем приехавшим, за исключением трех десятков слуг и сотни нукеров, которых Карач-мурза предполагал поместить в своей усадьбе, он отвел южную, безлесную часть своего поместья, ближе к истокам реки, где были превосходные пастбища. Природным кочевникам не понадобилось много времени на то, чтобы тут обосноваться: не прошло и недели, как жизнь их вполне наладилась и приняла привычные формы.

Поля покрылись отарами овец и косяками лошадей, к небу потянулись дымки костров, а берега реки, опушки рощ и прогалины запестрели разноцветными шатрами и кибитками. Лишь много позже, — по мере выявления преимуществ оседлой жизни и русского крестьянского уклада, — эти привычные жилища татар постепенно начали уступать место рубленым деревянным избам.

В самой усадьбе к этому времени было уже сделано многое. За истекшие месяцы на земли Карач-мурзы переселились еще несколько десятков крестьянских

семейств, многие пришли работать по найму, и потому в рабочих руках недостатка не было. Ирина прислала двух превосходных мастеров-зодчих, построивших в Ельце новый деревянный кремль, вместо сожженного Тимуром, — под их руководством постройки на берегу Неручи росли быстро и получались красивыми и удобными.

Господский дом, строившийся по плану Карач-мурзы, лишь слегка измененному после совещания с мастерами, стоял на каменном основании, на аршин выступающем из земли, а выше был, как и все другие постройки, бревенчатым. Он занимал по фронту четырнадцать сажень и состоял из средней двухъярусной части и одинаковых одноэтажных крыльев. Спереди было высокое крыльцо с резными колоннами и перилами, за ними сени, а дальше приемная палата, трапезная, рабочая горница царевича и его опочивальня. Наверху, в тереме, под крутой тесовой крышей — женское царство: светлица и опочивальня хозяйки и девичья; в боковых крыльях — горницы для гостей, хозяйственные каморы, службы и прочее. Помещения были просторны и теплы, окна шире, чем делались обычно на Руси, ставни их и наличники украшались искусной резьбой. К началу зимы средняя часть дома и левое его крыло были полностью закончены.

Позади этого дома, шагах в тридцати, строились помещения для слуг, бани и мыльни, а сзади, у самой опушки леса конюшни, овины и сараи. По бокам поляны, справа, ставились три большие избы, в два сруба каждая, для ближайших помощников Карач-мурзы, которыми оказались сотник Якуб — начальник нукеров, и Ильяс, принявший должность приказчика по хозяйству, и Нух, ставший дворецким. По левому краю поляны строилось длинное здание, состоявшее из десятка сомкнутых вплотную бревенчатых срубов, — для неженатых нукеров, которых Карач-мурза с большим разбором набирал постепенно из молодых ордынцев и из русских крестьянских парней, считая такое смешение обоюдно полезным. Семейным нукерам строились избы поблизости от усадьбы. Держать постоянную вооруженную силу, численностью хотя бы в две сотни, Карач-мурза считал необходимым для охраны своих владений и просто в целях престижа, тем более что это не могло встретить возражений со стороны Витовта, кото-

рый поселил их здесь как оплот от возможных нападений со стороны дикой степи.

Поляна, на которой располагались все эти строения, имела больше версты в окружности и была окопана рвом, глубиной в полторы сажени и шириной в две; земля из него выбрасывалась внутрь и образовала вокруг поляны вал, по гребню которого уже начали ставить стену из толстых, заостренных сверху бревен, высотой сажени в две; изнутри к стене, во всю ее длину крепился деревянный помост, с которого, в случае осады, защитники могли отстреливаться и отбивать приступы. Спереди, у въездных ворот, строили шестигранную бревенчатую башню, в три яруса: нижний для стражи, в среднем поставили пищаль[1], которая через прорези в стене могла стрелять во все стороны, а верхний служил для наблюдения за окрестностями. Позже на этой башне был повешен колокол, в который надлежало бить в случае тревоги, пожара или по особому приказанию царевича, когда он хотел созвать всех своих людей; для каждого из этих случаев звон был установлен особый.

На половине пути от ворот к хоромам, на невысоком бугре уже заканчивалась постройка красивой бревенчатой церкви, вмещающей несколько сот молящихся. При ней строился и небольшой дом для священника.

В следующем году, когда все это было закончено, усадьба Карач-мурзы превратилась в благоустроенный и солидно укрепленный поселок-крепостицу, с хорошо налаженным полувоенным укладом жизни. Почувствовав в ней известную силу и защиту, вокруг все смелее начал оседать всевозможный пришлый люд, и пустынный дотоле край стал постепенно заселяться.

* *
*

Ханум Хатедже, которой уже минуло сорок два года, была довольна и счастлива. С первых дней своего замужества, в течение долгих лет, которые Карач-мурза проводил в постоянных походах и разъездах, она меч-

[1] Пищаль — легкая переносная пушка, прикрепленная к деревянному ложу и стрелявшая небольшими каменными или свинцовыми ядрами или «картечью» из камней и кусочков металла.

тала о том, что когда-нибудь останутся позади все эти войны, опасности и бесконечные перемены мест. Если они не прогневили Аллаха, думала она, он даст и ее семье хоть немного спокойной жизни, когда все они будут вместе, в безопасности от всяких врагов, и не надо будет постоянно бояться за судьбу мужа и сына. И вот, такое время, по-видимому, пришло. Хатедже верила, что в этом тихом лесном краю их ждет желанный покой, а потому все ей здесь нравилось, и она была полна деятельности.

Но Абисан настроения матери не разделял. Это был прирожденный воин, и находился он еще в том возрасте, которому свойственно видеть в войне одну романтику, некий кладезь славы, из которого каждый уважающий себя человек должен зачерпнуть возможно больше. Настоящую, полноценную жизнь он мыслил только в походах и сражениях и не понимал, как мужчина может стремиться к чему-либо другому.

«Отец иное дело, — размышлял он. — Его борода уже давно побелела, и он прославленный воин, о его подвигах знает вся Орда. Но разве я не должен прославиться тоже и всем показать, что достоин называться его сыном?» И в силу такой настроенности ему совсем не улыбалась мирная жизнь в этом глухом углу. Но он любил отца, почти благоговел перед ним, слово его было для Абисана законом, а потому он безропотно подчинился и приехал с матерью сюда, хотя ему очень хотелось остаться в Орде, у Джелал ад-Дина, который будет много воевать с Идику и с другими ханами, добиваясь престола. Впрочем, он утешал себя тем, что и здесь не всегда будет спокойно. «Ведь отец недаром укрепляет свой улус. Русские храбрый народ, они тоже любят воевать и, наверное, часто станут нападать на нас», — думал он. И совсем повеселел, когда узнал, что Джелал ад-Дин со своими туменами тоже идет в литовские земли и может быть будет стоять где-то поблизости.

Карач-мурза не преувеличивал, когда сказал княжичу Михаилу, что Абисан выглядит старше своих пятнадцати лет: ему и в самом деле никто не дал бы меньше восемнадцати. Он был высок ростом, широкоплеч, но статен и тонок в талии; сила и ловкость сейчас сочетались в нем гармонично, но было заметно, что с годами сила возьмет верх над всем. Лицо его было не столь красиво, как выразительно, соединяя в себе черты

и русских и восточных предков. Так, разрез глаз имел у него еле уловимую азиатскую косинку, но сами глаза были большие, карие, с изогнутыми бровями. Если бы кто-нибудь здесь помнил князя Василия Пантелеевича, он сразу сказал бы, что это его глаза; нос у Абисана был хорошей формы, но с чуть раздутыми, хищными ноздрями, и на нем явственно обозначалась характерная тимуровская горбинка.

По характеру Абисан казался уравновешенным, но эта черта была выработана искусственно, он имел страстную натуру, и под внешней оболочкой невозмутимости горел в нем вечный огонь. Иной раз он способен был совершить самый отчаянный и безрассудный поступок, сохраняя при этом полное наружное спокойствие.

Карач-мурза видел эту необузданность, но понимал, откуда она происходит, и строго не судил сына, даже втайне гордился им, находя в нем столь ценившиеся тогда черты воина-рыцаря, которыми и сам он в высокой степени обладал. Но у него эти черты были смягчены и дополнены большим образованием, а Абисан, в силу обстоятельств, не получил почти никакого: он только умел читать и писать по-тюркски, да стараниями отца довольно хорошо владел русской разговорной речью.

* *
*

К Рождеству церковь была совершенно закончена и украшена образами, которые Карач-мурза заранее заказал иконописцам ближайших монастырей, а частью получил в дар от князя Хотета. По ходатайству Ирины, рязанский епископ прислал на Неручь священника, отца Паисия, который принял новый приход и освятил церковь во имя святого архангела Михаила.

В скором времени все обитатели Карачеевки, как местные жители стали называть усадьбу Карач-мурзы, были крещены в христианскую веру. Имена им давали, если святой был общий, — переводя их с татарского языка на русский, а если нет, — подбирая по православным святцам близкие по созвучию.

Так ханум Хатедже превратилась в Екатерину Юрьевну (отец ее звался Кидырем — мусульманским именем Георгия Победоносца), Абисан — в Арсения,

жена Нуха, Фатима — в Феодосию, сын их, Гафиз — в Гавриила. Ильяс стал, конечно, Ильей, его жена, Мариам, — Марией, сын их, Хайдар, — Федором, дочь, Зульма, — Софьей. Сотник Якуб сделался Яковом, его сын, Керим, — Кириллом и т. д. В следующем году были окрещены отцом Паисием и все другие татары, осевшие на Неручи.

Вместе с русскими именами начали постепенно входить в обиход многие русские термины и обычаи. Вместо Аллаха люди в разговоре старались поминать Христа, нукеров все чаще стали называть дружинниками, а самого Карач-мурзу князем, а не огланом.

Весной следующего года от великого князя Витовта была получена грамота, укрепляющая «за царевичем ордынским Карач-мурзой» земли по реке Неручи, «на которые он, царевич, волен принимать в тягло русских смердов и татар, кои веру христианскую емлют и отдаются под руку литовского государя».

ГЛАВА VI

> «И биша псковичи чолом князю великому Василею Дмитриевичу абы помог бедным псковичам в тошна времени. И князь великий Василей Дмитриевич разверже мир с своим тестемь, с князем Витовтом псковския ради обиды».
>
> *Псковская летопись*

Прошло почти три года. Жизнь на Неручи протекала тихо, без особых событий. Только однажды, по второму году, в августе, колокол на сторожевой башне Карачеевки ударил тревогу: из дикой степи подходили татары.

Созвав в усадьбу все население русских деревень, находившихся на его земле, и приказавши, на худой случай, приготовиться к осаде, сам Карач-мурза с десятком нукеров, как и он, одетых во все татарское, выехал навстречу приближавшейся орде. Она была невелика — тысяч семь всадников, хотя этого было вполне достаточно, чтобы ограбить и опустошить всю южную половину Карачевского княжества. Но дело обошлось миром: среди вышедших в набег татар многие хорошо знали Карач-мурзу, а один из начальников даже слу-

жил когда-то сотником в его тумене. Поэтому встретили его почтительно и, узнав, что здесь поселились ордынцы, отправились искать удачи в другом месте.

Но если было тихо и спокойно в этом лесном углу, то во внешнем мире за минувшие три года произошло немало крупных событий.

Весной 1406 года князь Витовт пошел на Псков, из-за которого у него завязалась война с Москвой. Военные действия шли вяло и затянулись на два с лишним года. Великий князь Василий Дмитриевич знал, что единство русских земель не прочно, — ему уже пришлось выдержать длительную борьбу с Нижегородскими князьями и с Великим Новгородом; всегда можно было опасаться враждебных действий со стороны Твери, и потому он воевал осторожно, стараясь не ослаблять своего войска лишними потерями. Витовт тоже не вполне оправился от предыдущих войн, к тому же опасался того, что на стороне Москвы выступит Рязанский великий князь Федор Олегович[1], который унаследовал от отца его неприязнь к Литве и мог воспользоваться случаем, чтобы снова отбить Смоленск для своего шурина Юрия Святославича, изгнанного оттуда Витовтом. Но хуже всего было то, что большинство его православных подданных явно сочувствовало Москве. Многие русские князья, бояре и служивые люди стали отъезжать из Литвы на службу к великому князю Василию Дмитриевичу, другие перебегали к нему из литовского войска. Летом 1408 года это явление приняло такие размеры, что в сентябре, встретившись с русской ратью на реке Угре, Витовт не рискнул вступить в сражение и предложил Московскому князю вечный мир, навсегда отказавшись от своих притязаний на Псковщину. Василий Дмитриевич это предложение принял, и на том война закончилась.

Бурно развивались события и в татарской Орде. Поход Эдигея на Хорезм увенчался полным успехом: в 1406 году он овладел всей страной, посадил в Ургенче своего наместника и, убедившись в том, что сыновья и внуки Тимура целиком поглощены усобицами, двинул войско на Азербайджан и одновременно осадил город Сыгнак, отобранный Тимуром у Тохтамыша.

Хану Шадибеку, который оставался в Сарае и успел

---

[1] Старший сын великого князя Олега Ивановича, умершего в 1402 году, после пятидесятидвухлетнего княжения.

значительно усилить свои собственные позиции,- момент показался удобным для попытки сбросить с себя опеку Эдигея, и он отрешил его от должности «эмира эмиров». Эдигей этому указу не подчинился и продолжал военные действия в Азербайджане, рассудив, что не стоит прерывать их из-за Шадибека, силы которого были ничтожны. Но все же в Орде произошел раскол, которым немедленно воспользовался Джелал ад-Дин, внимательно следивший за всеми действиями соперников.

К этому времени он успел собрать на литовских окраинах порядочное войско, с которым весной 1407 года выступил в поход и, без особого труда выгнав Шадибека из Сарая, сел тут на ханство.

Узнав об этом, Эдигей покинул Азербайджан и во главе всего войска двинулся обратно в Орду. Силы его были велики, а потому Джелал ад-Дин счел за лучшее оставить Сарай и ушел в Булгар, где был принят сочувственно и признан великим ханом. Шадибек, кочевавший в Заволжских степях, сейчас же возвратился в свою столицу и стал готовить ее к осаде, ибо Эдигей был уже близко.

Но последний гораздо больше боялся Джелал ад-Дина и потому, по-прежнему не обращая внимания на Шадибека, вторгся в булгарские земли и предал их жестокому опустошению. Джелал ад-Дину удалось бежать в Москву, а Эдигей, расправившись с булгарами, двинулся на Сарай. Шадибек, успевший понять, что ему не справиться с таким противником, ожидать его не стал и с отрядом верных людей бежал в Дербент. Но по пути его настигла погоня. В завязавшейся схватке он был убит, а на ханский престол Эдигей посадил царевича Булат-Султана.

Керим-Берди, между тем, оставался в Литве. Эту первую попытку старшего брата захватить власть в Орде он считал безнадежной, ибо Витовт, занятый войной с московским князем, не мог оказать ему никакой помощи. Было весьма вероятно, что неосторожный Джелал сложит в этом рискованном походе свою голову, на что втайне и надеялся Керим-Берди. Но узнав, что Джелал ад-Дин благополучно ушел в русские земли и хорошо принят великим князем Василием Дмитриевичем, Керим, после бесплодной попытки склонить Витовта на свою сторону, сам отправился в Москву, где ему тоже был оказан ласковый прием.

На Руси братья прожили полтора года. Это дало Эдигею повод выступить против Москвы. Обвинив великого князя Василия Дмитриевича в том, что он дал приют его врагам и, кроме того, более десяти лет не платит Орде дани, осенью 1408 года эмир эмиров вторгся с огромным войском в русские пределы, разграбил Нижний Новгород, Городец, Юрьев, Серпухов, Коломну и многие другие города, а потом осадил Москву.

У него почти не было артиллерии, а потому из-под Москвы он послал гонца к Тверскому князю Ивану Михайловичу[1] с приказанием выступить на помощь орде со всем войском и с пушками. Положение князя Ивана было трудным: с Москвой он старался ладить и обострять с нею отношений не хотел, ибо у него шли бесконечные усобицы с братьями и племянниками, и он чувствовал себя на великом княжении не очень прочно. Но ослушаться Эдигея — значило обречь свою землю на разорение. Рискуя головой, Тверской князь прикинулся дурачком, не понявшим приказа, хитрил и изворачивался, но помощи Эдигею так и не оказал.

В начале осады великий князь Василий Дмитриевич успел выехать из Москвы в Кострому, и город защищал князь Владимир Андреевич Серпуховский. Он держался стойко и в течение месяца успешно отбивал все приступы неприятеля.

Тем временем Джелал ад-Дин, стоявший со своими татарами в Мещере, быстро двинулся на Волгу и, внезапно появившись под Сараем, снова захватил его. Бежавший в степи Булат-Султан сейчас же известил о том Эдигея, прося немедленной помощи.

Эмир эмиров к этому времени уже убедился в том, что Москву можно взять только на измор, а времени терять было нельзя, и потому он вступил с осажденными в переговоры. Получив с них откуп в размере трех тысяч рублей, он снял осаду и со всем своим войском спешно направился к Сараю. При его приближении Джелал ад-Дин покинул город и вместе со своими туменами ушел в литовские земли. Керим-Берди, бежавший из Москвы при подходе Эдигея, был уже тут, таким образом к концу 1408 года все возвратилось к тому положению, которое существовало три года тому назад.

---

[1] Иван Михайлович был старшим сыном великого князя Михаила Александровича Тверского, умершего в 1339 году.

ГЛАВА VII

> «Не следует преувеличивать вреда, который Русь терпела от татар... Когда иго их ослабло, это были преимущественно мелкие набеги, которые касались только пограничных земель».
>
> *С. Соловьев*

Поздней осенью 1408 года на рубежах Литвы и Дикого Поля стало неспокойно: редкие прежде набеги татар теперь следовали один за другим.

Эдигей был до крайности озлоблен тем, что Витовт дает прибежище Джелал ад-Дину, который уже дважды захватывал Сарай и лишил его возможности победно закончить поход на Русь, начавшийся так удачно. Затевать из-за этого большую войну с Литвой эмир эмиров сейчас не хотел, ибо внешняя обстановка этому не благоприятствовала: Московский князь только что помирился с Витовтом и теперь легко мог выступить на его стороне, чтобы отплатить Орде за осаду Москвы и за разграбление русских городов. Но мелкие набеги — иное дело: они причинят литовскому князю немало неприятностей .и убытков, сам же Эдигей оставался тут в стороне, ибо всегда мог объяснить их самоуправством непокорных ему татарских князьков, которые сочувствуют Джелал ад-Дину и потому кочуют поближе к нему, у рубежей Литвы.

Когда татары разграбили Курск, до которого от Карачеевки не было и ста верст, Иван Васильевич встревожился. Он знал, что этими набегами тайно руководят люди Эдигея, с которыми поладить добром ему не удастся. Следовало готовиться к вооруженному отпору. На Неручи жило теперь довольно много народу: привлеченные спокойной жизнью, за минувшие годы сюда переселились еще сотни три татарских семейств из Орды; под защиту Карачеевки стеклось немало и русских крестьян, которые запахивали тут уже не одну тысячу десятин.

Произведя перепись этих людей, Карач-мурза подсчитал, что для обороны своих владений и подступов к Карачеву он может собрать около двух тысяч бойцов. Это было не так уж мало, ибо ордынские отряды, совершавшие набеги, обычно не превышали численности нескольких тысяч человек. Сообразно этому, старый и

опытный воин быстро выработал план действий на случай тревоги.

В дикую степь, верст на сорок от границы своих земель, он выдвинул несколько сторожевых постов, которые при приближении неприятеля должны были сейчас же поджечь сложенные на особых вышках дымные костры, заметные с таких же промежуточных вышек, расставленных по пути к усадьбе, для передачи сигнала тревоги. Такой способ предупреждения об опасности позволял узнать о ней по крайней мере за сутки до нападения врага и обеспечивал время, необходимое для того, чтобы привести все в боевую готовность: боеспособных собрать в усадьбу для ее защиты, а прочее население, вместе с наиболее ценным скарбом, и стада скота укрыть в дремучей чаще леса, на заранее выбранных полянах и в оврагах, куда заблаговременно перевезли достаточные запасы сена для животных и муки для людей.

Из тех, кто мог принять участие в отражении врага, более двух третей составляли татары, которые имели все необходимое оружие. Но на несколько сот русских крестьян его не хватило. В кузнице Карачеевки спешно выковали десятка четыре мечей и наконечников для копий и стрел, но этого было мало, а железа больше не оставалось. Карач-мурза собирался купить его в ближайшем городе Меченске[1], до которого было не более пятидесяти верст, но потом передумал и решил сделать это в Карачеве, так как заодно он хотел предупредить князя Ивана Мстиславича о надвигающейся опасности и попросить у него помощи оружием. В частности, ему хотелось раздобыть еще две или три пищали, ибо в борьбе с небольшими татарскими ордами, обычно не имевшими огнестрельного оружия, их наличие могло в значительной степени уравновесить силы.

Сам Иван Васильевич оставлять в такое время свое поместье не хотел, а потому, написав письмо князю Хотету, он возложил это поручение на сына, с наказом обернуться побыстрее.

Взяв с собою десяток дружинников и несколько пустых подвод, Арсений немедленно отправился в путь.

---

[1] Меченск — древнее название города Мценска.

ГЛАВА VIII

«В области верхней Оки правили удельные князья — потомки св. Михаила Черниговского. С половины XIV века они были подчинены Литве, но пользуясь выгодами пограничного положения, служили «на две стороны» — и Литве, и Москве».

В. Ключевский

Тоска и обреченность притаились в хоромах князя Ивана Мстиславича. Сидит княгиня Юлиана Ивановна в своей светелке, вышивает шелками и жемчугом бесконечный узор на плащанице, которую готовит она к престольному празднику Свенского монастыря. Поглядит ненароком в окно на серую муть осеннего неба, на обнаженные ветви деревьев, усыпанные нахохлившимися воронами, вспомнит свою веселую юность в Вильне, и уже не жемчугом, а слезами ведет по плащанице узор.

Томясь о неведомом, бродит по темным горницам сероокая княжна Софья; выйдет иной раз в оголенный осенью сад, медленно обойдет все дорожки, будто втайне надеясь встретиться с тем, кого, не зная еще, ожидает ее душа. На диво хороша княжна в свои семнадцать лет, с эдакою красою не здесь бы ей жить. Глянет она на стылое небо и на хмурых ворон, и зайдется ее сердце печалью.

Прикорнув на постели в своей опочивальне, думает князь Хотет невеселую думу. Эк ему во всем незадача! Ни власти настоящей нет, ни радости, ни здоровья. Последнее что ни день, то хуже, — кашель извел вконец, всякий вечер лихорадит, а ночами нет сна. Чего только он не пробовал: к святыням разным прикладывался, щедро давал на монастыри, и зелья всякие пил, и растирался барсучьим жиром, смешанным с орлиной кровью, — хоть бы чуть полегчало! По весне купал его знахарь в воде, взятой из семи разных речек, а плат, которым обтер, порезал на семь частей и повесил те куски в саду, на семи различных деревьях, говорил, как истлеют они, так и хворь пройдет. Давно уж те лохмы сопрели, а у князя, ровно бы в насмешку, в ту самую пору кашель с кровью пошел...

А тут еще заехал в Карачев князь Витовт Кейстутьевич, ворочаясь в Вильну после замирения с Моск-

вой, — по пути, мол, было, а сам крюку верст двести дал. Ну, пошли пиры да растабары, Витовт от Юлианы Ивановны ни на шаг, она-де ему как дочь родная, с самой колыбели знал, а меж тем глядит на нее, как голодный кот на сало, соромно смотреть. И она, видать, тому рада, а что скажешь? — Воспитанница. Да и он тут государь и хозяин, — коли что, так и умереть дома не даст... Эх, побил бы его князь великий Василий Дмитриевич, да отобрал к Москве наши земли, вот было бы ладно! Эка жаль, что нету у меня силы в том ему пособить, с досадой думал Хотет и, эдак настроившись, малое время спустя велел позвать к нему княжича Михаила.

Княжич в отчем доме тоже был словно на перепутьи: по всему видно, родитель на свете не жилец, помрет он, и что тогда будет? Карачевскому княжеству это конец — Витовт обратит его в литовскую волость, либо в повет, как обратил уже все соседние княжества. Не зря же он, всего два месяца назад, дал ему, княжичу Михаилу, совет: ехать в Краков, на службу к королю Владиславу. Стало быть, понимай так, что Карачевским князем тебе все одно не бывать, хоть ты и законный наследник.

Ну, а в Кракове чего ему ждать можно? Он там уже побывал и уразумел воочию, что тому, кто не католик, — будь он хоть трижды князь и семи пядей во лбу, — рыцарского звания не видать, и коли дослужишься до стольника, и то почитай за великую удачу. Ему же, потомку святого Михаила Черниговского, покупать милость польского короля ценою вероотступничества никак не гоже. Ужели же нет ему краше доли и нет иного пути, чем в Краков? Лучше бы в Москву, к своему православному государю, да покуда батюшка жив, о том и думать нельзя: Витовт хоть к нему и милостив, а за такое может со стола согнать, особливо теперь, когда из-за отъезжих князей пришлось ему отказаться от Пскова и искать мира с Москвой...

— Ну, что же ты, — спросил Хотет, когда сын вошел в опочивальню и, перекрестившись на божницу, приблизился к его постели, — надумал ехать в Краков?

— То в твоей воле, батюшка. Коли скажешь ехать, — поеду.

— Неволить тебя не стану. Сам-то ты того хочешь?

— Коли говорить истину, нет у меня к тому охоты, — не сразу ответил Михаил. — Сам знаешь, батюш-

ка, каково там будет: начнут нудить, чтобы шел в католичество, я же верой отцов торговать не стану. Стало быть, едва ли выйдет мне прок от королевской службы.

— Вот и я тако же мыслю, — оживился Хотет. — И потому иное для тебя надумал: тот вражий Краков для Карачевского князя не место, ты езжай в Москву, на службу к государю великому Василею Дмитриевичу!

— Это мне больше по сердцу. Я и сам о том думал, да вот, не было бы тебе какого худа от Витовта.

— Какое еще может быть худо, коли он уже накрепко положил по смерти моей княжество наше обратить в литовскую волость? А ежели ждать не схочет и меня теперь же с княжения сгонит, так я и сам в Москву поеду!

— Коли так, я с радостью, батюшка. Уделом нашим мне все равно не володеть, так уж лучше я своему, русскому государю буду служить, нежели тем, кто этот удел у нас отымает. Когда велишь ехать?

— А чего медлить? До Рождества Христова, пожалуй, пожди, проведешь с нами святки и поезжай с Богом. Там наших русских князей из-под Литвы уже немало. Всех принял Василей Дмитриевич ласково, поместья богатые им дал и службу, коя каждому по роду его приличествует. Тако же и тебе будет. А королю Ягайле пусть ляхи служат, коли они его сердцу милее.

— Добро, батюшка, буду готовиться. Челяди много ли с собою брать?

— Душ пятьдесят возьми, а то и боле. В Москве на это глядят: коли слуг много, значит муж важный, ему и чести больше. Надобно, чтобы ты стал там высоко. То и по роду тебе пристало, да и своя у меня думка есть: Софье пора искать жениха. И покуда здесь не навязали нам какого литвина, либо ляха, хорошо бы просватать ее на Москве за кого-либо из молодых князей, родичей государя Василея Дмитриевича. Будешь там, — порадей о сестре, в том на тебя крепко уповаю.

— Не сумневайся, батюшка: положу себе это первой заботой.

* * *

Через несколько дней после этого разговора князь Хотет сидел в своей рабочей горнице, когда вошел дворецкий и доложил:

— Тут, княже, приехал с Неручи сын татарского царевича Карачея, сказывает, есть к твоей милости важное дело.

Было холодное утро, Иван Мстиславич славно пригрелся у камина. Принимать посетителя, да еще выходить для этого в нетопленную приемную залу ему не хотелось. Откуда тут и к какому спеху может сыскаться важное дело? Наверное, гиль какая-нибудь... Он совсем уже собрался ответить, что занят и чтобы приезжий зашел под вечер, но любопытство пересилило, и он сказал:

— Веди его сюда.

Через минуту, пригнувшись в дверях, чтобы не стукнуться головой о притолоку, в горницу вошел широкоплечий и ладный молодец, в синем, подбитом мехом кафтане и при сабле. Перекрестившись на образа, он довольно ловко поклонился князю.

— Будь здоров, — ответил Хотет, оглядывая мощную фигуру вошедшего. — Ты, что, сын неручьского царевича?

— Так, княже. Отец мой Иван Васильевич поклон тебе и почтенному семейству твоему шлет и грамотку велел передать твоей светлости, — ответил посетитель. По-русски он говорил правильно, хотя и с заметным татарским произношением.

— Иван Васильевич? Значит, так родитель твой стал зваться по святом крещении? А тебя как же нарекли?

— Арсением, княже.

— А годов тебе сколько?

— Осемьнадцать минуло.

— Ну, молодец ты, Арсений! Сказал бы — богатырем будешь, да ты уже и сейчас богатырь. Эк тебя вымахало в восемьнадцать-то лет! Ладно, сказывай, как батюшка твой здравствует и какие там, на Неручи, новости? — помолчав, добавил Хотет.

— Отец, слава Христу, здоров, княже, а на Неручи ныне тревожно: недалече от нас, в Диком Поле, все больше сбирается кочевых татар. Что Курск они невдавне пограбили, ты, должно быть, знаешь. Ждем мы с часу на час, что и на нас набегут.

— Эко дело! Ужели вы со своими поладить не сумеете?

— Нет, князь: это татары Идику, наши враги.

— Что же мыслите вы делать?

— Коли нападут, будем обороняться. К тому готовимся — И Арсений коротко, но толково рассказал князю, какие меры ими приняты на случай набега ордынцев.

— Вельми разумно все сладили, — одобрил Хотет. — Сразу видать, что родитель твой бывалый воин. А где же письмо его?

— Вот, княже, — промолвил Арсений, доставая из-за пазухи сложенный вчетверо лист.

— Ну, читай в голос, а я послушаю.

— Коли велишь прочесть, прочту, — просто и без смущения сказал Арсений, — только тоска тебя одолеет, покуда я кончу: в русской грамоте я не горазд.

— Да и я не очень, — улыбнулся Хотет, которому гость все больше нравился. — Ну, ежели так, погоди... — Он хлопнул несколько раз в ладоши и приказал появившемуся слуге позвать княжича Михаила.

Последний не замедлил явиться. Иван Мстиславич познакомил молодых людей, после чего княжич вслух прочел письмо Карач-мурзы. Выслушав его и задав Арсению несколько дополнительных вопросов, Хотет подумал немного и сказал:

— Я бы и рад вам помочь, ибо разумею, что для моей земли вы первый от Орды заслон. Да помочь-то, почитай, нечем. Своей дружины я не держу — великий князь Витовт Кейстутьевич ныне того не позволяет. Оружие, правда, кое-какое храню в подвалах, так ведь оно нам самим потребно: ежели придут сюда татары, надобно его раздать людям, чтобы обороняли город.

— Ну, Карачев от рубежей далеко, — заметил Михаил. — Не дойти сюда татарам, особливо если на Неручи им хороший отпор будет.

— Может и так, да все надо оберегаться, — промолвил Хотет. — Ну, так и быть, мечей дам вам дюжины две либо три, да столько же копий. Авось, сайдаков[1] лишних с десяток найдется. А пищалей у меня у самого токмо две, их отдать никак не могу.

— Батюшка, — снова вставил княжич, — а те шесть,

[1] Сайдак или саадак — лучный комплект, включавший лук с чехлом и колчан со стрелами.

что князь Витовт, проезжаючи с войны, тут оставил? Может ты запамятовал.

— Так ведь то не наши, — сказал Иван Мстиславич, с неудовольствием глянув на сына. Он хорошо помнил про эти пищали, но был скуповат и отдавать их ему не хотелось. — Витовт Кейстутьевич велел их тут поберечь, чтобы не тащить с собою в Вильну, где они ему вовсе без надобности. Но в случае какой войны он их, вестимо, обратно стребует.

— Тогда и отдадим, долго ли привезти с Неручи? А покуда, чем тут им ржаветь, пусть бы для пользы послужили.

— Ну, а если их татары отымут? Что я тогда Витовту скажу?

— А что он скажет, коли узнает, что мы, пожалевши пищалей, татар в его землю пустили?

— Эк ты скор на язык, Михайло! Тебе, вестимо, ништо, а мне потом ответ держать... Ну, ладно, коли уж нашелся у тебя такой ходатай, бери две пищали, — добавил он, обращаясь к просиявшему Арсению. — Только гляди: берегите их крепко!

— Спаси тебя Христос, княже! — поклонился Арсений. — А за пищали не опасайся. Я скорее голову положу, нежели их врагу отдам, и отец мой тоже. Дозволишь ноне же взять оружие? У меня подводы с собой, сейчас велю запрячь.

— Ну, уж и сейчас! Скоро полдник, потрапезуешь с нами, а там за дело. С оружием тебе, Михайло, поручаю: дашь ему все, что я сказал. А пока веди гостя к себе, чай у вас, у молодых, всегда сыщется, на чем поточить лясы.

— Спасибо, княжич! — сжимая руку Михаила, с чувством сказал Арсений, когда они вышли из горницы князя. — Кабы не ты, не видать бы нам пищалей и иного оружия. И, коли что снадобится, знай: отныне я тебе друг навеки!

— За ничто благодаришь, — ответил Михаил. — Разумею ведь я, что пищали для вас — это многих животов спасение, а тут они все одно без надобности. Я тебе три дам, а не две. А дружбу твою принимаю с радостью, и сам тебе буду другом.

ГЛАВА IX

> «И тако спасен бысть князь Мстислав небесным покровителем своим, святым Архангелом Михаилом».
>
> *Из архива князей Карачевских*

Арсений еще не любил — до сих пор он чуждался женщин. Но едва войдя с Михайлом в трапезную, он увидел здесь княжну Софью, ему показалось, что все окружающее внезапно ушло куда-то в небытие и в мире ничего и никого не осталось, кроме него и этой необыкновенной девушки. Он влюбился в нее с первого взгляда, со всей силой своей пылкой натуры.

В первые минуты ему даже изменило его обычное самообладание. Он не мог потом отчетливо вспомнить, как его представляли княгине и княжне, что говорилось при этом и как все очутились за столом. Только тут он несколько овладел собой и испугался: не выдал ли чем-нибудь себя? Но лица окружающих были приветливы и благодушны, если кто и обратил внимание на эту странную его растерянность, ее приписали простой застенчивости.

К счастью, за столом, кроме княжеской семьи, сидело еще несколько бояр и дворян, у них шел какой-то свой разговор, к Арсению пока никто не обращался, и это дало ему время окончательно прийти в себя. Когда князь, наконец, начал его расспрашивать о том, сколько татар осело на реке Неручи, все ли они приняли православие и как посещают церковь, он ответил на эти вопросы спокойно и вразумительно.

— А во имя какого святого поставили вы свою церковь? — спросила Юлиана Ивановна.

— Во имя архангела Михаила, княгиня, — сказал Арсений.

— То добро, — заметил Иван Мстиславич. — Должно быть, знали вы, что святой Архангел особо чтится у нас как заступник и покровитель нашей Карачевской земли?

— Знали, князь. Но мы еще больше чтим архангела Михаила потому, что он темник Божьего воинства и покровитель храбрых.

— Темник? — засмеялся Хотет. — Ты что же, мыслишь, что небесное воинство устроено на подобие татарской орды?

— Я хотел сказать — воевода, князь, да слово-то не пришло сразу на ум, — смутившись, промолвил Арсений. Бросив взгляд на княжну, он заметил, что она, глядя на него с приязнью, весело смеется вместе со всеми. Ее лицо, теперь осветившееся, словно утренней зарей, показалось ему таким ослепительно прекрасным, что он поспешно опустил глаза.

— Воевода, это так, — сказал Иван Мстиславич. — И коли выбрали вы Архангела своим покровителем, он вам беспременно против врагов поможет. Вот послушай, что приключилось однажды с родителем моим покойным, с князем Мстиславом Святославичем. Зимою как-то поехал он в лес, с двумя своими людьми, брать из берлоги медведя. Берлогу, вестимо, нашли заранее, подъехали близко на санях, слезли, обошли ее, подняли медведя и взяли его на рогатины без особой мороки. Ну, стали те двое обдирать тушу, а отцу ждать наскучило, достал он из саней лук и туло[1] со стрелами и пошел побродить по лесу. Невдолге видит: сидит на суку здоровенный глухарь, но далеко, не достанешь. Наложил он стрелу на тетиву и стал подкрадываться; с глухаря глаз не спускает, под ноги глядеть неколи, ну и провалился в другую медвежью берлогу! Как почуял, что под ним зверь зашевелил, выскочил он из ямы, лук обронил, — да и зачем ему лук, когда он на медведя мало не верхом сел! Едва нож успел вытащить, а мишка уже из берлоги вылез, да на него! И на беду не встает на дыбы, чтобы можно было ловко ножом ударить, а налетел как кабан, плечом родителя с ног сбил, одной лапищей наступил на руку, в которой нож был зажат, а другою рванул на груди кафтан и разодрал его до самого пояса. Отец с животом простился, помянул Христа и лежит недвижно, ждет, что зверь его сейчас вторым ударом прикончит. Но тот что-то медлит. Приоткрыл он глаза и видит: медведь морду нагнул и не то разглядывает, не то нюхает образок архангела Михаила, что родитель всегда на себе носил. Потом ступил тихонько в сторону, да и пошел себе в чащу, не сделав отцу никакого худа. Защитил, стало быть, от зверя святой Архангел!

— Под медведем и мне случилось побывать, — промолвил один из бояр. — Выбил у меня из рук рогатину,

[1] Туло — русское название колчана. Последнее слово татарского происхождения.

да и насел. Полбока успел ободрать, покуда брат мой меньшой подбежал на помощь.

— Сказывают, коли упал, надобно прикинуться мертвым, — заметила княгиня, — тогда медведь не тронет.

— Ну, это какой медведь! Бывает, что не тронет, а чаще того задерет насмерть и спасибо не скажет человеку, что смирно лежал. Так с Кирюшкой было, с брянским зверовщиком, сыном однорукого Федьки. Сорок девять медведей убил он на своем веку, пошел добывать пятидесятого и, когда уже наставил на зверя рогатину, посклизнулся и упал носом в снег. Ну, тут уж иного не оставалось, как прикинуться мертвым, — только медведь, видать, не знал того обычая, о коем ты говоришь, княгинюшка, и мигом сделал из него настоящего покойника: расплющил голову, словно пустой орех!

Все пожилые гости наперебой стали вспоминать случаи, с кем-либо приключившиеся на охоте, и заспорили о привычках медведей. Это дало возможность молодым, сидевшим вместе на конце стола, завязать вполголоса свой собственный разговор.

— А тебе случалось ли убивать медведей? — спросил княжич Михаил у Арсения.

— Четырех уже взял. Их там много, в лесах на Неручи.

— И всех в чистую? Ни один тебя не драл?

— С первым помаялся. Не было еще у меня сноровки, — неловко сунул рогатиной, медведь с нее сорвался и на меня! Пришлось топором его бить, счастье что прихватил с собою. Однако он мне кафтан изорвать успел и плечо малость поранил. Ну, а других взял хорошо.

— И всех на рогатину? — спросила княжна, внимательно слушавшая их разговор.

— На рогатину, — зардевшись от счастья, ответил Арсений. — Ну, а как же еще?

— А тут сейчас говорили: бьют и ножом.

— Ножом? А вот, я спробую, — сказал Арсений.

— Ой, не надо, я не к тому! — воскликнула княжна.

— Почто не надо? Я люблю так: если что сказал, сделаю беспременно. А тебе, княжна, шкуру пришлю с того медведя, коли будешь милостива принять ее.

— Приму, если рогатиной его убьешь, а не ножом.

— Ты лишь прими, — улыбнулся Арсений, — а чем я медведя бил, о том знать будем только я да он.

— А я доселева одного лишь взял, — с сожалением в голосе промолвил Михаил. — Да и то, коли говорить правду, подсобил мне непрошенно мой холоп и тем мне всю радость испортил. Хорошо бы еще пойти нынешней зимой!

— Вместе пойдем! — воскликнул Арсений. — Вот, как снег хороший ляжет, — того уж недолго ждать, — приезжай к нам на Неручь, нешто тут далеко? А я к тому дню велю нашим людям отыскать да заметить в лесу две либо три берлоги. Славно половничаем. Приезжай, княжич, будь ласков!

— Что ж, может и приеду.

— Счастливые вы, что родились мужчинами, — вздохнула княжна. — Во всем вам простор и воля, а нам — сиди в четырех стенах да гляди, как жизнь стороною течет.

— Али и ты хотела бы на медвежий лов, княжна? — спросил Арсений.

— Вестимо, хотела бы! Пусть бы только поглядеть. Да нешто женщине возможно такое?

— Каждому свое, — засмеялся Михаил, — нам в сердце колоть медведей, а вам медвежатников!

* *
*

Наутро следующего дня Арсений с шестью подводами, нагруженными железом и оружием, возвращался в Карачеевку. Ехать было трудно, ибо ночью выпал обильный снег, колеса в нем вязли и скользили, но Арсений был доволен и почти счастлив.

С поручением отца он справился удачно: вез с собою три отличные пищали и запас огневого зелья к ним, а ручного оружия много больше, чем обещал князь Иван Мстиславич. Княжич по дружбе расстарался и тут: дал ему пятьдесят мечей и сабель, сорок копий да двадцать четыре саидака, а после еще с десяток чеканов[1] прикинул.

Кроме того, половину купленного железа Михаил предложил оставить в Карачеве, с тем, чтобы без промедления отковать из него в городских кузнях сколько

[1] Чекан — боевой топор.

выйдет мечей и копий, а когда они будут готовы,— пришлет, либо сам привезет их на Неручь.

Но хотя и радовало все это Арсения, сейчас мысли его были заняты не столько оружием, сколько княжной Софьей. Нежный образ ее, волнующий кровь и сердце, неотступно стоял в его памяти, Снегурочкой мерещился под каждой елью, прекрасной полудницей-зимовницей[1] выплывал из-за поворотов дороги, тихим ангелом летел впереди, указывая путь.

«Только полюби, девонька моя желанная, уж тогда никому тебя не уступлю,—думал он.—И не то что на медведя, а на самого шайтана за тебя с ножом пойду!»

ГЛАВА X

«Когда спросили — что хорошо, медведь ответил: увидеть охотника раньше, чем он тебя увидел».

Восточная поговорка

Три недели спустя, уже перед самым Рождеством, в Карачеевку приехал, в сопровождении нескольких слуг, княжич Михаил и привез с собою сделанное в городе оружие. Его тотчас принялись разгружать и сносить в клети люди Карач-мурзы.

— А вот тут я тебе особый подарок привез,—указывая на отдельно стоявшие сани, сказал княжич Арсению, который, завидев въезжающего в ворота гостя, первым выбежал к нему навстречу.

— Какой еще нужен мне подарок, коли ты сам приехал! Краше того не выдумаешь!

— А ты все же погляди.—С этими словами Михаил откинул полость, закрывавшую сани. В них лежали тяжелая пищаль, бочонок с порохом и мешок с порезанным на мелкие куски свинцом.

— Вот это пищаль!—воскликнул восхищенный Арсений.—Нутро ствола поперек себя в добрый вершок! Где ты такую добыл?

— У брянского воеводы на сокола выменял. Сокол был у меня важный, всем на зависть, только сам я со-

---

[1] Полудница, по народному поверью, одна из разновидностей русалки.

колиного лова не люблю, и он мне без надобности. А тот воевода лютый соколятник, он не то что пищаль, жену бы за него отдал. Вот и сладились.

— Ну, спаси тебя Бог, княжич! Мы ее на башне у ворот поставим, а ту, что там сейчас стоит, меньшую, возьмем на стену. Теперь как раз по пищали на каждый угол выйдет, опричь этой.

— Пищаль знатная, — сказал Михаил. — Она у воеводы, словно баба, Акулькой звалась. Можно из нее стрелять круглыми камнями, но коли отбивать приступ, лучше резаным свинцом, две жмени, а то и три заложить можно. И что ни дальше — куски свинца шире разлетаются, шагов на двести она тебе человек десять с одного разу положит. А грому сколько! Другие десять со страху помрут.

— Али ты из нее палил уже?

— Там же, в Брянске, спробовал ее и на камень и на свинец, прежде чем сокола отдать. Чуть не подох, бедняга, с перепугу, пока я палил!

— Ну, еще и еще тебе спасибо! Бог даст, найду случай отквитаться с тобою. А сейчас идем в хоромы, закусим, отдохнешь с пути, а после я тебе тут все покажу.

— А на медведей пойдем?

— Вестимо, пойдем! Три берлоги я уже знаю, а коли надо будет, наши люди еще сыщут.

* *
*

На следующее утро Арсений и княжич Михаил, в легких, не стесняющих движений полушубках, вооруженные рогатинами и длинными, остро отточенными ножами, вышли из ворот усадьбы и почти сразу очутились на опушке леса, откуда по узкой просеке зашагали в его девственную глубину.

Третьим шел с ними крепкий парень, одногодок Арсения, сын Нуха и Фатимы, к которому как-то не пристало его христианское имя — Гаврюшка, и почти всего его звали Гафизом. Он нес с собою тяжелый топор, длинный шест с заостренным концом, полутороаршинную доску, с набитыми в нее короткими гвоздями, и какой-то обвязанный ремешком войлочный сверток.

— А что это он несет? — спросил княжич, заинтересовавшийся назначением двух последних предметов.

— Доска с гвоздями, это чтобы медведя на дыбы поднять. Без того он редко встает, как вылезет из берлоги, так на четырех лапах на тебя и кидается. А коли ты его один взять хочешь, без нашей помоги, надобно, чтобы он в рост поднялся, инако не сдюжишь.

— А сверток зачем?

— Сверток, то для меня. А зачем он, вот погоди маленько, узнаешь,— загадочно ответил Арсений.

Лес, между тем, становился все гуще и темнее. Лиственных деревьев тут уже почти не было, лишь кое-где виднелись белые стволы берез с заиндевевшими, словно белым пухом поросшими ветвями; зато, куда ни глянь, всюду башнями дыбились огромные ели, внизу почти черные, а чем выше, тем обильнее и краше убранные снегом. Ветви вековых сосен сверху почти перекрывали просеку, поэтому снег на ней лежал неглубокий, идти было легко, и через час охотники уже отдалились от усадьбы версты на четыре.

— Тут надобно свернуть,— сказал Арсений, разглядев на одном из древесных стволов сделанную накрест свежую зарубку.— С версту пройдем по чащобе, там и берлога. Только теперь надо идти тихо и поглядывать по сторонам: это место медвежье и можно повстречаться со зверем, который еще не лег.

— Ужели есть такие, что до самого Рождества бродят?

— Есть. Медведица, та лезет в берлогу рано, в половине ноября уже спит. Медведь же, особливо старый, после того еще, бывает, и месяц не ложится. А у иного и так случается: он приготовит логово с осени, но когда пришло ему время залечь, беспременно обойдет не раз всю окрестность и, ежели учует что неладное, особливо следы человека, тогда уже в ту берлогу не ляжет. И хорошо, коль время ему останется сыскать другую, а бывает, что не успеет,— завалит все снегом, под ним доброй ямы не найдешь, вот он и бродит всю зиму. Тогда он лют и много беды натворить может. Дня за три до твоего приезда такой шатун проломил ночью стену хлева в одной нашей деревеньке и унес овцу.

— Неужто и на жилье нападают?

— Нападают. А что им делать? Летом медведь наедается желудями, кореньями, ягодами и медом, никакой мелкой тварью не брезгует, случается рыбу словит,— харча ему много, и он всегда сыт. А зимою не

то: хочешь не хочешь, а надо кормиться мясом. Потому он и скотину тебе не упустит, а коли случится, нападет и на человека, хотя летом сам от него бежит. Ну, однако, тут надо идти молчком, — добавил Арсений, — уже подходим.

Минут через десять, соблюдая полную тишину, путники вышли на небольшую поляну, поперек которой лежала толстая, видимо поваленная бурей сосна, обильно присыпанная снегом.

— Тут, — шепотом сказал Арсений, останавливаясь. — Вон, гляди, желтое пятно на снегу, под корнями: это он снизу надышал. Ты его взять хочешь, либо мне брать?

— Давай я возьму, — так же тихо ответил княжич.

— Ладно, мне второй будет. Тогда становись сюда и гляди в оба. Сейчас мы его подымем.

Михаил встал шагах в пяти от берлоги, утоптал под собою снег для лучшего упора, попробовал, хорошо ли вынимается нож, и взял на изготовку рогатину. Гафиз тем временем бросил доску с гвоздями меж ним и берлогой, слегка припорошил ее снегом и вооружился шестом.

— Поднимай! — сказал стоявший чуть в стороне Арсений, убедившись, что все в порядке.

Гафиз всунул шест в берлогу и, нащупав там мягкое, ткнул раз и другой. Снег в этом месте заметно стал оседать, из-под него послышались звуки, похожие на хрюканье, и почти тотчас из ямы показалась передняя лапа, а за нею голова зверя. Видимо, он был ослеплен ярким светом и потому замер на мгновение, поводя глазами и ушами. Потом, приглядевшись, зарычал грозно и, разом выскочив наверх, метнулся на стоявшего перед ним человека. Но тут же он наступил на гвозди, взревел благим матом и, поднявшись на задние лапы, замахал передними, чтобы стряхнуть с них приколовшуюся доску.

— Бей! — крикнул Арсений.

Но княжич и сам не зевал. Хладнокровно выждав момент, когда мешавшая ему доска оторвалась от лап медведя, он, подавшись всем туловищем вперед, вонзил ему в грудь рогатину. Ревя и махая лапами, зверь полез на него, но Михаил ловко упер древко рогатины в землю, и медведь, навалившись на нее всей тяжестью, вогнал в себя острие по самую поперечину, отделявшую его от древка.

Удар был нанесен метко, задев, очевидно, сердце, ибо зверь почти сразу начал крениться и, сделав еще одно отчаянное усилие добраться до врага, грузно повалился на бок. Плотно засевшая в нем рогатина вырвалась при этом из рук княжича, но увидев, что медведь пытается подняться, и не столько боясь теперь его когтей, как того, что на помощь придет Арсений или Гафиз, стоявший поблизости с топором, он поспешно выхватил нож, и, подскочив вплотную, всадил его в грудь зверя, рядом с торчавшей рогатиной. Издыхающий медведь в последнем усилии взмахнул лапой над головой охотника, но тот успел отпрянуть, — страшные когти только распороли ему рукав полушубка, по счастью почти не задев руки. Княжич снова занес нож, готовясь нанести второй удар, но сразу увидел, что в этом уже нет надобности: медведь опрокинулся на спину и, несколько раз дернувшись предсмертной дрожью, затих.

— Ну, с почином тебя, княжич! — воскликнул Арсений. — Ловко ты его взял, словно бы прежде только то и делал. Знатный зверюга, — гляди, какие когтища! А он тебя не поранил ли ими?

— Нет, то пустое. Лишь кожа, будто, горит, должно быть, царапнул малость, — потирая руку, промолвил Михаил и добавил: — Что с ним теперь делать будем? Тут шкуру снимем, али как?

— Это без нас сделают. Я дома сказал, чтобы малое время спустя по нашим следам вышли люди подбирать убитых зверей. Пускай тут лежит, а мы покуда к другой берлоге пойдем, — она тут недалече, и версты не будет.

По пути Арсений вырубил сук толщиной пальца в два и длиной в аршин, очистил его от боковых ветвей и лишь вблизи толстого конца оставил несколько крепких отростков, направленных в разные стороны и чуть назад. Их он подрезал коротко, вершка на два, и концы тщательно заострил, также как и толстый конец самого стержня.

— Это что такое? — спросил княжич.

— Это ежик, — пояснил Арсений. — Ежели его медведю в пасть сунуть, он его, небось, не сразу выплюнет!

— А зачем он, коли есть рогатина?

— Я не с рогатиной, а с ножом на зверя пойду.

— Пропадешь ни за что, — промолвил Михаил. — Так схватиться с медведем можно лишь при нужде, когда иного не осталось. И не раз я слыхал от бывалых зверовщиков, что человек из такой схватки редко живым выходит.

— А я все же хочу спробовать.

— Ну, гляди... Да и то сказать, ты сам силен, как медведь.

Вскоре по сделанным на деревьях зарубкам нашли и вторую берлогу. Тут Гафиз развязал сверток, который нес, в нем оказалась длинная и узкая полоса войлока. Им обмотали левую руку Арсения, в несколько слоев, от кисти до самого плеча, и сверху закрепили ремешком. Затем внимательно огляделись. Место было ровное, на нем слегка притоптали снег и отбросили в сторону лежавшие на земле сучья, которые могли помешать борьбе.

Арсений перекрестился, вытащил нож и стал перед берлогой. В левой руке он держал свой «ежик». Гафиз положил было перед ним доску с гвоздями, но Арсений приказал убрать ее. Он не сомневался в том, что княжич дома будет рассказывать, как происходило дело, и хотел, чтобы Софья знала, что он бился с медведем честно, без всяких хитростей. Коли мишка сам встанет на дыбы, — хорошо, а нет, — управиться с ним будет потруднее, однако Арсений заранее обдумал эту возможность и был к ней подготовлен.

Эта берлога была не в яме, а в узкой, похожей на нору пещерке, у подножья глинистого бугра, и потому медведь выскочил оттуда сразу, едва Гафиз проткнул шестом снеговую пробку, закрывавшую вход. Очевидно, он уже проснулся, услышав, что кто-то топчется возле его логова, и был готов действовать, если его обнаружат.

Это был матерый зверь, почти в сажень длиной и высотой у загривка более полусажени. Встряхнувшись, словно вылез из воды, он с сердитым урчанием бросился к стоявшему в нескольких шагах охотнику, чуть забирая левым боком, словно еще не решил: напасть или пробежать мимо.

Но Арсений знал медвежьи повадки и сразу понял, что зверь готовится, как бы мимоходом, сбить его с ног косым ударом лапы, после чего, — в зависимости от своего нрава и степени раздражения, — или остановиться, чтобы доконать поверженного врага, или по-

бежать дальше и постараться уйти. Когда расстояние между ними сократилось до полутора шагов, он мгновенно сделал скачок в сторону и вперед, разминувшись с медведем, но прежде чем последний проскочил мимо, с размаху ударил его ножом в бок.

Рана не была смертельной, но она привела зверя в ярость. Заревев на весь лес, он быстро повернулся мордой к противнику, и в тот же миг Арсений сунул ежик в его открытую пасть; не выпуская рукоятку, он продолжал напирать им на попятившегося от боли и неожиданности медведя. Зверь замотал головой и, поднявшись на задние лапы, пустил в ход передние. Видимо, не сообразив, что тем причинит себе лютую боль, а может быть рассчитывая достать до руки врага, он со всего размаха ударил лапой по рукоятке ежика, шипы которого при этом глубоко вонзились ему в язык и в небо. В ту же секунду, выпустив ежик, теперь прочно засевший в пасти зверя, и, закрывая голову левой, обмотанной войлоком рукой, Арсений по рукоятку всадил нож ему в грудь и сейчас же отпрянул.

Казалось, медведь не обратил на эту новую рану никакого внимания: боль в пасти была сильнее, и он, действуя обеими лапами, старался освободиться от засевшего в ней ежика. Арсений подскочил и снова ударил ножом, как ему показалось, хорошо нацелившись в область сердца. Но в тот же миг страшный удар по левой руке, которой он продолжал закрываться, опрокинул его на землю, отбросив на несколько шагов. В этом оказалось его спасение, ибо медведь, избавившись, наконец, от ежика, снова опустился на четыре лапы и кинулся к нему. Но, не добежав шага, ткнулся вдруг головой в снег, захрипев, повалился на бок, и огромная туша его затрепетала в предсмертной агонии. Как после выяснилось, последний удар ножа пришелся ему в самое сердце.

Княжич, бежавший с рогатиной на выручку друга, облегченно вздохнул и перекрестился, увидев, что медведь издыхает, а Арсений приподнялся без особого усилия и, сев по-татарски на снегу, ощупывает свою руку.

— Слава Христу, жив ты! — воскликнул Михаил. — Мне помстилось, что он по голове тебе лапой дал. Ну как, цела рука?

— Будто цела. Пальцы двигаются, и войлок до конца когтями не пропорот, стало быть ни раны, ни пере-

лома нету. А болит изрядно, ровно бы колом по руке хватили.

— Это, брат, похуже, чем колом! Если бы не войлок, он бы тебе руку перешиб, как пить дать. Ты погляди какая лапища-то! Ну, молодец ты, Арсений, эдакое чудовище одним ножом уложил! Кабы своими глазами не видел, не поверил бы.

Арсений поднялся на ноги, и они как следует рассмотрели убитого зверя. Помимо громадной величины, он отличался еще и редкой окраской: не темно-бурой, как почти все здешние медведи, а светло-каштановой, отливающей серым.

«Славный ковер выйдет княжне Софье», — с удовлетворением подумал Арсений.

Было уже довольно поздно, рука Арсению плохо повиновалась, и друзья, решив, что на сегодня хватит и двух медведей, возвратились в усадьбу. А третьего на следующий день без каких-либо происшествий взял на рогатину княжич Михаил.

ГЛАВА XI

Прогостив в Карачеевке четыре дня, на пятый княжич Михаил собирался выехать домой, но неожиданные события этому помешали: в тот самый час, когда он уже приказал своим людям седлать лошадей, со сторожевой башни был замечен сигнал тревоги, оповещающий о том, что из Дикого Поля приближается татарская орда.

Все сейчас же пришло в движение: усадьбу спешно начали готовить к обороне, в деревни и стойбища полетели гонцы с приказом всем боеспособным собираться в укрепленный поселок, а остальным с имуществом и скотом уходить в лес. Княжич и мог бы еще уехать, но не захотел: покинуть усадьбу и друзей в минуту опасности он считал недостойным, да и хотелось ему принять участие в надвигающихся событиях.

В полдень прискакал первый вестник со сторожевой заставы, увидевший татар. Он рассказал, что еще два дня тому назад из степи подошла небольшая орда и разбила стойбище, не доходя верст шесть до заставы. А сегодня на рассвете, оставив на месте все шатры и кибитки, оттуда выступил и идет к Карачеевке конный отряд, численностью в три с половиной тысячи чело-

век. Заметив это, стражники тотчас подожгли на вышке сигнальный костер и покинули заставу, как им было приказано на такой случай.

— Далеко ли отсюда их становище? — спросил Иван Васильевич.

— Восемь фарсахов будет пресветлый оглан, — ответил гонец-татарин.

— А дорога трудная?

— Для чужих людей трудная, пресветлый оглан. В оврагах много снегу. Я доскакал быстро потому, что знал хороший путь и по дороге два раза сменил коня. А большой отряд за это время не мог пройти больше трех фарсахов.

Было очевидно, что нападающие подойдут к усадьбе только вечером, а может быть, даже утром следующего дня. Это давало время приготовиться к встрече, а главное, увеличивало безопасность тех, кто спасался в лесу: было тепло и хмуро, временами начинал сеять снежок, по всем признакам ночью следовало ожидать обильного снегопада, который надежно скроет все следы. А только по ним и можно было обнаружить лесные стоянки.

Часа в два пополудни все мужчины были в сборе. Раздав оружие тем, кто его не имел, Карач-мурза разбил свое ополчение на сотни, назначил сотников и каждому из них указал тот участок стены, который ему надлежало оборонять. При этом выяснилось, что людей для защиты укрепления было больше, чем достаточно, на стенах они бы все равно не поместились, и потому Карач-мурза выделил отряд в пятьсот человек, который под начальством Якуба отправил в лес, для прикрытия тех, кто там прятался, и для нападения на осаждающих с тыла, если в том будет надобность.

В четыре часа дозорные донесли, что татары находятся в пятнадцати верстах от усадьбы, значит, их появления можно было ожидать через полтора-два часа. К обороне все уже было готово: пищали заряжены, на стены подняты камни и бревна для сбрасывания на осаждающих, внизу установлены котлы, в которых начали кипятить смолу и воду. Запасов в усадьбе могло хватить на несколько дней — этого было достаточно, так как подобные налеты никогда не переходили в длительную осаду.

Некоторое беспокойство внушали Карач-мурзе люди и стада, находившиеся в лесу. Все ли они успели

добраться до надежных укрытий, или есть замешкавшиеся? Если татары подойдут засветло и сразу начнут поиски в лесу, по отставшим они могут обнаружить и всех остальных. Подумав, он подозвал к себе Арсения и сказал ему:

— Садись на коня и поезжай в лес. Погляди, что там делается, и узнай, все ли дошли до мест, которые им были указаны. Но возвращайся быстрей: через полтора часа ты уже, наверное, не сможешь войти в усадьбу.

Приказав своему стремянному Гафизу подать коней, Арсений вместе с ним ускакал в лес, а Карач-мурза еще раз обошел стены и, убедившись, что все в порядке, велел запереть ворота и отправился к себе. Он с рассвета был на ногах и хотел хоть немного отдохнуть перед наступающими событиями и, вероятно, бессонной ночью.

Ему показалось, что он едва успел заснуть, когда послышались тревожные удары колокола на башне. Быстро выйдя из опочивальни, он у самых дверей столкнулся с Хатедже.

— Враги нас окружают, — сказала она, — а Арсений еще не вернулся.

— Ничего, мать, — ответил Карач-мурза, хотя это известие его обеспокоило, — он не маленький и врасплох не попадет. Если, подъезжая, увидит здесь татар, возвратится в лес, и только.

— Плохо ты знаешь своего сына! Чтобы он сидел в лесу, когда тут будут сражаться!

— Не бойся, он сумеет все сделать, как надо, — на ходу бросил Карач-мурза и вышел во двор, полный вооруженных людей, пересек его и поднялся на сторожевую башню.

Отсюда он увидел большой отряд татар, остановившийся шагах в трехстах от ворот. Несколько всадников, отделившись от него, шагом объезжали вокруг стен усадьбы, внимательно их оглядывая. До них легко можно было достать из лука, но Карач-мурза приказал пока не стрелять, не сомневаясь в том, что ордынцы, прежде чем перейти к действиям, вступят в переговоры. И, кто знает, может быть удастся поладить миром, как уже однажды случилось.

Действительно, через несколько минут к воротам подъехали два всадника, один из которых на плохом русском языке крикнул стоявшим на стене людям, что желает говорить с хозяином.

— Это я, — по-татарски ответил Карач-мурза, высовываясь из башни. — Что вам нужно?

— Ты татарин? — спросил другой всадник, казавшийся начальником.

— Да. Меня зовут Карач-мурза-оглан. Это моя земля, и живут на ней татары, такие же, как вы.

— Такие татары, как мы, служат великому хану Булат-Султану, да поразит Аллах всех врагов его. А вы служите неверному литовскому князю.

— Мы никому не служим. Живем мирно и ни на кого не нападаем, но если нападают на нас, умеем защищаться. Теперь, когда ты знаешь все это, я еще раз спрашиваю: что вам здесь нужно?

— Нам нужно, чтобы ты приказал отворить ворота. Если ты сам себе не враг и сделаешь это, мы ничего у тебя не будем жечь, никого не убьем и не уведем в плен ни одного татарина. Ты потеряешь только свое имущество. Но если будешь сопротивляться, — потеряешь все. Мы возьмем твою крепость силой, и тогда пощады не будет никому.

— В эти ворота ты сможешь войти только с арканом на шее. Я уже сказал тебе: когда на меня нападают, я умею защищаться.

— Если так, то тебе осталось недолго жить! — крикнул снизу татарин и, повернув коня, поскакал к своему отряду. Его спутник погрозил стоявшим на стене нагайкой и последовал за ним.

Несколько минут спустя ордынцы спешились и, оставив при лошадях сотни три коноводов, начали приближаться к укреплению, обтекая его с двух сторон. В это самое время Карач-мурза увидел, что с противоположной стороны, на опушке леса показались Арсений и Гафиз, которые, очевидно, поняв, что к воротам подъехать уже нельзя, сейчас же опять исчезли за деревьями. Татары их не заметили, и Карач-мурза вздохнул облегченно, но в этот миг из леса снова выскочил Арсений, уже пеший. Держа в руке свернутый аркан, он во всю прыть побежал к задней стене усадьбы, до которой от опушки было шагов полтораста.

Он пробежал половину этого расстояния, когда из-за угла показались татары. Вокруг Арсения засвистали стрелы, но на стрелявших в свою очередь посыпался град стрел со стены. Княжич Михаил, находившийся поблизости, подбежал к угловой пищали, укоротил фитиль до предела и поджег его, а потом уже начал пово-

рачивать дуло в нужном направлении. Едва он успел прицелиться, грянул оглушительный выстрел, и весь угол стены заволокло густым черным дымом. Однако сквозь него княжич разглядел, что несколько татар упало, а остальные в смятении отхлынули назад. Очевидно, наличие в усадьбе огнестрельного оружия было для них полной неожиданностью.

Арсений тем временем добежал до рва, метнул аркан, сразу подхваченный наверху, и через полминуты был уже на стене, среди своих. Спросив, где отец, он пошел на башню.

— Я видел отсюда все, — сказал Карач-мурза, когда Арсений предстал перед ним. — Ты проявил смелость и ловкость, достойные твоего имени. Но тебе не пришлось бы подвергать такой опасности свою жизнь, если бы ты был точен и возвратился в указанное тебе время.

— Прости меня, отец. Возвращаясь, я встретил в чаще несколько русских женщин, которые сбились с дороги и не знали, куда идти. И я проводил их к другим.

— Что делается там, в лесу?

— Все в порядке, отец. Люди и скот находятся на указанных местах; воины Якуба делают себе и другим шалаши из еловых ветвей, так что ночью никто не останется под открытым небом. Когда совсем стемнеет и отсюда не будет видно дыма, я позволил зажечь костры, чтобы греться и готовить пищу.

— А что будет делать Гафиз?

— Я ему приказал возвратиться с лошадьми в лес, к отряду Якуба.

— Хорошо. Теперь становись к большой пищали, сейчас она нам понадобится.

Осаждающие тем временем окружили усадьбу и с довольно далекого расстояния принялись бить из луков по бойницам и по стоявшим на стене людям. Карач-мурза приказал своим не высовываться из-за укрытий и на стрельбу позволил отвечать только лучшим стрелкам, когда они могли поразить врага наверняка. Попробовали татары также метать зажигательные стрелы, с подвязанной к ним горящей паклей, но очень скоро поняли, что это бесполезно: крыши строений были покрыты толстым слоем снега, а стены укрепления обледенели, — поджечь их таким путем было невозможно.

Наконец, видя, что уже начинает смеркаться, ор-

дынцы перешли к решительным действиям. Против задней и одной из боковых стен они внезапно подняли неистовые крики и до предела усилили стрельбу, делая вид, что сейчас бросятся на приступ. Но, когда по их расчетам, внимание защитников было отвлечено туда, к воротам, прикрываясь щитами, сразу ринулось несколько сот человек, в то время как лучники метко били стрелами по бойницам башни и верхушке стены, едва там кто-нибудь показывался.

Заметив в центре атакующих группу воинов, которые несли на плечах длинное бревно, очевидно намереваясь использовать его как таран, Арсений направил на них дуло «Акульки» и поджег запальный фитиль. Когда расстояние сократилось шагов до ста, грянул выстрел, в воздухе на разные голоса завыли куски рубленого свинца, которыми была заряжена пищаль, и сквозь волны дыма Арсений увидел, что таран лежит на земле, а вокруг него корчится десятка полтора сраженных татар.

Почти сейчас же ударили и обе угловые пищали. Не столько потери, как непривычный гром выстрелов и жуткий вой свинцовых осколков разом погасили порыв шедших на приступ ордынцев. Большая их часть обратилась в бегство, и лишь те, которые находились впереди, бросились, наоборот, к воротам и к стенам, сообразив, что именно тут они будут недосягаемы для пищалей. Но сверху на них полетели камни, бревна и потоки кипящей смолы, что принудило их почти сейчас же отхлынуть, оставив под стенами десятка три убитых.

Бегущего неприятеля со стен провожали насмешливыми криками, свистом и улюлюканьем. Приступ был отражен почти без урона для осажденных, среди них оказалось только двое убитых и девять раненых.

Оставив на стенах половину бойцов, Карач-мурза позволил другой половине отдыхать, ибо наступала ночь и было очевидно, что татары сегодня приступа не повторят. Часть их, вместе с лошадьми, расположилась станом на открытом месте, в полуверсте от ворот усадьбы, другая часть — сбоку, на опушке леса. И тут и там вскоре запылали многочисленные костры, что весьма облегчало осажденным наблюдение за всеми действиями неприятеля. Но ничего подозрительного заметно не было, ордынцы, казалось, забыли, зачем сюда пришли, и мирно устраивали свой лагерь.

ГЛАВА XII

> «Если на восточных рынках среди рабов продается татарин или татарка, то цена на них в три раза выше, чем на других рабов, ибо с уверенностью можно сказать, что ни один татарин не обманет и не предаст своего господина».
>
> *Педро Тафур, испанский путешественник XV века*

Ночь прошла спокойно. Было довольно тепло и безветренно, снег шел не переставая, то редкий и мелкий, то вдруг начинал валить крупными хлопьями, на время скрывая все из глаз. Татары, соорудив себе кто шалаши, а кто подобия шатров из войлочных попон и шкур, до рассвета жгли возле них огромные костры. Было видно, что они выставили несколько сторожевых постов между своими стойбищами и усадьбой, но с двух других сторон наблюдения за нею, по-видимому, не вели, так как около полуночи никем не замеченные подошли из леса Гафиз и Керим, сын Якуба, забросили аркан на стену и без всякой помехи на нее взобрались.

Они доложили Карач-мурзе, что в лесу все обстоит благополучно и что ордынцам лесных становищ теперь не найти, ибо все следы надежно засыпаны снегом. Потом Керим сказал, что отец прислал его, чтобы узнать, какие приказания будут ему на завтра, и велел к рассвету возвратиться назад.

— Пусть твой отец выставит двух или трех дозорных в лесу, недалеко от опушки, в таких местах, откуда хорошо видна крыша моего дома, — подумав немного, ответил Карач-мурза. — Если они заметят над нею красное полотнище, это значит, что я готовлюсь к вылазке, а ваш отряд должен подойти лесом как можно ближе к усадьбе, чтобы одновременно ударить на врагов с тыла. Если же я захочу, чтобы вы ночью первыми напали на ордынцев врасплох, — в окне терема, которое обращено к лесу, вы увидите свет. Как только вы нападете, мы сделаем вылазку. Это все.

Утром конные татары, разъезжая на довольно далеком расстоянии вокруг усадьбы, изредка постреливали по бойницам и по людям, показывающимся на стенах, но на приступ не шли. Было видно, что от их становища отделилось несколько небольших отрядов,

которые рассыпались в разные стороны, в поисках деревень и стад скота. Два таких отряда вошли по просекам в лес, но вскоре возвратились ни с чем, видимо не рискнув углубляться далеко в чащу.

В то же время на опушке леса, слева от усадьбы, шли деятельные приготовления к приступу: тут несколько сотен татар делали штурмовые лестницы, плели из ветвей чапары[1] и сваливали в огромные кучи вынесенные из леса вязанки валежника. Можно было предполагать, что если и этот приступ будет отбит, ордынцы попытаются поджечь стены укрепления, но это не очень обеспокоило защитников, так как зимой огонь распространялся медленно и бороться с ним было не трудно.

К полудню в разных местах, вдалеке, поднялись к небу темные клубы дыма: это татары жгли покинутые жителями деревни, в которых им ничем не пришлось поживиться.

Только в три часа дня ордынцы пошли на приступ. План их на этот раз был хорошо продуман: поставив перед воротами, на расстоянии полета стрелы, конный отряд в полтысячи человек и окружив боковые стены усадьбы лишь жидкой цепочкой лучников, они все силы бросили на штурм задней стены, к которой лес подходил ближе всего.

Прикрывая каждый десяток отдельной чапарой, нападающие медленно, но неуклонно приближались к укреплению, волоча за собою лестницы. В то же время лучники, рассыпавшись по опушке леса, из-за деревьев били по защитникам усадьбы, которые, отражая приступ, уже не могли прятаться за укрытиями.

По приказанию Карач-мурзы, на эту стену были перенесены все пищали, кроме «Акульки», оставленной на башне, у ворот, но на их перезарядку уходило много времени, и они успели дать только по два выстрела до того, как осаждающие, двигая перед собой чапары, подобрались к самому рву. Теперь со стороны леса к усадьбе бегом бросилось еще несколько сот ордынцев, каждый из которых нес на себе большую вязанку хвороста, прикрываясь ею от стрел, летевших навстречу. Но со стены им целили по ногам, — десятка три по до-

---

[1] Чапары, по-русски «заборала», — деревянные, обычно плетеные щиты-панели, под прикрытием которых осаждающие группами приближались к крепости.

роге были сбиты, остальные добежали до рва и сбросили в него свою ношу. В тот же миг сидевшие за чапарами воины подхватили лестницы, и все разом с устрашающими воплями бросились на приступ.

Стрельба сразу стала реже: татарские лучники боялись поразить своих, которые облепили стену и лезли наверх по лестницам и по заброшенным на острия бревен арканам. Били только с близкого расстояния, на выбор и наверняка, но таких стрелков в свою очередь быстро укладывали стрелы защитников.

На протяжении всей стены закипела жаркая рукопашная схватка. В командах и приказаниях почти не было надобности, — каждый сам видел и понимал, что следует делать. Начальники и подчиненные работали наравне, не щадя себя: одни отпихивали шестами приставленные снаружи лестницы, другие сбрасывали камни и бревна на лезущих по ним ордынцев, третьи поливали их горячей смолой и кипятком, четвертые рубили и кололи тех, кому удавалось взобраться на стену.

Вскоре дно рва покрылось трупами атакующих, но татары, закрываясь щитами или накинутыми на головы войлочными попонами, упорно продолжали лезть наверх.

Вот, у самого угла, где княжич Михаил кончал в это время зарядку пищали, по четырем приставленным рядом лестницам татарам удалось подняться почти до гребня стены. В этом месте они штурмовали особенно яростно, и средств для отражения натиска у защитников почти не оставалось. Были использованы несколько последних камней, снизу успели подать бревно, которое тоже полетело на татар, сметая их с двух крайних лестниц. Но в это время с двух других лестниц они, выхватывая на ходу сабли, начали спрыгивать на помост стены.

Первому из них кто-то плеснул в лицо кипятком, и он с воплем рухнул вниз; второму Михаил, который оставил свою пищаль и схватился за саблю, успел раскроить череп. Но в это мгновение третий прыгнул с гребня стены ему на плечи, и оба упали на помост. Выпустив из рук бесполезные теперь сабли, они сцепились клубком в отчаянной схватке. Татарин был силен, но неповоротлив. Более ловкий княжич вскоре оказался сверху и, выкрутив своему противнику руку, спихнул его с помоста во двор.

Когда он подобрал саблю и вскочил на ноги, татар

на стене было уже человек двадцать, а по лестницам взбирались все новые. К счастью, ширина помоста не позволяла им всем сразу вступить в рукопашный бой. С той стороны, где находился Михаил, их сдерживали и даже понемногу оттесняли, а снизу, со двора, засыпали градом стрел. Но в другую сторону, к центру стены, они медленно продвигались, шаг за шагом овладевая помостом, хотя и платили за это дорогой ценой.

Почти сейчас же княжич увидел Арсения, который, распихивая людей, пробирался туда. В руках у него был кол длиною в добрую сажень, а по пятам за ним следовал Гафиз, вооруженный копьем.

Едва они выбились вперед, положение тут сразу изменилось. Арсений взмахнул колом, и трое татар, как груши, полетели с помоста на землю. Он снова поднял обеими руками кол, — один из ордынцев, торопясь использовать удобный момент, пригибаясь, метнулся к нему с занесенной саблей, но в ту же секунду Гафиз проткнул его копьем. Соседние бойцы, смекнув, что надо делать, тоже стали прикрывать Арсения от боковых ударов, а он работал за всех: кол в его богатырских руках поднимался и опускался, каждым ударом повергая двух-трех врагов.

Татары стали подаваться назад, но с другой стороны их тоже яростно теснили воспрянувшие духом защитники укрепления во главе с княжичем Михаилом. Наконец, последние уцелевшие тут ордынцы, спихивая с лестниц поднимавшихся навстречу людей, скатились в ров. На стене больше не оставалось ни одного неприятеля. Опустевшие лестницы осажденные сейчас же опрокинули, хотя в этом и не было уже особой надобности: приступ был отбит, орда бежала от стен к опушке леса.

В усадьбе сейчас же подобрали убитых и раненых, которых на этот раз оказалось несколько десятков, а затем принялись готовить и поднимать на стены все, что было необходимо для отражения нового приступа, ибо ордынцы могли в любой момент повторить его. Но вскоре стало очевидным, что к этому у них нет особой охоты.

Не прошло и часа, как к воротам приблизился конный татарин, в знак мирных намерений размахивая еловой веткой, и сказал, что хочет говорить с царевичем. Карач-мурза, которому об этом сейчас же доло-

жили, заставил посланца прождать довольно долго, потом поднялся на стену, над воротами.

— Говори, с чем прислан, — промолвил он.

— Наш эмир велел сказать тебе, оглан: если ты дашь ему тысячу рублей[1] откупа, завтра на рассвете мы уйдем отсюда, не причинив тебе никакого вреда. Но если Аллах обидел тебя, когда раздавал людям благоразумие, и ты на это не согласишься; тогда знай, на том месте, где сейчас стоит твой городок, весной можно будет сеять ячмень!

— Скажи своему эмиру, что я ничего ему не дам именно потому, что Аллах не обидел меня благоразумием: я хорошо понимаю, что если вы здесь останетесь еще два или три дня, то весной можно будет сеять ячмень на ваших костях.

— Это твое последнее слово, оглан?

— Да.

Татарин ускакал, а Карач-мурза возвратился к своим делам. Но очень скоро с опушки полетели стрелы, обмазанные смолой и обернутые горящей паклей. Ордынцы метали их в ров, который в нескольких местах был теперь завален кучами сухого валежника. Пакля значительно сокращала дальность полета стрел, многие из них не долетали, другие во рву втыкались в снег и гасли, но некоторые попадали в цель и валежник вокруг них начинал гореть. Десятки людей, поднявшись на стену, тушили эти очаги огня, забрасывая их снегом и заливая водой, которую подавали им снизу в ведрах. Но все же одна огромная куча хвороста воспламенилась целиком и осажденным стоило немалых трудов отстоять от огня стену. К счастью, вскоре наступила ночь, десятка два людей под покровом темноты спустились в ров и выбросили из него весь валежник. Татары, не зная этого, еще некоторое время продолжали вслепую посылать в ров зажигательные стрелы, потом прекратили эту бесполезную стрельбу и ушли в свои стойбища.

Но Карач-мурзу все это сильно встревожило. Сегодня удалось справиться с огнем, потому что воздух был совершенно тих, думал он. Ну, а если завтра поднимется ветер, и ордынцы повторят свою попытку? А они ее повторят непременно, и тогда пламя сейчас же пе-

[1] Стоимость рубля того времени была примерно в сто раз выше, чем в начале нынешнего века.

рекинется на стены... Этого нельзя допустить. Значит, надо действовать решительно сегодня же ночью, тем более, что сена в лесу совсем мало, и скот начнет дохнуть от бескормицы, если такое положение затянется еще на два или три дня.

Прийдя к этому и все обдумав, Карач-мурза около полуночи собственноручно поставил в тереме, возле окна, свечник с несколькими зажженными свечами, а своим людям приказал готовиться к вылазке.

К двум часам ночи, когда по расчетам можно было ожидать нападения лесного отряда на татарский стан, в усадьбе все было готово к действиям.

С задней стены по веревкам спустились в ров несколько человек, которые приставили снаружи лестницы, брошенные татарами после штурма. По этим лестницам, соблюдая полную тишину, спустились вниз и засели во рву пять сотен воинов, — они должны были броситься на татарский стан, расположенный у опушки леса, как только на него нападут люди Якуба. Другой отряд, численностью около восьмисот человек, в том числе двести конных, был поставлен во дворе, перед воротами. Он должен был атаковать татар, стоявших в поле, чтобы не дать им возможности оказать помощь соседям.

В начале третьего из лесу пробрался в усадьбу посланный от Якуба. Последний извещал, что его отряд уже здесь и готов в любую минуту обрушиться на татарский стан, если не будет каких-либо новых распоряжений.

Карач-мурза, выслушав гонца, отправил его обратно, сказав, что никаких перемен нет и что Якуб может нападать немедленно. Одновременно он велел воинам, стоявшим во дворе, отворить ворота и, не производя никакого шума, выходить наружу. Конному отряду, во главе которого стояли Арсений и княжич Михаил, было приказано, когда начнется битва, постараться отрезать возможно большую часть ордынских лошадей и угнать их подальше от стана.

Вскоре с опушки послышались дикие вопли, топот ног и шум начавшейся свалки. Многие ордынцы, захваченные врасплох, полегли, не успев даже понять, что происходит. Другие, сумев выскочить из шалашей и при свете костров разобрать, что на них нападают из леса, бросились к своему главному лагерю, стоявшему в поле, при лошадях. Но дорога туда уже оказалась от-

резанной: навстречу с грозными криками бежали люди Карач-мурзы, выскочившие из рва.

Началось побоище. Татары, которым показалось, что на выручку к осажденным подошло целое войско, не столько думали о сопротивлении, сколько о том, чтобы под защитой тьмы вырваться из этого пекла. Это удалось сделать многим, ибо преследовать бегущих в полном мраке было невозможно, да никто этого и не хотел.

Почти так же развивались события и в другом татарском стане, с той лишь разницей, что здесь путь к бегству оставался открытым, чем большинство уцелевших поспешило воспользоваться. Но те, чьи лошади стояли на краю стойбища, прибежав сюда, на их месте обнаружили только трупы коноводов, оставленных тут на страже. Отряд Арсения, в поднявшейся кровавой суматохе, без труда отбил этих лошадей и уже гнал их в открытые ворота усадьбы. Часть татар, потерявших коней, была захвачена в плен, остальные бежали пешком или садясь по двое на одну лошадь.

Когда наступил рассвет, неприятельская орда была уже далеко. Бежавшие татары не сомневались в том, что на помощь к осажденным ночью подошло какое-то крупное подкрепление, может быть, войско, посланное князем Витовтом, а потому теперь ими владело лишь одно желание: поскорее уйти от возможной погони.

В Карачеевке, отслужив благодарственный молебен, начали приводить все в порядок и возвращаться к обычной жизни. Прежде всего подсчитали потери, их оказалось сравнительно немного: тридцать семь убитых и около сотни раненых. Не очень велик был и материальный ущерб, нанесенный этим набегом: одна деревня выгорела целиком, в двух других кое-какие строения уцелели; кроме того, татары скормили своим коням несколько стогов сена, стоявших в поле. Но эти имущественные потери с лихвой покрывались взятой добычей: было захвачено более четырехсот лошадей, много оружия и около двухсот пленных Когда последних согнали во двор усадьбы, Карач-мурза сказал им:

— Вы пришли сюда, чтобы отнять наше имущество и сделать нас своими рабами. Но Аллах рассудил иначе и отдал вас в наши руки. Сейчас соберите ваших убитых и закопайте их, а потом я раздам вас тем рус-

ским сабанчи[1], дома которых вами сожжены. Вы будете у них рабами до тех пор, пока они с вашей помощью не отстроят свои хозяйства. После этого те, кто захотят остаться здесь и жить мирно, как мы живем, получат от меня землю и помощь. Другие могут заплатить или отработать выкуп и уйти.

Кроме этих временных рабов, каждый из пострадавших крестьян получил из добычи по две лошади, остальные были поделены между семьями убитых, ранеными и особенно нуждавшимися.

Десять лучших коней, из которых три были подлинно великолепными, Арсений отделил для княжича Михаила, несмотря на все протесты последнего. А еще два дня спустя княжич, очень довольный пережитыми приключениями, сердечно простился с хозяевами и выехал в Карачев. Кроме своих военных трофеев, он увозил с собою и охотничьи: две шкуры собственноручно убитых медведей. С ним же Карач-мурза возвращал все взятое у князя Хотета холодное оружие, ибо теперь в Карачеевке хватало и своего.

ГЛАВА XIII

> «И в лето 6916 (1408) князь Михайло, сын Карачевского князя Хотета, Ивана Мстиславича, выехал из Литвы к Москве, на службу к великому князю Василию Дмитриевичу всея Руссии. И от того князя Михайлы повели свое поколение князья Хотетовские».
>
> *«Родословная книга российских князей и дворян, изд. Н. Новикова, 1787*

Миновали рождественские святки. По всей Руси их праздновали широко и шумно, ибо с христианской обрядностью тут тесно переплетались пережитки древнего язычества, которых православная церковь, несмотря на все усилия, не смогла полностью искоренить: народные игрища, хождение ряженых, песни-колядки и гадания, чем в прежние времена сопровождалось празднование Зимнего Коляды, приходившееся на то же время года. Но только что обращенные в христианство

[1] Сабанчи — крестьяне.

татары этих обычаев еще не знали, и потому в Карачеевке святки прошли тихо, ознаменовавшись лишь положенными по церковному уставу богослужениями.

Месяц, прошедший со дня отъезда княжича Михаила, показался Арсению необычайно долгим. Всем его существом владела теперь сероокая княжна Софья. С думой о ней он засыпал и просыпался, ею были полны его сердце и голова, а все обычные дела и занятия, прежде его увлекавшие, теперь казались пустыми, пригодными разве на то, чтобы убить время до нового свидания с нею. Зачем ему это свидание и что он скажет Софье, Арсений и сам не знал, но всеми помыслами рвался в Карачев и давно бы уже поехал туда, если бы представился подходящий повод. Но его не было, и поневоле приходилось ждать окончания выделки медвежьей шкуры, которую он обещал подарить княжне. Только через неделю после Крещения шкура была готова, и в тот же день, бережно упаковав ее и приторочив к седлу, Арсений отправился в Карачев.

На полпути его захватила метель, но по счастью, еще не успев потеряться в поднявшемся вокруг снежном хаосе, он добрался до небольшой лесной деревушки, в которой заночевал, и в город приехал только к вечеру следующего дня.

Незатейливые строения Карачева были засыпаны снегом по самые окна, в палисадниках ветви деревьев гнулись под гнетом тяжелых наледей, а на улицах не виднелось живой души. Но на княжеском дворе, в противоположность этому, царило необычное оживление. Сбоку, возле бывших помещений дружины, теперь отведенных частью под дворовую челядь, а частью под амбары, стояло десятка два санных повозок, в которые княжьи холопы укладывали сундуки, ящики, мешки, корзины и свертки, крепко их увязывая и накрывая сверху дерюжными полостями. Видно, здесь кого-то готовили в дальний путь, и несколько встревоженный этим Арсений, привязав коня к столбу, вбежал на крыльцо и приказал вышедшему на стук слуге доложить о нем княжичу Михаилу.

— Эко я рад, что ты приехал, — сказал княжич, когда они обменялись первыми приветствиями. — Еще бы три дня, и не застал меня в Карачеве.

— Так это тебя сбирают в путь? — спросил Арсений. — Куда же ты правишься?

— Еду в Москву, на службу к великому князю Василею Дмитриевичу.

— Что же так вдруг? Нешто тебе тут плохо стало?

Княжичу в душе было неловко, что он прежде не сказал Арсению о своем близком отъезде. Нельзя было оправдываться и тем, что, отпуская в Карачеевку, отец взял с него обещание молчать об этом, ибо опасался дружбы Карач-мурзы с Витовтом. Но лгать ему тоже претило и он сказал:

— Да не так оно и вдруг, — мы с родителем и прежде о том подумывали. Ну, а ныне доподлинно выявилось, что Витовт меня княжить в Карачеве не оставит, так чего же мне тут ждать? И уж краше идти в службу к своему единоверному государю, нежели к королю-католику.

— Это истина. Коли нет силы удержать свое, надобно искать иной доли. Ну, что ж, помоги тебе Бог! Авось, Московский царь даст тебе новый улус.

— Улуса не даст, — улыбнулся княжич, — а в обиде, чаї, не оставит, все же от одного корня мы с ним идем. Ну, ладно, о том еще побеседуем, а сейчас я в баню сбирался, ныне ведь суббота. Коли хочешь, идем со мною, попаримся, а потом прямо к вечерне. Погоди, что же это я, — спохватился Михаил, — может, ты с дороги сперва закусить хочешь?

— Благодарствую, княжич, есть не хочу, а в баню пойду с превеликой охотой, в пути наморился и намерз изрядно.

После бани и пару Михаилу пришло на ум выпить холодного меду, за чаркой друзья замешкались и пришли в крестовую палату[1], когда служба уже началась. Тут Арсений сразу увидел Софью. Она стояла рядом с матерью впереди и, будто почувствовав его взгляд, обернулась. И хотя сейчас же снова повернула голову к алтарю, закрестившись торопливо, Арсению показалось, что он успел прочесть в ее глазах не только удивление, но и радость.

Князь Хотет встретил Арсения как своего и после вечерни долго расспрашивал его о делах и событиях в Карачеевке, хваля мужество ее защитников и более всего самого Арсения, которого княжич Михаил, возвратившись домой, изобразил в своих рассказах чуть ли не главным героем обороны. Арсений смущенно от-

[1] Крестовая палата — домовая церковь.

водил эти похвалы, слушать о себе такое ему было неловко, но и приятно, ибо во время этого разговора княжна стояла тут же и не пропустила мимо ушей ни одного слова.

— Ну, добро, — сказал наконец Иван Мстиславич, — за трапезой еще побеседуем, а сейчас мне надобно одно дельце закончить, ты же оставайся тут с молодыми, чай не соскучитесь.

«Дельце» Хотета заключалось в том, что он прошел прямо в свою опочивальню и лег на постель. Он чувствовал себя все хуже, и долгое стояние в церкви утомило его.

Вслед за мужем ушла княгиня, и в передней горнице, смежной с крестовой палатой, остались, кроме Арсения, младшие члены семьи да трое дворян, занятых в стороне своим разговором. Софья, видя, что оказалась одна среди мужчин, хотела было последовать за матерью, но Арсений, пересилив робость, которая овладевала им в ее присутствии, сказал:

— Погоди, княжна, я привез тебе что-то. Пожди здесь, будь милостива, сейчас принесу! — С этими словами он быстро вышел наружу и, возвратившись минуту спустя, расстелил на полу перед Софьей привезенную шкуру.

Длинношерстная, редкой серо-каштановой окраски шкура была великолепна. При выделке ее сильно растянули, — казалось, она принадлежала зверю небывалой величины. Взглянув на страшные когти и представив себе, как Арсений ножом бился с таким чудовищем, княжна невольно вздрогнула.

— Спасибо, пан Арсений, — наконец промолвила она, применяя обращение, которое уже вошло тут в обычай. — Хотя помнится, говорила тебе, что шкуру приму, коли ты медведя убьешь рогатиной, а ты его ножом убил. Мне Михаил все обсказал. Почто было без нужды со смертью шутить?

— Себя хотел спробовать. Да и какая была бы моему подарку цена, ежели медведь сам бы мне свою шкуру отдал?

Живое воображение Софьи сейчас же представило ей, как огромный медведь, сбросив с себя шкуру словно шубу, с поклоном отдает ее Арсению. Она засмеялась и сказала:

— Чай, столь добрых зверей и в сказках не бывает!

Ну, слава Христу, цел ты остался, а вот, задрал бы тебя медведь, — мне каково было бы!

— Ай крепко бы пожалела? — спросил Арсений, которого эти слова переполнили радостью.

— Да ведь грех-то на меня бы лег. Не я ли тебя неосторожным словом навела на такое?

— Стало быть, упустил я случай сделать так, чтобы ты меня, хоть мертвого, до конца дней не забыла. А эдак уеду и вон из памяти!

— А шкура на что? — снова засмеялась княжна. — Я ее в своей светлице велю расстелить, как ступлю на нее, волей-неволей всякий раз тебя вспомню.

— Ну и на том тебе спасибо!

Разговор, в котором принял участие и Михаил, продолжался в таком же духе, пока дворецкий не позвал их к трапезе. Арсению было легко и радостно, робость его прошла, и сам он дивился, откуда берутся у него слова, то и дело вызывающие искренний смех на устах княжны.

Софья, мало веселья видевшая в отчем доме, заметно оживилась и стала еще прекраснее. Она сознавала, что глубоко задела сердце Арсения, и это было ей по-женски приятно. Да ей и самой все больше нравился этот статный молодец, о силе и отваге которого она уже столько наслышалась от брата.

За столом говорить друг с другом им почти не пришлось, ибо беседу, по обычаю, вели старшие, а молодым оставалось лишь слушать да отвечать на обращенные к ним вопросы. Но в продолжение ужина взгляды их встречались не раз и порою выражали больше, чем осмелился бы сказать язык.

* *
*

Отъезд княжича Михаила был назначен на утро вторника, и это позволило Арсению задержаться в Карачеве еще на два дня, ибо его желание проводить друга было вполне естественно, да и сам княжич настаивал на этом.

В ночь на воскресенье, засыпая в отведенной ему горнице, Арсений был наверху блаженства. Его наполняла счастьем мысль о том, что он находится под одной крышей с любимой и до самого вторника будет то и дело встречаться с нею и свободно беседовать, как это было сегодня.

Но его ждало жестокое разочарование. На следующий день, едва кончилась обедня, княжна вышла из крестовой палаты вместе с матерью, и Арсений снова увидел ее только за столом, во время полуденной трапезы. Она была задумчива и рассеяна, ни разу ему не улыбнулась и даже старалась не глядеть в его сторону. За ужином Софья не появилась вовсе и на вопрос Михаила — что с сестрой, княгиня коротко ответила, что ей неможется и она легла спать.

Подавленный все этим Арсений в ту ночь долго не мог заснуть, стараясь чем-либо объяснить себе столь странное поведение Софьи. Накануне она была совсем иной: было ясно видно, что он, Арсений, ей приятен, она так охотно с ним разговаривала и так хорошо ему улыбалась... Почему же сегодня столь крутая перемена? Может быть, он ее чем-нибудь невольно обидел? Но тогда бы она не глядела на него так ласково вчера, за вечерней трапезой, ведь после того он уже не имел случая с ней говорить, стало быть позже не мог ее обидеть. Так что же с нею приключилось? И что теперь следует делать ему, как держать себя с нею?

Проворочавшись с боку на бок до вторых петухов и не найдя удовлетворительного ответа на мучившие его вопросы, Арсений наконец уснул, мудро решив, что лучше всего посмотреть, как события будут развиваться завтра, и уж тогда действовать в зависимости от обстоятельств.

На другой день княжна хотя и вышла к обеду, вид у нее был явно удрученный, она почти не поднимала глаз и в продолжение всей трапезы не обронила ни слова. Только когда вставали из-за стола, Арсению удалось перехватить ее взгляд. В нем он прочел такую тоску, что сразу отбросил свои предположения о какой-то обиде или о непостоянстве характера Софьи и понял, что здесь нечто совсем иное. Мысль о том, что завтра он уедет, так и не узнав этой тайны, придала ему смелости и он, едва князь и княгиня вышли из трапезной, почти заступил дорогу княжне и спросил тихо:

— Что ты невесела, княжна? Намедни светила нам, как солнышко, а ныне сердце болит, на тебя глядя. Уж не я ли тому причиной?

— Может и ты, только нет в том твоей вины и тебя попрекнуть мне нечем. А больше ни о чем не спрашивай, — так же тихо ответила Софья и быстро прошла в двери.

Она не могла сказать Арсению, что князь Иван Мстиславич в первый же вечер заметил взгляды, которыми они обменивались, и хорошо понял, к чему они ведут. Наутро он вызвал дочь к себе и, сурово отчитав, приказал ей настрого, чтобы она «дурь из головы выбросила» и держалась от Арсения подальше.

— Этот татарин тебе не пара, — в заключение сказал он, — а ежели так, нечего ему и голову крутить! Коли еще что замечу, велю, покуда он здесь, запереть тебя наверху, в светелке.

В этот день Арсений больше не видел Софью. Наутро княжич Михаил, сопровождаемый множеством челяди и обозом с вещами и снедью, тронулся в дальний путь. С ним уезжал и Арсений, решивший проводить друга до города Козельска. Впрочем, тут кроме побуждений дружбы, им руководил и некий тайный расчет: возвращаясь, он должен был снова проезжать через Карачев, и это не только давало ему повод, но почти обязывало посетить князя Ивана Мстиславича и передать ему новости и последний привет от сына. И кто знает, может быть при этом удастся еще раз увидеть княжну и даже поговорить с нею.

Во время общего прощания, во дворе, он улучил удобную минуту и сказал ей:

— Я всегда буду помнить о тебе, княжна. И если позволишь, чаю еще с тобой свидеться.

— Нешто в моей воле это позволить, — еле слышно ответила Софья. Она хотела добавить еще что-то, но, увидев, что к ним направляется Иван Мстиславич, замолкла и отвернулась.

Пять дней спустя Арсений снова был в Карачеве. Князь Хотет принял его довольно сухо, заночевать, — хотя дело близилось к вечеру, — не предложил, и Арсений, не повидав княжну и ничего о ней не сведав, отправился домой, в Карачеевку.

ГЛАВА XIV

«Значение Москвы не ограничивалось ее хозяйственной и политической ролью: она была крупнейшим центром культуры, книжности и образованности тогдашней России... Московская литература XV века была богатой как содержанием, так и образами... В Москве сосредоточивались лучшие художники, зодчие и мастера Руси».

Академик М. Тихомиров

Долгие годы княжения Василия Первого[1] были для Руси относительно спокойными, чему способствовали и личные качества его, и внешняя обстановка.

В основном он продолжал, — и не без успеха, — политику своих предшественников, которая заключалась в собирании русских земель и в укреплении единодержавной власти, но как правитель не был отмечен чертами гениальности и не унаследовал кипучей энергии и полководческих талантов своего великого отца. Однако он, как и Дмитрий, умел ладить со своими боярами, и они его поддерживали, ибо возвышая своего князя и Москву, сами возвышались над боярами других княжеств; был миролюбив, домовит, хозяйственно-расчетлив и уравновешен, иными словами, принадлежал к числу тех, ничем особенно не выдающихся русских монархов, деятельность которых оставила не много пищи для историков, но для страны и народа была периодом благополучия и отдыха от внешних и внутренних потрясений.

Внешняя политическая обстановка Василию Дмитриевичу благоприятствовала, ибо все основные враги Московской Руси, причинявшие столько хлопот Дмитрию Донскому, были частью ослаблены этим последним, а частью сами переживали теперь трудные времена.

Великие князья Иван Михайлович Тверской и Федор Олегович Рязанский[2], хотя и сохраняли еще са-

---

[1] Василий Первый княжил с 1389 по 1425 год.

[2] Стоит отметить, что первый из этих князей был женат на сестре Витовта Марии, а второй на сестре Василия Дмитриевича Софье.

мост‹ тельность, были поглощены внутренними неурядиц‹ ‹. На своих столах они чувствовали себя не очень креп ‹ми, а потому с Москвой старались ладить и о каком-либо соперничестве с нею не помышляли. Оба они признали себя «молодшими братьями» Московского князя и во внешних делах руководствовались его волей.

Литовский государь Витовт, еще недавно мечтавший распространить свою власть на всю Русь, после страшного поражения, которое нанесли ему татары на реке Ворскле, вынужден был отказаться от этих планов и действовать осмотрительно. Его пробный шаг — попытка подчинить себе Псков — ознаменовался полной неудачей и, кроме того, наглядно показал, что значительная часть подвластных ему удельных князей явно тяготеет к Москве. В эти годы на ее сторону перешло от Витовта много русских князей: Александр Звенигородский, Федор Новосильский, Семен Перемышльский, Аристарх Мценский, Александр Путивльский, Михаил Карачевский-Хотетовский и некоторые другие, а с ними и черниговский епископ Исаакий. Перебежало к Москве и несколько гедиминовичей: Северский князь Свидригайло, двоюродный брат Витовта и очень крупная в Литве величина, князь Александр Нелюб и сыновья Пинского князя Патрикея Наримунтовича — Федор Хованский и Юрий Патрикеев[1]. Все это заставило Витовта искать мира с Москвой и восстановить добрые отношения со своим зятем, князем Василием Дмитриевичем.

Но самой важной предпосылкой наступившего на Руси затишья было ослабление татарской угрозы. Золотая Орда, получившая грозный урок от Дмитрия Донского, затем разгромленная Тимуром и раздираемая кровавыми смутами, уже не представляла для Русской земли серьезной опасности, и Московский князь мог почти пренебрегать ею. В Орду Василий Дмитриевич не ездил и дани ей не посылал, хотя с народа собирал «татарский выход» исправно, оставляя его в своей собственной казне, что позволяло ему укреплять хозяйственную жизнь страны и ее благосостояние. В Москве теперь находили приют открытые враги золотоордын-

---

[1] Князь Юрий Патрикеев — родоначальник князей Голицыных и Куракиных, несколько позже женился на дочери великого князя Василия Дмитриевича.

ского временщика Эдигея, начиная с сыновей хана Тохтамыша и кончая опальными татарскими вельможами. В эти годы на Русь выселилось немало представителей ордынской знати, которых московский государь охотно принимал на службу и наделял поместьями.[1]

Насколько мало Василий Дмитриевич считался с Ордой, видно из сохранившегося письма Эдигея. В нем он писал Московскому князю:

> «Послы наши и купцы из Орды к вам приезжают, а вы тех послов и купцов на смех поднимаете. А прежде были вы покорным ханским улусом и страх держали, и пошлины и дань давали, и послов ханских чтили, и купцов наших держали без истомы и без обид. И вот, Тимур-Кутлук сел на царство, и ты от тех лет у царя в Орде не бывал, царя еси в очи не видывал, ни князей своих, ни старших бояр, ни меньших, ни иного кого не присылывал, ни сына, ни брата и ни с кем слова не приписывал. И потом Шадибек восемь лет царствовал, у того еси также ты не бывал, никого же ни с которым словом не присылывал. И Шадибеково царствие тако же ся минуло, и ныне царь Булат-Султан сел на царство и уже третий год царствует, — тако же еси ни сам не бывал, ни брата, ни боярина не присылывал. А еще слышано нам учинилось таково, что Тохтамышевы сыновья у тебя привечены»...

Эдигей требовал покорности, дани и выдачи своих врагов, но не добившись этого, вынужден был в 1408 году предпринять поход на Москву, благодаря которому номинальная зависимость Руси от Орды сохранилась еще на несколько десятилетий. Но в то же время этот поход, который внезапно пришлось прервать, показал Эдигею непрочность собственного положения: пока он стоял под Москвой, власть в Орде едва не захватил его соперник. Стало очевидным, что у него нет реальной возможности диктовать свою волю Московскому князю.

Но если судьба хранила государство Василия Дмит-

---

[1] В качестве примеров можно указать князя Ибрагима Гази — родоначальника Тимирязевых; Каранди-Кичикбея — родоначальника Карандеевых; Карамыш-мурзу — родоначальника Карамышевых; Аббас-Батур-мурзу — родоначальника Леонтьевых и др.

риевича от крупных потрясений, то мелких неурядиц и «домашних», внутрирусских войн оно все же не миновало.

Вскоре после своего вокняжения Василий купил в Орде ярлыки на Мещеру, Муром, Тарусу, Городец и Нижний Новгород. Все сидевшие на этих княжествах вассалы Москвы, понимая безнадежность какого-либо сопротивления, покорились и перешли на положение служилых князей-помещиков. Только князь Борис Константинович[1], владевший Нижним Новгородом, попытался защищать свое достояние. Но его собственные бояре ему изменили и передали город Василию Дмитриевичу, который посадил в Нижнем своего наместника, а князя Бориса отправил в ссылку, где он вскоре и умер. Но у него остался племянник Семен Дмитриевич, княживший в Суздале. Он съездил в Орду, добыл там ярлык на Нижний Новгород и, возвратившись с татарским войском, осадил его.

Город храбро защищали московские воеводы, но князь Семен все же овладел им, пустив в ход ту же подлую уловку, которую успешно применил при осаде Москвы Тохтамышем: поклялся на кресте, что если осажденные положат оружие, никто не будет убит, ограблен или уведен в плен. Клятва была нарушена — город ограбили дочиста и угнали в Орду множество народа.

Однако Семен Дмитриевич Нижний не удержал. Вскоре сюда подступила московская рать, которая взяла город приступом, а князь Семен бежал в мордовские земли. Закончил он свою жизнь в далекой Вятке, потеряв и свой собственный город Суздаль, который тоже перешел к Московскому князю. Таким образом, с беспокойным Суздальско-Нижегородским княжеством было, наконец, покончено. Правда, несколько лет спустя его попробовали, при помощи татар, отвоевать сыновья князя Бориса Константиновича, Иван и Даниил. Но эта попытка успехом не увенчалась, хотя и причинила много неприятностей Василию Дмитриевичу.

Гораздо более затяжной и кровавый характер носили события, связанные с Великим Новгородом. Нелады между ним и Москвой начались еще в 1393 году, из-за несогласий между новгородским архиепископом и митрополитом Киприаном по вопросу о праве на цер-

[1] В ту пору он был старшим в роде князей Суздальских.

ковный суд. Архиепископа поддерживало вече, а митрополита Московский князь, который, исчерпав все возможности уладить дело миром, начал военные действия и овладел новгородскими городами Торжком, Вологдой и Волоком-Ламским. Новгородцы ответили тем же, захватив московский город Устюг и некоторые другие. Было пролито немало крови, пока, наконец, новгородцы не запросили мира, согласившись жить «по старине», то есть отказавшись от своих требований и заплатив небольшой денежный откуп. Все захваченные во время войны города были взаимно возвращены по принадлежности.

Однако три года спустя новгородцы нарушили условия этого соглашения, вследствие чего московская рать снова вторглась в их земли и захватила Двинскую область, Вологду, Торжок, Волок-Ламский и Бежецкий Верх. Новгород пошел на уступки и просил мира, но Василий Дмитриевич на этот раз не согласился возвратить взятые города и новгородцам не оставалось ничего, как продолжать войну. Собрав сильное войско, они захватили, разграбили и сожгли ряд московских городов. Военные действия продолжались почти два года и закончились новым миром, на прежних условиях.

Но не прошло и года, как Новгород заключил с Ливонскими рыцарями союз, явно направленный против Москвы. Великий князь Василий Дмитриевич потребовал, чтобы это соглашение было расторгнуто и чтобы Новгород впредь отказался от права ведения самостоятельной внешней политики. Когда вече отклонило эти требования, московское войско снова выступило в поход и в третий раз захватило те же новгородские владения.

Война с небольшими перерывами и с переменным успехом продолжалась еще девять лет. Только в 1406 году, когда Витовт двинул свои войска на Псков, поставив под угрозу и Новгород, последний, нуждаясь в помощи Москвы, пошел на уступки и даже согласился принять московского наместника, в лице князя Константина, младшего брата Василия Дмитриевича. По мирному договору Двинская земля была возвращена Новгороду, но Вологда, Волок-Ламский и Бежецкий Верх навсегда отошли к Москве.

К началу XV века Москва и по величине и по значению становится главным городом Руси и общепризнанным центром национального возрождения. Уровень

ее благосостояния резко повысился, тяжесть татарского ига почти перестала ощущаться, и все это вместе взятое создало благодатную почву для культурного роста Москвы. После двухвекового застоя, вызванного страшными бедствиями, обрушившимися на Русскую землю, в народе снова просыпается интерес к просвещению, знанию и творчеству.

Появляются и множатся талантливые русские мастера и зодчие, воздвигающие в столице прекрасные здания и храмы; современник князя Василия Дмитриевича — великий живописец Андрей Рублев и его помощники, Прохор Городецкий и Даниил Черный, украшают эти храмы иконами и фресками замечательного художественного совершенства. Быстро возрастает число грамотных, переводится и размножается немало иностранных книг, главным образом духовного содержания, но одновременно создается и ряд своих, русских литературных произведений, полных патриотизма и национальной гордости, причем многие из них достигают большого художественного мастерства.

Из таких литературных памятников времен княжения Василия Дмитриевича до нас дошли: «Сказание о Мамаевом побоище», «Задонщина», «Сказание о побоище великого князя Дмитрея Ивановича», «Слово о жизни и преставлении царя русского Дмитрея Ивановича», «Повесть о московском взятии от царя Тохтамыша», «Повесть о Темир-Аксаке», «Повесть о Митяе», «Хождение митрополита Пимена в Царьград», «Повесть о Колоцкой Богоматери», «Повесть о купце Дмитрие Басарге и о сыне его Борзомысле», «Сказание о Вавилоне граде», «Повесть о царевиче Петре Ордынском» и прекрасно написанные жизнеописания четырех святых: митрополитов Петра и Алексея, Сергия Радонежского и Стефана Пермского[1]. Помимо художественных достоинств, эти четыре «Жития» дают нам множество бытовых и исторических подробностей, весьма ценных для исследователя русской старины.

Интересно отметить, что все эти произведения написаны в Москве. Немного раньше, когда в литературном активе Москвы еще ничего не было, в Новгороде сложились прекрасные былины о Ваське Буслаеве и о

---

[1] Последние два «Жития» написаны монахом Епифанием, известным своей широкой образованностью, путешествиями по Востоку и знаниями, за которые он получил прозвище «Премудрого».

богатом госте Садко, в Рязани была написана замечательная повесть об Евпатии Коловрате, и в Твери — «Песнь о Щелкане Дудентьевиче» и две повести о жизни и убиении татарами Тверских князей. Но теперь эти крупнейшие города не дают ничего нового, ограничиваясь лишь ведением местных летописных сводов. Это с полной очевидностью показывает, что именно в то время жизнь перенесла светоч русской культуры в Москву и что она стала центром притяжения и средоточия всех наиболее выдающихся русских людей эпохи.

ГЛАВА XV

«Солнцу свое дело светити лучами всю тварь, царя же добрыядетели есть миловать нищия и обидимыя».

Св. Иосиф Волоцкий, XV век

До Москвы княжич Михаил добрался только к середине февраля, ибо снежные заносы и метели несколько раз задерживали его в пути.

Подъезжая к столице, он выслал вперед своего дворецкого, который заранее отыскал на Посаде большой постоялый двор, где на первое время могли поместиться все дворовые люди княжича, вместе с обозом.

Но Михаил Иванович тут долго не задержался. Переспав ночь и немного отдохнув с дороги, наутро он оделся понарядней, приказал оседлать себе лучшего коня и отправился разыскивать старого своего знакомца, князя Семена Романовича Перемышльского, который приехал сюда вместе с другими бежавшими из Литвы князьями и уже полгода находился в Москве.

Усадьба князя Семена оказалась не в Кремле, где сначала искал ее Михаил, а в верхней части Великого Посада[1], возле монастыря Николы Старого. Обширные, но уже почерневшие от времени хоромы с резным крыльцом и с теремом наверху, стояли в передней части огромного, с добрую десятину, двора, обнесенного бревенчатым тыном высотой в полторы сажени. Сзади и с боков виднелось такое множество всевозможных служебных построек, — людских, амбаров, овинов, клетей, сараев, конюшен и еще невесть чего, — что все это бо-

[1] Позднейший Китай-город.

лее походило на небольшой укрепленный городок, чем на столичную усадьбу.

Полчаса спустя гость и хозяин уже сидели в темноватой, но богато убранной трапезной, за ендовой крепкого меду.

— Стало быть и ты здесь, — говорил князь Семен, который был лет на десять старше своего собеседника. — Ну что ж, это добро. Чай не пожалеешь, что приехал. Не жалею и я. Уделов своих нам все равно больше не видать, а жить тут вольнее и краше, чем на Литве. Никто ни в дела твои, ни в душу не лезет, а за службу государь Василей Дмитриевич жалует щедро.

— Обскажи, Семен Романович, будь ласков, как он вас принял и кому что дал? — попросил княжич. — О том слухов у нас ходит столько, что не знаем, какому и верить.

— Принял он нас всех милостиво и обласкал, как братьев. А вот давал по-разному. Свидригайла, к примеру, пожаловали так, что тому сниться не могло. Вся Москва ахнула: дал ему в кормление бывшую столицу Руси, город Владимир, со всеми волостями и уездами, да сверх того еще Юрьев, Городец и половину Коломны! Ну, вестимо, Свидригайло ему помстился человеком бесценным, ведь он виднейший на Литве князь, прославленный воин и лютый враг Витовта. Только Василею Дмитриевичу проку от него не вышло, и Свидригайло знатно его отблагодарил: когда по осени подступил сюда Эдигей со своей ордой, он защищать Москву не схотел и ушел со всей дружиной обратно на Литву, да еще по пути дочиста ограбил город Серпухов!

— Экой разбойник, — воскликнул Михаил. — У нас поговаривали о том, что вышла у него размолвка с великим князем, но такого и помыслить никто не мог. Ну, а князь Нелюб как?

— Этого государь тоже не обидел: дал ему город Переяславль. Однако потом, когда бежал Свидригайло, Нелюба оттуда перевели во Ржеву, городок много похуже. Нелюб, видать, этим обижен и на Руси едва ли останется долго, если уже не ушел, помирившись с Витовтом. Был слух, что они о том переговаривались.

— Ну, а сыновья князя Патрикея прижились ли на Руси?

— Им князь великий дал изначально в кормление Волок-Ламский, а ныне пожаловал обоих боярским са-

ном и богатыми поместьями. Эти у него в большой чести и, вестимо, тут останутся.

— Ежели так почтил государь князей литовской крови, то к вам, русским, был наверно и того милостивей?

— А вот и нет, — сразу помрачнел князь Семен, и Михаил понял, что своим вопросом попал ему в самое больное место. — Правда, поместья он дал нам не малые, но все же похуже, чем Патрикеевым, и от Москвы подальше. Всех пожаловал покуда стольниками, одного лишь Звенигородского князя, Александра Федоровича, поставил воеводой, да вот к святкам удостоил меня окольничьим [1].

— А приема у московского государя долго ли ждут?

— Нас он принял сразу, ведь приехало тогда более десяти князей, все вместе, да еще тьму народу с собою привели. Но, верно, и тебя Василей Дмитриевич долго ждать не заставит, он в общении прост. Ты где остановился?

— На постоялом дворе, близь Тимофеевых ворот.

— Ну, это не дело. Переезжай ныне же ко мне и живи тут, покуда себе усадьбу не найдешь, либо не построишь. Я тебе рад.

— Спаси тебя Бог, Семен Романович, на ласковом слове. Только ведь я не один. Гляди, не стеснил бы тебя.

— Небось, не стеснишь. Сколько с тобой челяди?

— Да душ семьдесят.

— Пустое! Тут и сотня поместится, да еще на столько же места будет. Я боле половины своих людей в поместье отправил.

— Я и сам заметил — усадьба твоя поболе иного села! Ты что, в наем ее берешь, али купил?

— Купил у боярина Ильи Ивановича Квашнина [2]. Он ныне пошел в гору, почитай, после Ивана Кошкина, при князе великом сделался первым человеком. Ну и,

---

[1] Потомки князя Семена Перемышльского вскоре приняли фамилию князей Горчаковых.

[2] Сын известного по Куликовской битве воеводы Ивана Родионовича Квашни. Кроме него и Ивана Федоровича Кошкина, в годы княжения Василия Первого особенно возвысились бояре Борис и Давид Дмитриевичи Волынские — сыновья князя Боброка, Иван Дмитриевич Всеволожский — тоже сын куликовского воеводы, а также бояре Жеребцов и Челяднин.

вестимо, в Кремле себе отгрохал палаты всем на удивление, а старую усадьбу мне продал.

— И много он взял за нее?

— Ни много ни мало: триста рублей серебром.

— А легко-ль будет мне найти такой случай? Пусть бы даже усадьба поменьше была.

— В Кремле, вестимо, найти трудно, да и цена там иная. А на Посаде, либо на Подоле найдешь. Да вот, погоди: перед тем, как купил я у Квашнина, предлагал мне продать свою усадьбу стольник Семен Васильевич Колюбакин, — она тут недалече. Я с ним совсем было сладился за двести сорок рублей, да после увидел эту, и она мне больше приглянулась, хотя и та не плоха, только построек меньше и двор не столь широк. Может, тебе она подойдет.

— Уже по словам твоим вижу, что подойдет, Семен Романович! Буду тебе навечно благодарен, коли пособишь мне обладить эту куплю!

— Чего легче! На этих же днях тебя с Колюбакой сведу и, Бог даст, сладитесь. А покуда оставайся у меня и ноне же веди сюда всю свою челядь.

* *
*

В начале мая в Карачев прибыл гонец с письмом от княжича Михаила, который сообщал отцу, что до Москвы доехал благополучно, за двести сорок рублей откупил себе у московского стольника знатную усадьбу и великим князем Василием Дмитриевичем был принят ласково.

«И выспросив все с благосердием о тебе, батюшка, и о матушке княгине, и о сестрице, о роде нашем и о княжении, — писал дальше Михаил, — пожаловал меня великий государь стольником и велел писаться князем Хотетовским. И еще пожаловал мне великий государь поместье близ города Коломны, поприщь двадцать на полдень, меж рекой Коломенкой и Окой, село Горки да село Кукуево, да Хопанево, да Столбец, а при тех селах четырнадцать деревень и восемь пустошей, а всего под орало земли будет поболе шести тысяч четвертей[1] и лесу вельми изрядно.»

И далее, после положенных поклонов и пожеланий всем членам семьи, следовала приписка:

---

[1] Четверть — полдесятины.

«А что до сестрицы моей любезной Софьи, твое повеление, батюшка, я не забыл и ныне рад послать тебе добрую весть: тому с полмесяца, приехал на Москву новый Моложский князь Дмитрей Федорович, поклониться и ряд взять[1] с великим князем Василием Дмитриевичем, яко же и преславные отцы их такой ряд, воистину как братья, имели. И с тем князем Дмитреем Федоровичем приехал на Москву вотчич[2] его, Борис, и свел я с ним вборзе знакомство и дружбу. А намедни были мы все на пиру у Серпуховского князя Володимера Андреевича и там я от Моложского князя сведал, что ищет он княжичу своему Борису невесту достойную, чтобы была из доброго княжеского роду. И я ему сказал, что ищем мы Софье нашей достойного по роду жениха. А еще был на том пиру Звенигородский князь Александр Федорович и, услыхав, о чем речь, честью он клялся, что Софью нашу не однажды видел и что краше ее другой девы не знает. И Моложские князья, это услышав, возрадовались зело и стали на том, что по осени будут сватать Софью. И ты, батюшка, коли хочешь моего совета послушать, их благослови, ибо Моложский род добрый и славный, а княжич Борис собою статен, лицом вельми пригож, а годов ему девятнадцать.»

ГЛАВА XVI

«И сердце юноши, кипением объято,
Бурлило, как расплавленное злато».

Низами, XII век

Возвратившись в Карачеевку, Арсений не переставал думать о Софье, но тревога его и досада улеглись очень скоро. Последние слова, сказанные при прощании княжной, и тот прием, который ему оказал князь Иван Мстиславич на обратном пути, объяснили ему истинное положение вещей: Софья избегала его не по своей воле. А вспомнив, в каком угнетенном состоянии она находилась последние дни, он понял, что исполнять эту чужую волю ей было нелегко.

Разобравшись в этом, Арсений повеселел. Для него

[1] Взять ряд — подписать договор, соглашение.
[2] Вотчич — старший сын, наследник.

единственно важным было то, что душой Софья от него не отталкивается, наоборот, может быть даже тянется к нему, а препятствия его не пугали. Он не боялся никакой борьбы и по своей азиатской натуре готов был идти к победе любым путем. К тому же чутье ему подсказывало, что князь Хотет, запрещая дочери общаться с ним, невольно способствует их сближению, ибо запретный плод особенно сладок.

Какого-либо далеко вперед продуманного плана действий Арсений и не пытался создать, — он был слишком непосредственным и бесшабашным для этого. Для него вопрос стоял просто: он любит Софью и, если она его тоже полюбит, хочет получить ее в жены. Как этого достигнуть, будет видно потом, так или иначе, против ее собственной воли он ее никому не уступит. А сейчас надо добиться ее любви, а если она уже его любит, ее согласия на то, чтобы он действовал.

При всем этом Арсений хорошо понимал, что медлить нельзя, да это было и не в его характере. «Такая красавица, как княжна Софья, долго на выданьи не засидится, — думал он, — того и гляди кто-либо другой присватается. А может быть, у Хотета уже и есть для дочери жених на примете? Наверное потому он так и всполошился. И нюх у него, видать, тонкий, как у пса: мы с Софьей еще и словом ни о чем таком не обмолвились, а уже учуял. Но не всегда побеждает тот, кто наносит первый удар.»

Не прошло и месяца, как Арсений, взяв с собою Гафиза, снова отправился в Карачев. Пускаясь в путь, никакой определенной цели он себе не ставил и от этой поездки особого проку не ждал. Он просто повиновался чувству, которое влекло его поближе к любимой и не позволяло сидеть сложа руки. Ему было ясно, что если он так скоро и без всякого повода явится снова к Ивану Мстиславичу, то этим окончательно укрепит подозрения последнего и, может быть , испортит все дело. Не менее очевидным было и то, что среди зимы увидеть княжну вне дома нет почти никакой надежды. Да, почти, но не совершенно... И в этом маленьком, казалось бы ничтожном «почти» нашлось достаточно скрытой силы, чтобы заставить Арсения в жестокую стужу проделать верхом стоверстный путь и привести его в Карачев.

Приехал он к вечеру и, остановившись на постоялом дворе, в сумерках несколько раз объехал вокруг

княжеской усадьбы. Она была обнесена стеной из торчком поставленных бревен высотой около двух сажень, но все же при росте Арсения, встав ногами на седло, в некоторых местах можно было заглянуть внутрь. Он это проделал не раз, но ничего интересного не увидел. Сад был пустынен и занесен снегом; поодаль темной громадой высились хоромы, которые могли бы показаться необитаемыми, если бы не дым, куриввшийся из труб; по двору изредка проходил кто-нибудь из челяди, да понуро бродила рябая телка, видимо ненароком выскочившая из коровника на лютый мороз, чему теперь и сама была не рада.

Но все же Арсений сделал одно полезное открытие: он обнаружил, что некоторые бревна ограды настолько подгнили и протрухлявились, что в них ничего не стоит проделать лазейку в сад. Он даже выбрал для этого подходящее место, где к тыну с обеих сторон примыкали заросли кустарника, но самого лаза делать сейчас не стал, а ограничился тем, что проковырял в стене две или три дыры, сквозь которые можно было глядеть внутрь, не становясь на лошадь и не привлекая к себе внимания прохожих. Покончив с этим, он уже в темноте возвратился на постоялый двор, поужинал и заснул сном праведника.

В течение двух следующих дней он несколько раз приближался к ограде княжеской усадьбы и подолгу глядел внутрь. Наконец, счастье ему улыбнулось, — он увидел Софью. В беличьей шубке, с теплой шалью, накинутой на голову и плечи, она появилась на крыльце, постояла немного у перил, потом спустилась в сад и медленно пошла в ту сторону, где находился Арсений. Сердце его затрепетало— если она подойдет настолько близко, чтобы услышать голос, он ее окликнет... Но княжна сделала еще с десяток шагов и повернула назад, дальше дорожка была засыпана глубоким снегом.

Когда Софья, походив немного по двору, вошла в дом, ушел и Арсений. Поняв, что ни видеться, ни говорить с ней до наступления тепла не удастся и что нужно запастись терпением, на следующий день он возвратился домой.

* *
*

В конце апреля, когда весна была уже в полном цвете, Арсению представился случай, которого он давно

ожидал: за зиму в Карачеевке кончились запасы муки и соли, надо было возобновить их, и он взялся это сделать. Захватив с собою несколько пустых подвод, он отправился с ними не в Меченск, где обычно делались подобные закупки, а в более отдаленный Карачев.

На этот раз таиться от Ивана Мстиславича не было надобности, ибо после прошлого посещения минуло уже три месяца, и приличие даже обязывало Арсения воспользоваться случаем и зайти к князю, чтобы осведомиться о судьбе Михаила. Он так и сделал. Хотет встретил его довольно приветливо, сказал, что от сына еще известий не имеет, хотя и слыхал от людей, что в Москве ему оказали хороший прием. Узнав, что Арсений приехал за покупками, он даже пригласил его на полдник. Однако ни княгиня, ни княжна к этой трапезе не вышли, и за столом сидели одни мужчины.

Вечером, когда стемнело, Арсений приблизился снаружи к стене усадьбы и в том месте, которое наметил еще зимой, без особого труда проделал дыру, достаточно широкую, чтобы пролезть в сад. Кустарник, покрытый теперь густой зеленью, надежно скрывал ее от посторонних глаз, а с внутренней стороны позволял незаметно подойти почти вплотную к дорожке, которая вела сюда от княжеских хором.

Арсений не сомневался в том, что сейчас, когда в этом саду все озеленилось и зацвело, княжна нередко выходит сюда из темных хором, опостылевших ей за долгую зиму. «А теперь, — думал он, — услыхав от отца, либо от челяди, что я в Карачеве, может и почаще выходить станет, коли сердце ей что-нибудь говорит.»

В этом предположении, вернее, в надежде своей он не ошибся: Софья о нем часто думала в течение этих месяцев. Она почувствовала к нему приязнь и влечение с первой встречи, а то, что рассказывал Михаил, возвратившись из Карачеевки, в ее глазах превратило его в героя. Все дальнейшие события, а в особенности долгие зимние ночи, дающие столько простора мечтам, сделали остальное: Арсений полностью завладел ее мыслями. И если ее чувство еще и не созрело в подлинную, осознанную разумом любовь, то лишь потому, что Софья сама противилась его дальнейшему развитию, считая что ничего, кроме горя, оно им не принесет, ибо брак между ними невозможен.

О том, что Арсений снова приехал в Карачев и даже обедал у них в доме, она ничего не знала. Как это

не раз бывало, ей просто объявили, что она будет трапезовать наверху, с матерью, так как у князя сегодня свои гости и предстоит деловая беседа.

На следующий день, однако, вся семья отобедала вместе, после чего князь и княгиня, как было заведено, отправились по своим опочивальням отдыхать. Софья спать после обеда еще не привыкла, а потому, побыв недолго в своей светелке, она спустилась в сад и побрела в его зеленую глубину по дорожке, обсаженной пышными кустами смородины.

День был на редкость пригож. Неназойливое апрельское солнце так славно пригревало землю, и с такой упоительной очевидностью радовалась ему вся природа, что эта радость невольно передалась и княжне, смешавшись в ее душе с притаившейся там грустью. Если бы она умела строго рассудочно разобраться в охватившем ее чувстве, она бы поняла причину этого: праздник весны, который сейчас развернулся перед нею, ее пьянил и захватывал, но почувствовать себя не зрителем, а полноправным участником этого великого празднества ей не позволяло чувство духовного одиночества, — для этого нужен был еще кто-то... Очевидно, она смутно осознала это, ибо на ум ей внезапно пришел Арсений. И почти в ту же минуту она услышала совсем близко его голос:

— Будь здрава и не пугайся, княжна! Это я, Арсений.

Вздрогнув всем телом, Софья обернулась на голос, но не увидела ничего, кроме зарослей цветущего боярышника. «Наваждение», — подумала она и хотела бежать, но в этот миг один из кустов зашевелился и между ветвями показалось улыбающее лицо Арсения.

— Ужели воистину это ты? — пролепетала она.

— Вестимо, я. А ты что подумала, — оборотень? — смеясь, ответил Арсений. — Кабы мог я им делаться, небось давно и не раз бы уже тебя повидал.

— Да ты как очутился-то здесь? — понемногу приходя в себя, спросила Софья.

— Вечор проломил в тыне дыру, вон там, за кустами, а ноне пролез в нее и ждал тут тебя.

— И не побоялся, что тебя кто увидит? Вот было бы сраму!

— А что делать, ежели нам инако встретиться не дают? Только ты не опасайся: прежде чем сюда лезть,

я огляделся добро и готов честью поклясться, что меня никто не видел.

— Ну, а если сейчас нас вместе увидят?

— Не увидят. Ты вот, садись на скамью, будто отдыхаешь, а я за кустом останусь. Так и будем беседовать.

Княжна подумала, что надо бы рассердиться и уйти, но гнева в душе не находила, наоборот, теперь ей было по-настоящему радостно, хотя и страшно немного. После минутного колебания она села на скамью, стоявшую тут же, и сказала:

— Экой ты отчаянный! Что же тебя привело сюда?

— Сердце привело. Полюбилась ты мне так крепко, что свет без тебя не мил. И коли я тебе тоже люб, хочу сватать тебя у князя Ивана Мстиславича.

— Не отдаст меня батюшка за тебя, — тихо промолвила Софья, справившись с волнением, которое ее охватило при этих словах Арсения. — Хоть умри мы оба, не отдаст.

— Почто ты так мыслишь?

— Сам он мне о том говорил зимою, когда ты мне медвежью шкуру привез.

— Что же такое он сказал?

— Сказал, что ты татарин и мне не пара. Есть у него думка русского князя мне приискать.

— А не нашел ли уже?

— Будто нет. Зачем бы ему скрывать такое? А ни мне, ни матери он до сей поры ничего не сказывал.

— Добро, коли так. Может, я ему в том пособлю.

— Ты?!

— Ну, да. Коли я тебя верно понял, в нашем деле токмо одна препона: что я не русский князь. А свой-то Карачевский род батюшка твой высоко ставит?

— Вестимо, высоко. Мы от Черниговских князей идем, а они были старшими на Руси. Даже Московский род ниже.

— Ну, если так, чаю, все будет ладно: родитель твой не знает еще, что и я того же роду и что дед мой княжил в Карачеве прежде его деда.

— Как могло быть такое? — воскликнула пораженная Софья. — Иль ты отца обмануть замыслил?

— Нет в моих словах никакого обману, — промолвил Арсений. — Давно это было, но князь Иван Мстиславич от отцов своих о том должен знать. Коли хочешь, расспроси его, и он тебе сам скажет: его прадед, Тит Мстиславич, володел Козельском, покуда обманом

не выправил от хана ярлык на Карачев и не согнал оттуда князя Василея Пантелеевича, который там по закону княжил. И тот князь Василей был моим родным дедом, отцом моего отца. Этого Иван Мстиславич покуда не знает, но сама видишь теперь, что нет у него причины отказать в моем сватовстве.

— Может и так, — помолчав, сказала Софья. — Только я его лучше знаю: если он что в голову взял, на том крепко стоит.

— Не в этом суть. Допрежь всего ты мне вот что скажи: сама-то ты за меня хочешь идти?

— Что с того, пусть бы и хотела? Я в батюшкиной воле, а он меня не отдаст за тебя, вот увидишь.

— Ты это на меня положи. Буду сватать на этих же днях, а там поглядим, как дело обернется. И коли он тебя отдать мне не схочет, это еще не конец. Я тоже на своем стоять умею крепко и другому тебя не уступлю!

— Что же ты сделаешь?

— А я еще не знаю. Когда спадобится, ужо что-нибудь сделаю. Только ты мне, любушка, одно обещай: коли станут тебя неволить за другого идти, ты на то согласия не давай и тотчас упреди меня. Обещаешь?

— Обещаю... Только как я тебя упрежу!

— О том я уже подумал. Писать ты умеешь?

— Имя свое написать могу, а иного нет.

— Тогда так порядимся: вон, видишь, за кустами, у самого тына стоит старая липа? В ней есть дупло, а возле липы мой лаз. Коли будут у тебя важные новости, положи в то дупло белый платок, либо лоскут, и два дня спустя жди меня на этом же месте. Тут в городе останется верный мне человек, который к той липе будет каждое утро наведываться и твой платок мне враз доставит. А если я с тобой говорить схочу, найдешь в дупле зеленый лоскут. Не позабудешь?

— Нет. Только ты остерегайся и гляди хорошо: иной раз и мать моя сюда ходит. А сейчас я пойду... Столь мне все это нежданно-негаданно, что сердце, ровно птица, трепещет да и боязно, как бы дома не хватились... Только нет, Богом прошу, на дорожку не выходи, — вскочив со скамейки, добавила она, видя, что Арсений раздвинул кусты и шагнул вперед, — тут тебя отовсюду увидеть могут. Прощай, милый, храни тебя Господь!

— Да сохранит Он и тебя, зоренька, для нашей встречи навеки! — крикнул ей вдогонку Арсений.

ГЛАВА XVII

«Осел только тогда узнает, что он осел, когда у него отрежут и покажут ему его ухо».

Восточная пословица

Возвратившись домой, Арсений без обиняков сказал отцу, что любит Карачевскую княжну Софью и просит его, коли он не против их брака, поехать к князю Ивану Мстиславичу, чтобы ее посватать.

— А с княжной ты уже о том говорил? — спросил весьма удивленный Карач-мурза.

— Говорил, батюшка. Она согласна.

— Когда же это и как вы успели слюбиться?

Арсений, изредка прерываемый вопросами отца, вкратце изложил ему несложную историю своей любви и связанных с нею событий. Выслушав его, Карач-мурза немного подумал. Выбор сына он одобрял, — княжна ему нравилась, а возможность породниться с князем Иваном Мстиславичем сразу привлекла его своей духовной, символической стороной: ему подумалось, что этот брак зачеркнул бы все обиды минувших поколений, как бы примиряя тени умерших, и снова мог бы соединить в потомстве две близкие ветви единого и славного рода, в прошлом разъединенные враждой и ненавистью. И он сказал:

— Ну, что ж, коли вы друг другу любы, я рад и готов дать вам свое отчее благословение. Мыслю, что княжна Софья будет тебе доброй женой, как и ты ей добрым мужем. На этих же днях поеду в Карачев и, Бог даст, сговоримся с князем Иваном Мстиславичем, — чай своему детищу он тоже не враг.

* *
*

Когда неделю спустя князь Хотет увидел из окна своей опочивальни седобородого всадника, въезжающего к нему во двор в сопровождении целой свиты дружинников и слуг, он не сразу признал в нем Карач-мурзу.

В последнем сегодня ничто не напоминало того татарина, который посетил князя четыре года тому назад. Одет он был чисто по-русски и притом с подлинным ве-

великолепием: бобровая шапка с голубым верхом, аксамитовый[1], синий с серебром, кафтан, шитые жемчугом сафьяновые сапоги, и на боку драгоценная, усыпанная самоцветами сабля.

Чувствуя, что неспроста такая пышность, несколько встревоженный Иван Мстиславич хотел было сам выйти на крыльцо встретить приезжего. Но в последнюю минуту спохватился, — в нем внезапно заговорила спесь. «Не возомнил бы татарин, что эдак разодевшись и приведя с собою кучу холопов, сравнялся он с Карачевским князем. Пусть свое место помнит!» — подумал Хотет и выслал дворецкого с приказанием провести посетителя в приемную горницу. Сам он переодеваться не стал, вышел, как был, в поношенном домашнем халате, меня, мол, род мой красит, а не одежа, однако гостя принял вежливо и с подобающим радушием.

— Рад видеть тебя здравым, Иван Васильевич, — промолвил он, пожимая руку Карач-мурзе. — Кажись, так стал зваться ты, принявши святое крещение?

— Так, Иван Мстиславич. Здравствуй и ты в благоденствии на многие лета, и да будет Господь вовеки милостив к тебе и к твоей достойнейшей семье, — ответил Карач-мурза с той цветистой восточной учтивостью, от которой он и на Руси не вполне отвык.

— За добрые пожелания спаси тебя Бог, Иван Васильевич. Ну, садись, сказывай, что нового у вас на Неручи?

— У нас, благодарение Создателю, ныне все спокойно, князь. Сейчас без помехи пашем, да вверх по правому берегу Неручи почали вырубать лес под новые посевы.

— Али народу у тебя еще прибыло?

— Прибыло много и все новые идут. Пленные татары, коих мы зимой взяли, почти все порешили у нас осесть, да и русских смердов приходит немало, — им у меня получше, нежели в иных местах. Коли так дальше пойдет, думаю у князя Витовта еще земли просить.

— Ну, что же, в добрый час! Витовт Кейстутьевич в том тебе наверное не откажет, ему ведь на руку, чтобы заселялись порубежные земли, — промолвил Хотет не без зависти, шевельнувшейся в душе: этот невесть откуда пришлый татарин тут явно преуспевал и год от

---

[1] Аксамит — драгоценная ткань, по шелковой либо бархатной основе вотканная золотой или серебряной крученой нитью.

года набирал силу, в то время когда он сам, — как-ни-как князь и законный хозяин Карачевской земли, все больше хирел и терял значение.

— А в Диком Поле ныне спокойно? — помолчав, спросил он.

— Совсем спокойно там никогда не бывает, — ответил Карач-мурза. — Малые орды иной раз вблизи от рубежей показываются. Только после той острастки, что мы им дали, они нас более не тревожат.

— Вестимо, забоялись. Важно ты их проучил, Иван Васильевич! Мне княжич мой Михайло рассказывал и уж не знаю, кому больше воздал хвалы, — тебе ли за воинскую мудрость или сыну твоему за доблесть и силу. А твой Арсений и впрямь богатырь, да к тому и душой приятен, с ним мы уже добре знакомы. Воистину можешь гордиться таким сыном!

— На добром слове спасибо, Иван Мстиславич! Особо же рад я тому, что так хвалишь ты моего Арсения и что он тебе пришелся по сердцу, ибо приехал я сюда по его делу. И поелику ты о нем говоришь такое, чаю, что дело это у нас сладится.

— Какое же такое дело? — насторожился Хотет, начиная догадываться.

— Хочу сватать для него дочь твою, княжну Софью. Они друг дружку полюбили крепко и, чаю, будут хорошей парой, коли дашь ты им свое благословение, как я свое даю.

Иван Мстиславич, хотя уже и ожидал этого, на мгновение растерялся, не зная что, вернее — как ответить. Всякого татарина, даже самого знатного, он ставил в душе неизмеримо ниже себя, а к тому же два дня тому назад получил от Михаила извещение о том, что Софью будет сватать Моложский князь, и этим был отменно доволен. Помолчав немного и собравшись с мыслями, он сказал:

— Не обессудь, Иван Васильевич, но хочешь ты невозможного. Знаю, ты человек достойный, и я тебя вельми уважаю. Сына твоего тоже хвалил я без лести и снова скажу: всем он хорош. Только что ни говори, а ведь вы татары и дочери моей он не ровня.

— Будь мой сын мусульманином, я бы с тобой в том не спорил, — спокойно возразил Карач-мурза. — Но он, тако же, как и я, давно принял святое крещение, стало быть, вера нас ныне не разделяет.

— Пусть так. Но я не о том говорю.

— А о чем же еще?

— Не ровня он ей по крови.

— Ну, это ты напраслину молвил, Иван Мстиславич. Коли говорить о его татарской крови, то и она не хуже твоей: и мать его и бабка царского роду, из коего немало жен высватали русские князья.

— Может, по нужде и высватали. А у меня такой нужды нет, и я дочь свою отдам токмо за русского князя.

— Рад это слышать, Иван Мстиславич. Коли так, мы с тобою наверно поладим, ибо сын мой, как и я, тоже русский князь, да к тому же такого роду, который ты без сумнения выше всех иных ставишь.

— Вона! Какого же этого вы столь славного роду?

— Роду князей Карачевских и Черниговских, того же самого, что и ты, токмо лишь старшей ветви.

— Ты что, Иван Васильевич, меня за глупца почитаешь, али сам внезапу потерял разум? — воскликнул пораженный Хотет.

— Ни то, ни другое. Я тебе истину говорю. Я сын родной и законный князя Василея Пантелеевича, у которого прадед твой Тит Мстиславич отнял Карачевский стол, след чего род ваш Козельский тут и вокняжился. И ты мне по боковой ветви племянник.

— Откуда же ты вдруг татарин? Э, полно, Иван Васильевич, плетешь ты невесть что и мыслишь — так вот я словам твоим несуразным и поверю!

— Коли не веришь словам, поверишь вот этому, — промолвил Карач-мурза, протягивая собеседнику небольшой свиток пергамента, который достал он из бокового кармана.

— А это что такое? — спросил Хотет.

— Духовная грамота[1] предка нашего Мстислава Михайловича, первого князя Карачевского и Козельского.

— Как же она у тебя оказалась?

— Передавалась она старшему в роде, вместе с Карачевским столом, и мой отец получил ее от своего отца, когда вступил на великое княжение в нашей земле.

Хотет с недоверием взял пергамент, развернул его и медленно, букву за буквой, стал разбирать выцветшие от времени слова: «Во имя Отца и Сына и Святаго Духа: — се яз, раб Божий Мстислав, а во святом кре-

---

[1] Духовная грамота — завещание.

щении Михайло, княж-Михайлов сын и князь земли Карачевской»... Дочитав до этого места, Иван Мстиславич быстро перевел глаза на подпись и на висевшую внизу красную восковую печать с изображением Архангела. Все так... Вельми дивно сие, а видать, не солгал татарин, — подумал он и снова углубился в чтение. Вначале содержание грамоты его почти не интересовало, — это было перечисление уделов, которые князь Мстислав Михайлович завещал четырем своим сыновьям, и общие им наставления. Но дойдя до того места, где говорилось, что в случае бездетности старшего из братьев — Святослава, на великом княжении в Карачеве утверждается род второго брата — князя Пантелеймона, Хотет почувствовал, что его бросило в жар: он вдруг сообразил, что сейчас не ему, потомку третьего брата Тита, — а именно этому «татарину» по закону надлежало княжить в Карачеве.

— А князю Витовту ты эту грамоту показывал? — спросил он, быстро вскинув глаза на Карач-мурзу.

— Нет. Зачем бы я стал ее показывать? Карачевского стола я не домогаюсь, а то, что узнал ты обо мне сейчас, князь Витовт уже давно и без грамоты знает.

«Ага, значит сунулся ты к нему, да вместо княжения получил шиш», — с облегчением подумал Иван Мстиславич. Ему стало ясно: если Витовт, зная о правах Карач-мурзы, до сих пор не передал ему Карачева, стало быть, он вообще не собирается этого делать. Почему — Хотет тоже уразумел: «Не меня, вестимо, жалеет, а Юлиану Ивановну». Эта догадка довершила его раздражение, и он сказал почти с вызовом, возвращая грамоту Карач-мурзе:

— Ну и чего же ты от меня теперь хочешь?

— Ничего не хочу, опричь того, за чем приехал: руку дочери твоей прошу для сына моего Арсения.

— Я уже сказал тебе, что за него Софью не отдам.

— Сказал, что не отдашь, поелику он не русский князь. Ну, а теперь сам видишь, что в том ты ошибся. Так что же еще?

— А то, что за другого русского князя хочу ее выдать.

— И он уже ее посватал?

— Посватал или еще посватает, то не важно. Таково моя воля родительская, и все тут!

— Стало быть, дочери своей ты счастья не хочешь? Ведь она Арсения любит, а не того другого князя.

— То не любовь, а блажь пустая! Выйдет за кого я велю, а там и полюбит. С девками всегда так.

— Это твое последнее слово, Иван Мстиславич?

— У меня слово токмо одно, оно и первое, оно и последнее. И на том не гневайся, Иван Васильевич.

— Ну, коли так, будь здоров. Жалею, что тебя зря потревожил, — поднимаясь с места, промолвил Карач-мурза.

— Куда же ты? Хоть отобедай с нами.

— Благодарствую, княже, спешу в обрат. Оставайся с Богом!

ГЛАВА XVIII

Когда Карач-мурза сообщил сыну о неудаче своего сватовства и посоветовал ему забыть княжну Софью, Арсений только нахмурился и ничего не сказал. Хотя удар был жесток, он сдаваться не собирался, но посвящать отца в свои дальнейшие намерения не хотел, справедливо опасаясь того, что они не встретят одобрения, а тогда пришлось бы отказаться от Софьи или идти на открытое нарушение отцовской воли. Ни того, ни другого Арсений, разумеется, не желал, а потому решил действовать теперь на свой собственный страх и риск.

Но Карач-мурза хорошо знал сына и не сомневался в том, что он на этом не успокоится и будет добиваться своего, вопреки сумасбродной воле князя Хотета. Не считая возможным открыто одобрять подобный образ действий, но в душе сочувствуя Арсению, он тоже предпочел не вызывать его на откровенность и сделал вид, что почитает это дело оконченным, а потому не хочет больше и говорить о нем.

Наутро следующего дня Арсений поскакал в Карачев: прежде всего надо было поговорить с княжной.

«Коли она меня крепко любит, — думал он, — пускай у Хотета язык загорится, а все одно мы поженимся. Ну, а если я ей не столь люб, чтобы ради того отцовский запрет порушить, тогда... поглядим!»

Приехав в город, когда уже темнело, он приблизился прямо к своей лазейке и, привязав коня снаружи, проник в княжеский сад. Тут, вытащив из кармана зеленый лоскут, он хотел положить его в условленное место, но, заглянув в дупло, обнаружил там белый платочек, видимо совсем недавно оставленный Софьей.

Эта находка несказанно его обрадовала: значит, несмотря на все и она хотела говорить с ним! В том бы ей нужды не было, если бы она смирилась перед отцовской волей и не чаяла иного пути, как под венец с нелюбимым. Стало быть, не смирилась, любушка!

Бережно спрятав на груди платок, хранивший еле уловимый запах резеды, Арсений сунул в дупло зеленый лоскут, чтобы княжна знала, что он уже здесь, и отправился ночевать на постоялый двор.

На следующий день, после обеда, когда княжна появилась в саду, Арсений уже давно был на месте. Увидев ее и убедившись, что вокруг нет ни души, он вышел из-за кустов и хотел приблизиться к ней, но Софья поспешно сказала:

— Всеми святыми тебя молю: оставайся скрытым! Это место тем и хорошо, что оно из терема не видно. Коли кто выглянет оттуда и увидит меня одну на скамье, будут спокойны и нас не потревожат. А ныне надобно сугубо блюсти осторожность: родитель намедни сказал, что ежели еще что заметит или уподозрит, в тот же час отошлет меня в Вильну, к бабке.

— Он тебе говорил о том, что отец мой приезжал тебя сватать? — спросил Арсений, снова прячась в кустах.

— Говорил. Был сердит и все допытывался, где и как мы с тобою встречались, либо сносились? Я крепко стояла на том, что с той самой поры, как приезжал ты сюда с медвежьей шкурой, тебя не видела и вестей от тебя не имела. Кажись, он тому поверил и только спросил еще: истина ли то, что ты мне люб?

— А что ты ответила? — спросил Арсений, видя, что княжна замолчала.

— Ответила, что истина... — потупив голову, промолвила Софья.

— Спаси тебя Христос, ласточка, за эти слова! Коли так, ничто еще не потеряно. Ну, а что еще твой родитель сказал?

— Корил меня в том, будто я тебе, если не словами, так глазами надежду дала, потому ты и вздумал свататься. И опять сказал, чтобы я это из головы выбросила и о тебе думать не смела, ибо о судьбе моей он сам печется и уже приискал мне жениха, Моложского княжича, который собою вельми пригож и невдолге приедет меня сватать.

— Ну, а ты что?

— Вестимо, не хочу я идти за того княжича, только батюшке больше ничего не сказала, боясь, что инако он вконец осерчает и велит запереть меня в тереме. Как бы мы тогда с тобою встретились? Я ж хоть в последний раз тебя повидать хотела...

— Бог даст, не последний это раз, моя любушка! Еще целую жизнь вместе будем, коли ныне не оплошаем.

— А что теперь сделаешь? Не знай я своего отца, молила бы, в ноги ему упавши, чтобы позволил за тебя идти. Да ведь не зря он Хотетом прозван, его норова не переборешь, только хуже будет. Ничего нам не осталось, как проститься навеки...

— А я иное думаю: осталось нам бежать и обвенчаться тайно. И когда дело будет сделано, уж ничей норов его в обрат не повернет.

— Да как же это можно? Без родительского благословения под венец идти?

— Коли я тебе истинно люб, почитай, лучше за меня идти без благословения, нежели с благословением за нелюбимого. Да и церковь наш брак благословит.

— А батюшка-то? Ведь он такого мне никогда не простит. Еще и проклянуть может!

— Что ты, любушка! Не злой же он человек, и ты ему дочь родная. Да и за что проклинать: ему тут бесчестья нет, ведь не холопа ты ему зятем сделаешь, а князя из его же славного рода. Все обойдется! Посерчает родитель твой, не без того, а там и простит, уразумевши, что иного не остается.

— Хоть матушкино благословение получить бы...

— Как повенчаемся, вымолим у нее благословение, — какая мать в том откажет? А сейчас, чай, сама разумеешь, просить о том княгиню — значит погубить дело. Втайне от всех надобно это сделать и наипаче спешить, покуда тот треклятый княжич не приехал, либо еще что не стряслось.

— Ох, не смею я этого... Знаю, без тебя моя жизнь будет как ночь темна, а все же на такой грех идти боязно.

— Не столь уж велик этот грех, и Бог его нам простит: не чужое счастье хотим мы порушить, а токмо свое спасти. Но я тебя не неволю. Боишься со мною угоном венчаться, иди за Моложского княжича. Третьего пути нет.

— Господи! Не хочу за Моложского княжича, —

вырвалось у княжны. Слезы хлынули у нее из глаз, и она закрыла лицо руками. — Только за тебя пойду, либо ни за кого!

— Тогда решайся.

— А что же делать-то надо? — после довольно долгого молчания, всхлипывая, промолвила Софья.

— Ты только не казнись боле, будь готова и жди. А я все сделаю: где-либо в глухом месте найду попа, который нас обвенчает, по пути расставлю подменных лошадей и прочее приготовлю, а после приеду за тобой. На это мне шесть дней достанет, так что во вторник на той неделе буду я снова здесь, и ты выходи к моему лазу после полдника, едва твои родители почивать лягут. Часа два либо три тебя дома не хватятся, а мы к тому времени уже верст за сорок отсюда будем. Уразумела все, ласточка?

Княжна молча кивнула головой, не отнимая ладоней от лица.

— И сделаешь все, как надо?

— Сделаю... да простит мне Господь.

— Ну, вот и ладно, цветик мой, а покуда оставайся с Богом и будь сердцем крепка, тогда все хорошо кончится. До вторника ждать не долго, а сейчас я хочу уехать отсюда, пока меня в городе никто не видел, и сразу возьмусь за дело.

ГЛАВА XIX

Арсений задолго вперед обдумывать своих действий не любил, но когда доходило до дела, умел взяться за него крепко и с умом, предусматривая все возможности и не теряя времени понапрасну.

Он почти не сомневался в том, что за ними будет погоня. «Вестимо, мы ее часа на два опередим, — думал он, — но ведь, если скакать далеко, верховые наш возок все одно догонят. Спробовать надо сбить их со следу, но это тоже либо удастся, либо нет, стало быть, важнее всего венчаться где-нибудь поближе и поскорее, покуда нас не настигли. А там хоть и словят, жену у мужа уже не отберут!»

Пораскинув умом, он остановился на большом селе Звенцах, которое находилось в шестидесяти верстах от Карачева и верст на пятнадцать в стороне от прямой дороги на Карачевку. Там была церковь, и ее настоя-

теля Арсений хорошо знал. Простившись с княжной, он направился прямо в это село и, остановившись на ночлег у священника, договорился с ним обо всем. С кем он будет венчаться, Арсений обещал сказать ему после, но старенький отец Александр, приход которого был беден и во многом зависел от щедрости Карач-мурзы, получив клятвенное заверение в том, что последний не против этого брака, ни о чем больше допытываться не стал и сказал, что если невеста идет под венец по своей доброй воле, он их обвенчает, и что во вторник вечером все к этому будет готово.

Приехав затем в Карачеевку, Арсений провел тут день, а на следующий выехал обратно, взяв с собою трех молодых татар — коноводов и пятнадцать тщательно отобранных лошадей. Разбив их на три одинаковых группы, первую он оставил в Звенцах, а две остальные — по дороге оттуда в Карачев, на расстоянии двадцати верст одна от другой.

Покончив с этим, он снова возвратился домой, а в понедельник утром на двух тройках, запряженных в крепкие возки, выехал в Карачев. В этой поездке его сопровождали трое верных дружинников, полностью посвященных в дело: Гафиз, Керим и сын Ильяса — Хайдар; ехала с ними и сестра последнего, семнадцатилетняя Зульма. Двигались они не спеша и, приехав в город, когда уже совсем стемнело, остановились на двух разных постоялых дворах.

Наутро Арсений дал спутникам все нужные распоряжения, а сам, сразу после полудня, пешком отправился к месту встречи с Софьей, прихватив с собою широкую женскую шаль — накидку.

Ждать ему пришлось довольно долго, прошло около часа, прежде чем на садовой дорожке показалась княжна. Постояв немного у скамьи и не видя отсюда никого, она нерешительно вошла в кустарник и приблизилась к старой липе, у тына, где ожидал Арсений.

— Слава Христу, пришла ты, любушка, — вполголоса промолвил он. — А я уж заждался, думал, не случилась ли какая беда. Ну, идем теперь поскорее, нам каждый миг дорог!

Пока он говорил это, Софья стояла неподвижно, потупив голову. Но выслушав его, подняла наполненные слезами глаза и, глядя на него с любовью и нежностью, сказала:

— Милый, прости и забудь меня. Много я этими

днями думала и молилась и вот, к иному пришла. Не побегу я с тобой... Столько в том будет горя и сраму родителям, что этого Бог не простит и не даст он нам счастья.

— От тебя ли я это слышу, княжна? — потемнев, воскликнул Арсений. — Да ведь дело у нас было решено, и я все приготовил к твоему увозу и к венчанию. А теперь, что же, на попятный? Ужели хочешь так осрамить меня перед моими людьми и перед попом?

— Прости меня, мой любимый! Но я не могу иначе...

— Вот, говоришь «любимый»! А сама, что же, пойдешь за Моложского княжича?

— Не пойду за него, в том тебе Богом клянусь!

— А что ты сделаешь?

— Не знаю еще. Коли будут неволить, в монастырь уйду. Этого родитель запретить мне не может.

— В твои-то годы и в монастырь?! Да полно, княжна! Почто на самой заре свою жизнь ломать? Бежим, как было у нас уговорено, и все будет ладно.

— Не томи меня боле и не проси о том. Не могу я такого греха взять на душу!

— Не можешь? Ну, так я его на себя возьму! — воскликнул Арсений. С этими словами он подскочил к остолбеневшей княжне, набросил ей на голову накидку и, схватив на руки, шагнул к забору. Дыра, через которую он проникал в сад, была слишком узка, чтобы пропустить его с такой ношей, двумя ударами ноги он ее расширил и вышел наружу.

— Пусти! — прошептала Софья, делая слабую попытку вырваться. Арсений ничего не ответил, только крепче сжал ее в своих железных руках.

Со всех сторон их окружал довольно густой кустарник, по уклону сбегавший отсюда к городской стене, а за нею к берегу Снежети.[1] Жилых дворов тут, на косогоре, почти не было, и заранее все высмотревший Арсений, придерживаясь кустов, уверенно направился к тому месту, где одна из городниц стены от ветхости обвалилась, свободно позволяя выйти к реке.

Теперь княжна Софья лежала на его руках смирно, не пытаясь сопротивляться. Она поняла, что он ее все равно не выпустит, да в душе уже и сама не хотела

---

[1] Река Снежеть — левый приток Десны, на котором стоит Карачев.

этого, — сила и смелость Арсения покорили ее. Когда ему оставалось шагов двадцать до городской стены, она сказала:

— Отпусти меня наземь, я сама пойду.

— Вот так-то лучше, — промолвил Арсений, бережно поставив ее на ноги. — Только прикрой лицо шалью, чтобы ненароком тебя кто-либо не признал. Сейчас спустимся к реке, а там надо будет пройти по открытому месту вон до той рощи, в ней у меня возок спрятан. Пойдем по берегу не спеша, будто какой горожанин со своей милой погулять вышли.

К счастью, все эти предосторожности оказались излишними: был час послеобеденного отдыха, нигде не виделось живой души, и минут пятнадцать спустя Арсений и Софья, никем не замеченные, благополучно выбравшись из города и пройдя берегом с полверсты, уже подходили к цели. По пути он сказал ей:

— Ты на меня не сердись, ласточка, за то, что тебя так схватил. Иного не оставалось. Коли поддался бы я твоей слабости, все бы у нас пропало.

— Я не сержусь, — тихо промолвила княжна. — Видно такова была воля Божья.

В роще их ожидала тройка и при ней верховые, Гафиз и Керим. Усевшись с Софьей в возок, Арсений перекрестился, разобрал вожжи и стегнул лошадей. Выехав из заросли на дорогу, тройка набрала скорость и, поднимая клубы пыли, во весь опор понеслась на юго-восток, в сторону Карачеевки.

Почти в то же время по улицам Карачева, гремя бубенцами и колокольчиками, пролетела другая тройка и, выехав через северные ворота, помчалась по дороге на Меченск. В ней сидели двое: молодой мужчина и женщина, закутанная в шаль.

Это были Хайдар и Зульма.

ГЛАВА XX

> **«Гнев шагает впереди, а разум сзади».**
>
> *Туркменская пословица*

Дважды сменив по пути лошадей, Арсений и его спутники к шести часам вечера были уже в Звенцах. У отца Александра все было готово, и они прошли прямо в церковь.

Во время совершения обряда священник спросил имя невесты и, получив краткий ответ, обвенчал рабу Божью Софию с рабом Божьим Арсением. Но когда для записи в церковную книгу потребовались более полные данные и в том числе имена родителей, услыхав их, он обомлел, и перо вывалилось из его задрожавшей руки. Однако когда Арсений высыпал на стол пригоршню золота и обещал позаботиться о его судьбе в случае каких-либо преследований со стороны Карачевского князя, отец Александр немного успокоился и, окончив запись, пожелал молодым долгой и счастливой жизни.

Снова переменив коней, они без промедления выехали в Карачеевку, до которой отсюда было немного более пятидесяти верст. Догнав по дороге коновода, возвращавшегося на Неручь с лошадьми, которых они сменили при повороте на Звенцы, Арсений от него узнал, что погони за ними не было. Из этого он понял, что его хитрость удалась: погнались, без сомнения, не за ними, а за Хайдаром и Зульмой, по дороге на Меченск, ибо на их тройку, выезжавшую с таким шумом, в городе, конечно, многие обратили внимание.

Когда до Карачеевки оставалось верст двадцать, Арсений сделал короткую остановку на отдых и, отозвав в сторону Гафиза, сказал ему:

— Скачи вперед и без утайки расскажи все моему отцу. К тому добавь, что молю его о прощении и, коли он сильно сердит, гнев его на себя готов принять смиренно, только бы сегодня встретил он нас по-родительски, ради жены моей молодой, которая ни в чем не повинна.

Отправив гонца, Арсений продолжал путь, но все же, подъезжая к дому, испытывал изрядное беспокойство. Как-то их примет отец? Хоть он человек добрый и на брак их согласие давал, а за такое самоуправство может и разгневаться...

Но его опасения оказались напрасными: Карач-мурза и Хатедже с иконой встретили новобрачных на пороге, благословили их и приняли с полной сердечностью. Ни тут, ни за трапезой, которая их уже ожидала, не последовало ни упреков, ни вопросов, — словно все совершилось обычным порядком и по общему согласию. Была уже глубокая ночь и потому, не задерживаясь долго за столом, молодые отправились в приготовленную для них опочивальню.

На исходе следующего дня со сторожевой башни сообщили, что к усадьбе приближается конный отряд, численностью человек в двести. Ожидавший чего-либо подобного Карач-мурза тотчас приказал запереть ворота, а сам поднялся на башню. Глянув оттуда на подъезжавший отряд, — по-видимому составленный из челяди, вооруженной кто чем горазд, — в передовом всаднике он узнал самого князя Ивана Мстиславича.

Как стало известно позже, в княжеских хоромах накануне заметили отсутствие Софьи только в четыре часа пополудни. Прежде всего стали искать в саду и тут обнаружили дыру в заборе, а возле нее оброненный платок княжны и следы мужских ног.

Весть о похищении княжеской дочери мгновенно облетела весь Карачев. Нашлось немало людей, видевших промчавшуюся по городу тройку, которая взяла потом направление на Меченск, а на постоялом дворе выяснилось, что тут ночевал накануне Арсений. Хотету все стало ясно. Не теряя минуты, он вооружил и выслал в погоню десяток людей из своей челяди, под начальством одного из приближенных дворян. К этому маленькому отряду присоединилось еще несколько добровольцев-горожан, и все они поскакали по дороге на Меченск.

Беглецы опередили преследователей часа на два, и их удалось догнать лишь в сорока верстах от города. Ехали они не торопясь и, заметив погоню, от нее уйти не пытались. Тройка была та самая, с бубенцами и колокольчиками, которую видели в Карачеве, но сидели в ней совсем не те, кого искали люди князя Хотета.

Все же их остановили и начали допрашивать. Хайдар, унаследовавший внешность своего русского отца и отлично говоривший по-русски, о себе поведал, что три дня тому назад женился в Брянске на тамошней девушке, а теперь возвращается с молодой женой к месту своего жительства, в Меченск. Проездом через Карачев он малость загулял и, действительно, тройку свою прогнал по городу вскачь, однако никого при этом не задавил и не опрокинул, равно как и иного худа никому не сделал и почто за ним погнались — в толк не возьмет.

Все это звучало совершенно правдоподобно, а потому начальник отряда, с досады обругав Хайдара дура-

ком и пьяницей, его отпустил, сам же со своими людьми под утро возвратился в Карачев.

Поняв, что Арсений его перехитрил и теперь, наверное, уже находится дома, Хотет пришел в слепую ярость. Не слушая увещаний княгини, которая уговаривала его не множить сраму, он наспех вооружил чем попало всю свою челядь да кое-кого из горожан и сам повел эту рать на Карачеевку.

— Эй, отвори! — крикнул он, подъезжая к воротам усадьбы.

— Ты что, Иван Мстиславич, никак войной на меня пришел? — с легкой насмешкой в голосе спросил Карач-мурза, появляясь на стене, над воротами.

— А, это ты, старый разбойник! — закричал Хотет, увидев его. — Отворяй сей же миг ворота, не то прикажу поджечь твое поганое гнездо!

— Не дури, Иван Мстиславич, и думай, что говоришь, — строго сказал Карач-мурза. — Ворот я тебе не отворю, покуда ты не войдешь в разум, ибо коли вы во дворе у меня начнете буянить, дружинникам моим придется повязать твоих холопов, я же тебя, родича своего и князя, срамить при людях не хочу. Если не желаешь войти как гость и беседовать со мной без угроз и без брани, говори здесь, что тебе нужно.

— Дочь мою отдавай! А разговор с тобой после будет.

— Почто ее отдавать, если она здесь по своей доброй воле? Тебе она дочь, а мужу своему жена и место ее при муже.

— При каком таком муже?!

— Вестимо, при сыне моем, при княжиче Арсении. Они вчера обвенчались по доброму согласию и по закону.

— В таком деле не их согласие, а мое надобно! Браку этому цена — рваная куна, и я его все одно расторгну!

— Вот ты этим и займись, вместо того, чтобы затевать со мной усобицу, за которую тебя князь Витовт не поблагодарит. Поглядим, где сыщется такой поп, либо митрополит, который по твоему хотению разлучит жену с мужем, коли сами они того не хотят.

Иван Мстиславич уже и сам понял, что его игра проиграна и что дочери ему законным путем не воротить. Понял он и то, что идти на приступ усадьбы — это значит еще раз потерпеть поражение: если Карач-мур-

за сумел отбиться от трехтысячной татарской орды, то что ему две сотни челяди? К тому же, за нападение придется отвечать перед Витовтом ему, а не Карач-мурзе, который будет только обороняться. Витовта же в таком деле лучше иметь на своей стороне, — тогда еще, может, не все потеряно. Сообразив все это, он крикнул:

— Что мне делать, ты не указывай, — сам знаю! И управа на тебя и на твоего разбойника сына ужо будет! А Софье скажи, что она мне больше не дочь!

— Зря ты это, Иван Мстиславич, — с укором промолвил Карач-мурза. — Простил бы лучше, да порадовался вместе с нами ее счастью. Хочешь по-хорошему — я тебе сразу ворота отворю и приму как дорогого гостя.

— Брат твой сатана будет у тебя гостем, а не я! А мое последнее слово ты еще услышишь! — выкрикнул Хотет и, сделав знак своим людям, чтобы следовали за ним, поскакал от ворот усадьбы.

ЧАСТЬ ВТОРАЯ

СЛАВА ЗОВЕТ

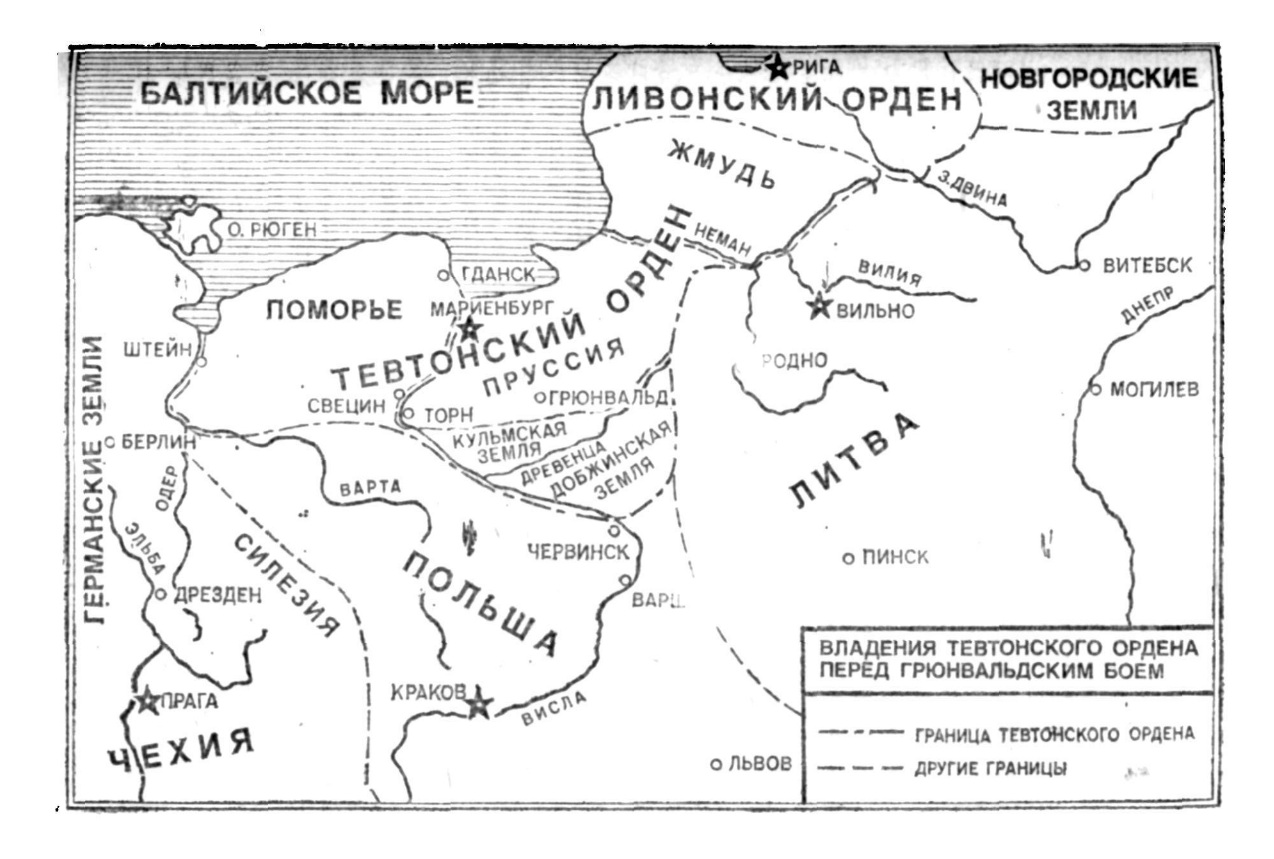
ГЛАВА XXI

> «Владислав, король польский, поняв, что у него не остается никакой надежды на мир с крестоносцами, повелел всем князьям, рыцарям и подданным своего королевства и подвластных ему земель взяться за оружие».
>
> *Ян Длугош,*
> *польский историк XV века*

Прошел год. Жизнь в Карачеевке протекала мирно и счастливо. Ордынцы больше не беспокоили ее набегами, никаких враждебных выпадов не делал и князь Хотет. По врожденному упрямству не желая примириться с самовольным замужеством дочери, но понимая, что сам он бессилен что-нибудь сделать, Иван Мстиславич рассчитывал только на вмешательство и помощь Витовта. Но последний все время находился в разъездах и в походах против Тевтонского Ордена, с которым в ту пору началась новая война, — встретиться и говорить с ним не было никакой возможности, и Хотету поневоле приходилось ждать. К тому же, вскоре болезнь его сильно обострилась, он почти не вставал с постели и, предчувствуя свой близкий конец, углубился в себя, а все окружающее постепенно стало терять для него значение.

В феврале в Карачеевке случилось радостное событие: Софья родила сына, которого в честь прадеда нарекли Василием. Родился он в тот самый день, когда Карач-мурзе исполнилось шестьдесят восемь лет, — в этом совпадении все усмотрели счастливое предзнаменование, и потому двойной семейный праздник был отпразднован особенно торжественно, с пальбой из пушек, раздачей подарков и обильным угощением для всех дружинников и слуг.

Софья, которую до сих пор угнетал разрыв с родителями, посоветовавшись с мужем, решила послать им


БАЛТИЙСКОЕ МОРЕ
ЛИВОНСКИЙ ОРДЕН
РИГА
НОВГОРОДСКИЕ ЗЕМЛИ
ЖМУДЬ
З.ДВИНА
О. РЮГЕН
НЕМАН
ГДАНСК
ВИЛИЯ
ВИТЕБСК
ПОМОРЬЕ
МАРИЕНБУРГ
ТЕВТОНСКИЙ ОРДЕН
ВИЛЬНО
ДНЕПР
ШТЕЙН
ПРУССИЯ
РОДНО
МОГИЛЕВ
СВЕЦИН
ГРЮНВАЛЬД
ТОРН
ГЕРМАНСКИЕ ЗЕМЛИ
БЕРЛИН
КУЛЬМСКАЯ ЗЕМЛЯ
ДРЕВЕНЦА
ДОБЖИНСКАЯ ЗЕМЛЯ
ЛИТВА
ВАРТА
ОДЕР
ЭЛЬБА
СИЛЕЗИЯ
ЧЕРВИНСК
ПИНСК
ПОЛЬША
ДРЕЗДЕН
ВЛАДЕНИЯ ТЕВТОНСКОГО ОРДЕНА ПЕРЕД ГРЮНВАЛЬДСКИМ БОЕМ
КРАКОВ
ПРАГА
ВИСЛА
ГРАНИЦА ТЕВТОНСКОГО ОРДЕНА
ЧЕХИЯ
ЛЬВОВ
ДРУГИЕ ГРАНИЦЫ

весть о рождении сына, в то же время моля их о прощении. Хотет на это ничего не ответил, но Юлиана Ивановна, видимо, втайне от него, к великой радости Софьи прислала с гонцом драгоценную икону Божьей Матери с Младенцем — свое благословение дочери, и вышитое шелками одеяльце для внука.

Рад был за жену и Арсений. Он в ней души не чаял и был хорошим мужем, а рождение ребенка связало их еще крепче. Но сознание того, что он уже отец, глава семейства, вместо законной мужской гордости, с болезненной остротой пробудило в нем совершенно иное чувство, втайне давно его томившее.

«Вот, теперь у меня есть сын, — думал он, — который скоро подрастет и узнает, что и дед его, и прадед, и прапрадед были славными воинами. О их походах и подвигах он услышит много рассказов и будет гордиться ими. А что он будет думать о своем отце, о котором нечего рассказывать?»

В ту пору беспрерывных войн в мужчине вообще превыше всего ценили воинскую доблесть, а в татарской Орде, где получил воспитание Арсений, человека не воевавшего просто презирали. Поэтому чувства его были естественны и понятны. Ни жизненное благополучие, ни семейное счастье не могли быть ему в полную радость, покуда над ним тяготело это ощущение своей человеческой неполноценности. Избавить от него могло только участие в большой, настоящей войне. Арсений ждал ее с томительным нетерпением и, наконец, дождался: летом 1410 года Польше и Литве пришлось поднять оружие против Тевтонского Ордена.

Рыцари, обосновавшиеся в Пруссии почти два столетия тому назад, к этому времени уже полностью овладели Ливонией и отобрали у Польши Поморье[1] и ряд других земель, а у Литвы — Жмудь. Из года в год усиливаясь и богатея, они все меньше считались со своими восточными соседями и, никогда не удовлетворяясь достигнутым, шли по пути новых завоеваний. Как организация, созданная для войны и захватов, Тевтонский Орден в этом видел свою цель и в мирной обстановке. До сих пор ему неизменно сопутствовала удача, ибо ей способствовали постоянные распри и разногласия в стане его врагов. Витовт боролся с королем Ягайлом-Владиславом, литовские удельные князья с Витовтом,

[1] Славянское Поморье у немцев получило название Померании.

католики с православными, а польские магнаты друг с другом. Все это ослабляло силы Польско-Литовского государства и облегчало задачи Ордена, ибо вместо того, чтобы дать ему дружный отпор, то одна, то другая из этих внутренних, враждующих сил призывала его к себе на помощь. Как следствие этого, Тевтонские рыцари, — крепко спаянная и дисциплинированная воинская община, — привыкли к легким победам над поляками и литовцами и стали относиться к ним с презрением, которое не раз открыто показывали даже самым высокопоставленным лицам.

Так, в 1404 году великий магистр Тевтонского Ордена, Конрад фон Юнгинген, пригласил короля Владислава и его приближенных на празднества, в город Торунь. Поначалу им был оказан блестящий прием, но после того, как на турнире вышел победителем польский витязь Добеслав Олесницкий, который выбил из седла двенадцать немецких рыцарей, короля Владислава при торжественном проезде по городу облили из окна помоями. Великий магистр, конечно, принес королю извинения и даже предложил казнить женщину, облившую его как будто бы нечаянно[1], но всем было совершенно ясно, что это было сделано умышленно, по наущению самих тевтонов.

Несколько месяцев спустя, в период мира, рыцари ворвались в польскую Мазовию, схватили чем-то им не угодившего Мазовецкого князя Януша, связали его и увезли. Обращались с ним в плену как с последним рабом, и королю Владиславу стоило немалых трудов его вызволить.

В следующем году, в связи с восстаниями, вспыхнувшими на Жмуди, которую князь Витовт незадолго до того вынужден был уступить Ордену, великий магистр отправил к нему послами рыцарей Маркварда фон Зальцбаха и Иоганна фон Шенбурга. Как эти послы разговаривали с литовским государем, можно судить по следующей, весьма мягко выраженной записи польского хрониста Яна Длугоша, оставившего нам наиболее подробное и верное описание всех событий, связанных с Грюнвальдской битвой:

> «Эти послы упрекали князя Витовта в преступном вероломстве, понося его разными обид-

---

[1] Король Владислав, разыграв великодушие, просил помиловать эту женщину.

ными словами, а также оскорбили грязными словами родительницу его, говоря в том духе, что она-де была не особенно целомудрена.»

Не надеясь на помощь короля Владислава, который всячески искал мира с крестоносцами, Витовт вынужден был стерпеть эти оскорбления, ибо один воевать с Орденом он не мог.

Когда умер Конрад фон Юнгинген и великим магистром Ордена был избран его брат Ульрих, который, по словам летописца, «нрав имел неистовый и гордый», взаимоотношения стали еще хуже. На свидании с королем Владиславом, которое произошло в январе 1408 года в городе Ковно, великий магистр держался грубо и вызывающе, ясно дав понять, что единственным способом разрешения спорных вопросов он считает войну.

Летом того же года в Литве был недород и голод. По просьбе Витовта, король Владислав отправил туда из Польши, по Неману, двадцать барок зерна. Рыцари их по пути перехватили и вернуть отказались, заявив, что на этих барках перевозилось в Литву оружие[1]. На протест Владислава великий магистр ответил тем, что под каким-то незначительным предлогом приказал в одном из своих городов отобрать у литовских купцов все товары и деньги.

Взбешенный всем этим Витовт поднял на Жмуди восстание против рыцарей. Орден двинул туда большое войско и одновременно потребовал у польского короля, чтобы он не вмешивался в это дело и не оказывал никакой помощи Витовту. Владислав, который боялся большой войны с Орденом, но в то же время не мог согласиться на открытое предательство по отношению к своему вассалу, ответил уклончиво. Тогда великий магистр перешел к военным действиям, захватив несколько польских городов, и занял Добжинскую область, принадлежавшую Мазовецким князьям.

Война тянулась несколько месяцев, не доходя до крупных сражений, и в октябре закончилась перемирием, заключенным до 24 июня следующего, 1410 года, причем спорные вопросы, — главный из которых касался Добжинской области, — обе стороны согласи-

---

[1] Возможно, что на этих барках, кроме зерна, было и оружие. Разобраться трудно: орденская летопись это утверждает, а польская отрицает.

лись предоставить на третейский суд чешского короля Венцеслава.

Король Венцеслав решил дело довольно своеобразно: Добжинскую землю отдать ему. Кроме того, он потребовал, чтобы Польша впредь никогда не выбирала себе короля из литовских или русских князей. Своей симпатии к Ордену Венцеслав не скрывал. Акт о его решении был прочитан польским послам на немецком языке, а когда они запротестовали, им предложили перевести его на чешский, но не на польский. Возмущенные послы покинули Чехию, отказавшись подчиниться этим решениям.

Все же после этого Владислав сделал новую попытку договориться с Орденом при посредстве венгерского короля Сигизмунда, к которому отправил на переговоры князя Витовта. Но Сигизмунд, прежде всего, попытался уговорить Витовта разорвать унию с Польшей, обещая дать ему за это самостоятельную литовскую корону, когда станет императором Священной Римской империи[1].

Только после этого Владислав понял, что вокруг его шеи стягивается петля и что нет иного выхода, как поставить на карту все и вступить в решительную борьбу с Орденом. По всем подвластным ему землям он объявил сбор войска и вместе с Витовтом начал деятельно готовиться к большой войне. К берегам Вислы стали стягивать ополчения, свозить оружие и пищевые запасы для войска. Сюда же в глубокой тайне доставили части большого понтонного моста, специально заказанного опытным мастерам для быстрой переправы через реку.

Между тем окончился срок перемирия. При посредничестве венгерского короля его удалось продолжить еще на десять дней, в течение которых обе стороны лихорадочно заканчивали свои последние приготовления.

[1] Сигизмунд был родным братом чешского короля Венцеслава. Они были немцами, принадлежавшими к Люксембургской династии и помимо чешского и венгерского престолов, оба последовательно занимали германский императорский престол (Священной Римской империи).

ГЛАВА XXII

«Того же лета князь Витовт со всею своею дръжавою и Лятский король Владислав со своею дръжавою ходили за Вислу и билися с Проуским местером и со всею его дръжавою».

Псковская летопись

Хотя слухи о близящейся войне и о сборах войска доходили до Карачеевки уже давно, только в конце мая сюда прискакал гонец из Карачева с королевской вицей[1] и с устным приказом князя Ивана Мстиславича: снарядить сотню конных бойцов и вести их без промедления на реку Вислу, к Червинскому монастырю, где быть не позже Иванова дня[2].

Сборы были недолги. Сотню составили из татар, а им для снаряжения в поход много времени не требовалось: и кони и оружие у каждого были наготове. В надежде на богатую добычу, желающих нашлось даже больше, чем было нужно, — почти полтораста человек. Само собой разумеется, что этот отряд возглавил Арсений. Как он, так и Карач-мурза считали, что иначе и быть не может; мать и жена, хотя и поплакали, но отговаривать его не пытались, понимая, что это бесполезно.

До места назначения предстояло пройти почти тысячу верст, времени было в обрез, и потому, не взяв с собою повозок, а погрузив все необходимое на вьючных лошадей, отряд Арсения выступил в путь и, поспев к сроку, за два или три дневных перехода до места сбора догнал главные силы князя Витовта, двигавшиеся туда же.

К великой своей радости Арсений обнаружил тут хана Джелал-ад-Дина, который с тремя туменами татарской конницы шел в этот поход вместе с Витовтом. Джелал тоже обрадовался встрече со своим молодым родичем, которого хорошо помнил еще отроком, и в тот же вечер представил его великому князю.

---

[1] Вица — рассылавшийся королем призыв населения к оружию. В древние времена это были особые венки из лозы, которые королевские гонцы развозили по всем населенным пунктам, — отсюда и название «вица».

[2] Иванов день — 24 июня ст. стиля.

Узнав, что Арсений — сын Карач-мурзы и что он привел с собою полтораста всадников, Витовт принял его ласково и сказал:

— Ну, в добрый час! С отцом твоим мы вместе ходили в битвы, и доблесть его мне хорошо ведома. Рад и тебя видеть под моими знаменами. И поелику воины твои все татары, да к тому ты еще и родственник хану, под его начало тебя и поставлю. Чаю, что своего славного рода ты не посрамишь и немцев будешь бить крепко.

Джелал-ад-дин этого и хотел. В одном из его туменов состав был неполный, и он целиком включил в него сотню Арсения, оставив его сотником. Два-три дня спустя Арсений, теперь неожиданно снова превратившийся в Абисан-мурзу, уже отлично освоился с обстановкой и узнал почти всех сотников и тысячников своего тумена.

Непосредственным его начальником был тысячник Юсуф-бей, уже пожилой татарин, принадлежавший к известному в Орде княжескому роду. Это был отважный и опытный воин, который хорошо знал Карач-мурзу и потому, несмотря на внешнюю суровость, к Арсению он отнесся по-отечески и дал ему немало советов и указаний, оказавшихся весьма ценными в походе и в битве.

Так как уже было известно, что перемирие продолжено до четвертого июля, Витовт предпочел не торопиться к переправе, где при большом скоплении конницы могли возникнуть серьезные затруднения с пастбищами, и подошел к Висле только первого июля. Польское войско уже находилось здесь и успело переправиться на правый берег, после чего мост был разобран и увезен. Два дня спустя вся огромная рать союзников двинулась к границе Орденских земель.

Витовт со своими русско-литовскими полками и с татарами шел впереди. Он был полон решимости и горел желанием поскорее свести счеты с тевтонами. Король Владислав, наоборот, страшился предстоящей схватки, которая, в случае неудачи, грозила ему потерей польской короны. Несмотря на то, что срок нового перемирия уже окончился, он медлил с началом военных действий и сделал еще одну попытку поладить с Орденом при посредничестве короля Сигизмунда. Но это лишь ухудшило положение: несколько дней спустя венгерский посол сообщил Владиславу, что великий магистр все его мирные предложения отверг, и поскольку

война неизбежна, венгерский и чешский короли принимают сторону единоверного им Ордена и тоже объявляют войну Польско-Литовскому государству. Впрочем, посол тут же, как бы от себя, добавил, что это только формальность и что ни венгерские, ни чешские войска в помощь Ордену пока посланы не будут.[1]

Убедившись, наконец, что иного выхода нет, король Владислав начинает проявлять признаки мужества и приказывает войскам перейти границу. Но он, — многократный клятвопреступник, убийца своего дяди, благородного князя Кейстута, за польскую корону продавший родную страну и сделавшийся жестоким гонителем своих бывших единоверцев, — в продолжение всего похода лицемерно прикрывает страх личной святости и, будто бы терзаясь тем, что ему приходится проливать чужую кровь, дни и ночи проводит в молитвах, нагоняя тоску и уныние на своих приближенных, а всеми военными действиями руководит почти единолично князь Витовт.

Между тем великий магистр Ульрих, полагая, что король Владислав ставит себе целью отобрать захваченную рыцарями Добжинскую землю, все силы Ордена сосредоточил там, выбрав превосходную позицию на правом берегу реки Древенцы[2] и хорошо укрепив ее. К концу перемирия у него все было готово, и тут он ожидал польско-литовское войско, рассчитывая обрушиться на него во время переправы через реку.

Но все это через лазутчиков стало известно Владиславу и Витовту, которые, не желая давать генеральное сражение в заведомо невыгодных для себя условиях, избрали иной образ действий: обойдя с востока Добжинскую землю, они быстрыми переходами двинулись вглубь орденских владений и тринадцатого июля уже захватили крепость Гильгенбург[3], находившуюся всего в ста верстах от столицы Ордена — Мариенбурга, где великий магистр оставил лишь ничтожный по численности гарнизон.

Это заставило рыцарей покинуть свою позицию на реке Древенце и с предельной быстротой идти напере-

---

[1] Но добровольцев чехов и венгров в орденском войске было немало, тогда как в польском, вопреки утверждениям историков-славянофилов, были лишь чешские наемники, показавшие себя, к тому же, в весьма некрасивом свете.

[2] Древенца — правый приток Вислы.

[3] По-польски эта крепость называлась Домбровна.

рез неприятельскому войску в направлении Мариенбурга. Поздно вечером четырнадцатого июля они подошли к деревне Грюнвальд и разбили свой стан к северу от нее, на опушке леса. Польско-литовская рать в это время стояла в лесу, на берегу озера Лубень, в восьми верстах восточнее Грюнвальда.

Едва рассвело, тевтоны, уже знавшие, что противник находится в непосредственной близости, начали строиться в две линии боевого порядка, на краю поля, в двух верстах перед Грюнвальдом. Их войско состояло из пятидесяти одной хоругви[1] конницы, нескольких подразделений пеших лучников и сотни артиллерийских орудий-бомбард, общей численностью достигая шестидесяти пяти тысяч человек.[2]

Пятнадцать хоругвей, под начальством орденского маршала Фридриха фон Валленрода, составили левое крыло боевого построения рыцарей, которое флангом упиралось в деревню Танненберг, расположенную в пяти верстах от Грюнвальда; правое крыло состояло из двадцати хоругвей, которыми командовал великий комтур[3] Куно фон Лихтенштейн. Впереди, в одну линию, поставили все сто бомбард, а в промежутках между ними — отряды пеших лучников и арбалетчиков. Шестнадцать хоругвей, находившихся в распоряжении самого великого магистра, были оставлены в резерве, за

---

[1] Хоругвь — боевая единица, соответствующая полку, стоявшая под общим знаменем — хоругвью.

[2] В определении сил противников мнения историков расходятся в весьма широких пределах: для Ордена — от двадцати семи до ста тысяч человек, а для польско-литовского войска — от сорока до ста пятидесяти тысяч. Такая разноголосица объясняется тем, что летописи и хроники сохранили нам только число полков-хоругвей, принимавших участие в битве, причем известно, что хоругвь могла включать от ста до трехсот копий. Но термин «копье» тоже означал тогда не единичного бойца, а наименьшее войсковое соединение — звено, в которое входило от трех до семи бойцов (рыцарь или витязь, вооруженный длинным копьем, оруженосец и от одного до пяти вспомогательных бойцов — лучников и мечников). Эта неопределенность допускает полную произвольность в вычислении состава хоругви. Ближе всего к истине мы будем, если возьмем средние цифры: пять человек в «копье» и двести копий в хоругви. Этот критерий применен автором настоящей книги. Правильность такого исчисления косвенно подтверждается и летописью, которая отмечает, что во многих хоругвях Витовта насчитывалось более чем по тысяче бойцов, отсюда мы вправе заключить, что тысяча считалась нормальным составом хоругви.

[3] Великий комтур или великий командор — старший член орденского Капитула, заместитель великого магистра.

лесом, возле Грюнвальда, приблизительно на равном расстоянии от обоих флангов.

Построившись и приведя себя в полную боевую готовность, рыцари долго ожидали появления неприятельского войска, но оно не показывалось из леса. Великий магистр и тевтонские командующие негодовали и возмущались, не жалея крепких слов в адрес короля Владислава, ибо с каждой минутой росла их уверенность в том, что он из боязни хочет уклониться от битвы.

Но в польском лагере происходило другое: военачальники ждали от короля приказаний, а король молился.

С утра долго не могли установить его походную часовню-шатер, так как этому мешал сильный ветер. Наконец, с этим кое-как справились и Владислав стал слушать мессу. Когда она окончилась, он, не выходя из часовни, приказал служить вторую. В это время прискакал гонец с известием, что войско тевтонов стоит в непосредственной близости. За первым гонцом прибыли второй и третий, донося, что рыцари уже строятся в боевой порядок. Король отнесся к этим известиям внешне совершенно безучастно и, сказав, чтобы его не беспокоили, продолжал молитву. Между тем, прибывали все новые гонцы с передовых застав и от старших военачальников, которые не знали, что им делать, и испрашивали распоряжений. Наконец, в бешенстве прискакал сам Витовт, который, по словам польского хрониста Длугоша

> «громким голосом побуждал короля, чтобы тот, не предаваясь больше молитвам, встал и поспешал на бой, так как вражеское войско, готовое к сражению, уже давно стоит в боевом строю и будет плохо, если оно ринется вперед и нападет первым. Однако ни просьбы, ни мольбы, ни предупреждения об опасности не могли оторвать короля от богослужения и молитвы».

В конце концов, потеряв терпение, князь Витовт и польский командующий, рыцарь Зиндрам из Машковиц, сами начали выводить войска к опушке леса и строить их в боевой порядок.

Король вышел из часовни только тогда, когда ему доложили о прибытии двух герольдов из неприятель-

ского лагеря. Окруженный своими рыцарями, он их принял тотчас, думая, что великий магистр хочет вступить в переговоры. Но герольды протянули ему два обнаженных меча, и один из них сказал:

— Светлейший король! Великий магистр Ульрих фон Юнгинген посылает эти мечи тебе и брату твоему, князю Витовту. Он надеется, что это оружие поможет вам преодолеть свое малодушие и принять бой вместо того, чтобы трусливо прятаться в зарослях. А если ты боишься, что мы помешаем вашему боевому построению, мы готовы пока отойти и предоставить вам хотя бы все поле!

Услышав эти дерзкие слова, польские рыцари хотели броситься на послов, но Владислав удержал их. Спокойно и с достоинством он принял из рук герольдов мечи и ответил:

— Хотя у меня и своего оружия достаточно, для защиты правого дела и моей отчизны мне пригодятся и эти мечи. Ими надеюсь наказать гордыню того, кто их прислал.

Немедленно вслед за этим польско-литовское войско, насчитывавшее сто двадцать тысяч человек, стало выходить из леса и строиться напротив позиции тевтонов.

На левом крыле, против полков Куно Лихтенштейна, в три линии выстроилось польское войско, — пятьдесят хоругвей, в число которых входило семь русских из Галицкой земли и Подольщины[1] и три хоругви чешских, моравских и силезских наемников.

В то время, когда все другие части поспешно занимали указанные им места в общем боевом порядке, чешская хоругвь, которой командовали рыцари Збиславек и Ян Сарновский, попыталась незаметно уйти и, покинув поле, направилась обратно в лес. Ее догнал и пристыдил польский подканцлер Миколай Тромба, после чего чехи возвратились и стали на свое место, в первой линии[2].

Справа от поляков, против конницы маршала Вал-

---

[1] Это были следующие хоругви: Перемышльская, Галицкая, Ярославская, Холмская и три Подольских.

[2] Перед догнавшим их подканцлером чехи оправдывались тем, что король Владислав не уплатил им положенного жалованья, но, по утверждению Яна Длугоша, всем наемникам оно было уплачено вперед. Вероятно, перед битвой чехи потребовали какой-то дополнительной суммы.

ленрода, также в три линии развернулись сорок хоругвей великого князя Витовта, среди которых было четырнадцать русских[1]. В самом центре построения союзников, на стыке литовского войска с польским, один за другим стояли три Смоленских полка, под начальством молодого Мстиславского князя Юрия Лугвеневича[2]. Татарская конница Джеллал ад-Дина была поставлена на правом фланге расположения литовцев, недалеко от деревни Танненберг.

Некоторая часть польских и литовских полков была выделена в резерв, который поставили в лесу, в трех местах: за флангами боевой линии и за ее центром, возле деревни Ульново, где стоял обоз польского войска. При этом самом сильном и наиболее удаленном резерве находился и король Владислав, ибо, как пишет Длугош,

> «было решено, чтобы король не подвергал себя опасностям битвы, держась в обозе или в уединенном и надежном месте, не известном не только врагам, но даже и своим, огражденный от случайностей свитой, отборной охраной войска и отрядом телохранителей из шестидесяти рыцарей-копьеносцев. Были также в разных местах поставлены быстрые кони, сменяя которых, король мог бы спастись в случае победы врага.»

И далее Длугош, по-видимому без всякой иронии, добавляет:

> «Это был бесспорно наилучший король, побеждавший врагов своих не столь мечом, сколько кротостью и справедливостью, сражаясь больше молитвами и богослужениями, чем оружием».

В полную противоположность этой всеобъемлющей предусмотрительности «наилучшего из королей», великий князь Витовт, по словам того же Длугоша, «предоставив охрану своей судьбы и жизни одному только Бо-

---

[1] Три Смоленских, Полоцкая, Витебская, Киевская, Пинская, Брестская, Волковысская, Дорогочинская, Мельницкая, Каменецкая, Стародубская и Новгород-Северская. Много русских воинов было и в составе других хоругвей литовского войска, в котором русский элемент, безусловно, преобладал.

[2] В битве участвовал и отец этого князя Лугвений-Семен Ольгердович, и некоторые историки считают, что именно он командовал Смоленскими полками. Если это и так, то подлинным героем сражения все же оказался его сын Юрий.

гу», без всяких телохранителей и свиты объезжал передовые линии бойцов, как своих, так и польских, отдавая распоряжения и ободряя людей, а когда началась битва, находился в самых опасных местах.

ГЛАВА XXIII

«В этом сражении русские витязи Смоленской земли, стоя под тремя собственными знаменами, упорно сражались с величайшей храбростью, как подобало мужам и рыцарям. Только они одни не обратились в бегство и тем заслужили великую славу».

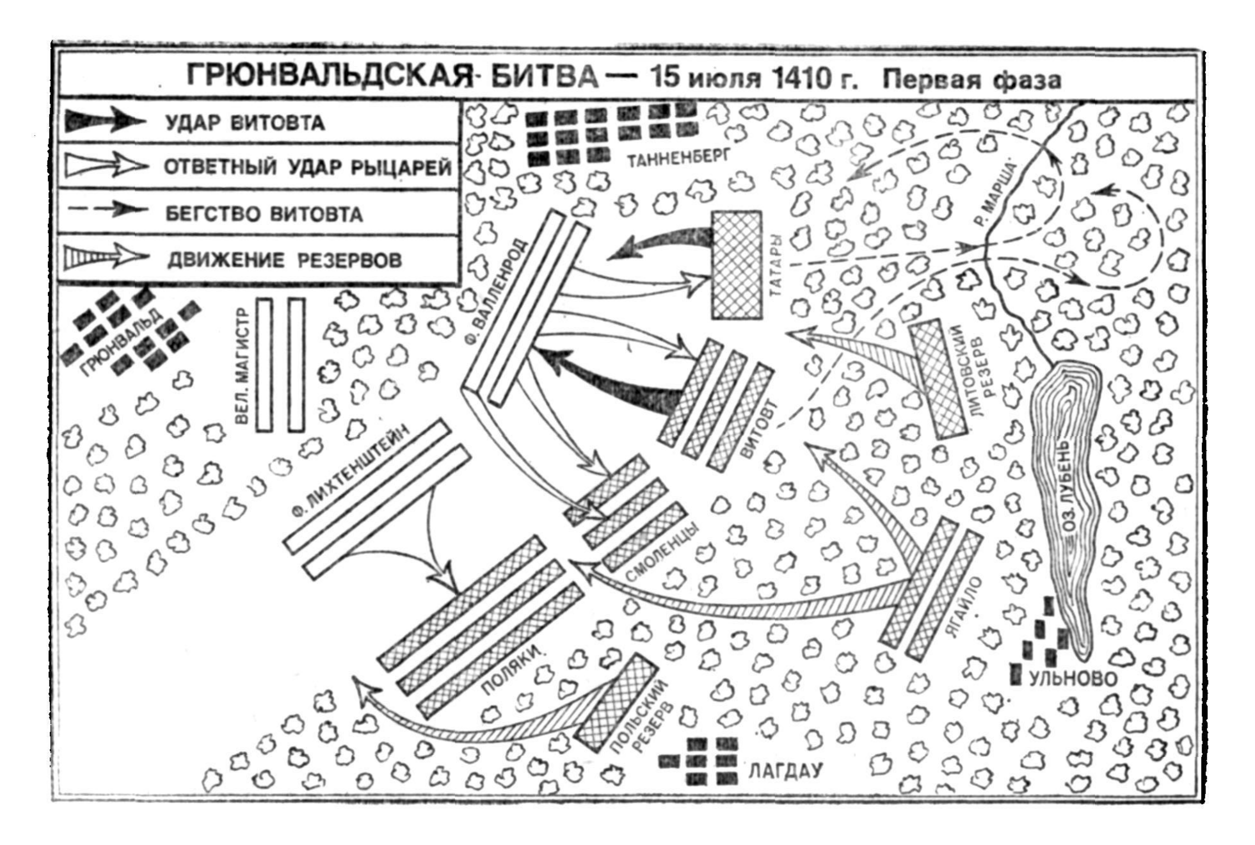
Ян Длугош

Убедившись в том, что все полки готовы к бою, князь Витовт, окруженный небольшой группой приближенных, занял место за первой линией своих войск, с нетерпением ожидая сигнала к началу битвы, который должен был подать король Владислав.

Рыцарь Зиндрам стоял под большим королевским знаменем в первой линии, во главе прославленной Краковской хоругви, в которую входил весь цвет польского рыцарства. Бормоча сквозь зубы проклятия, он тоже ожидал сигнала, но его не было, и где находится король — никто толком не знал.

Наконец, Зиндрам услышал далеко справа лязг оружия и воинственные крики, которые, сливаясь и ширясь с каждым мгновением, покатились по полю могучей прибойной волной. Он понял: это князь Витовт, не ожидая больше, бросил в битву свои хоругви. Пождав еще немного, Зиндрам сделал знак стоявшему сзади трубачу. Воздух прорезали резкие звуки боевого сигнала, его подхватили трубы в других хоругвях, и польское войско с пением священного гимна двинулось вперед.

Приближающегося противника крестоносцы встретили залпом всех своих бомбард. Страшный и еще мало привычный гром сотни орудий заставил похолодеть многие сердца, но воины быстро ободрились и снова пошли вперед, увидев, что неприятельские ядра почти не причинили им вреда, — большинство из них не долетело до цели.


ГРЮНВАЛЬДСКАЯ БИТВА — 15 июля 1410 г. Первая фаза
УДАР ВИТОВТА
ОТВЕТНЫЙ УДАР РЫЦАРЕЙ
БЕГСТВО ВИТОВТА
ДВИЖЕНИЕ РЕЗЕРВОВ
ТАННЕНБЕРГ
Р. МАРША
ТАТАРЫ
ЛИТОВСКИЙ РЕЗЕРВ
Ф. ВАЛЛЕНРОД
ВИТОВТ
ГРЮНВАЛЬД
ВЕЛ. МАГИСТР
Ф. ЛИХТЕНШТЕЙН
СМОЛЕНЦЫ
ОЗ. ЛУБЕНЬ
ЯГАЙЛО
ПОЛЯКИ
ПОЛЬСКИЙ РЕЗЕРВ
УЛЬНОВО
ЛАГДАУ

Сквозь пелену едкого порохового дыма теперь почти ничего не было видно, и потому второй залп тевтонских пушек оказался столь же неудачным. Далее на поле все перемешалось, и артиллерия больше не могла стрелять до самого конца боя.

Впрочем, рыцари уже поняли, что бомбарды приносят им больше вреда, чем пользы: после двух залпов, сквозь стену дыма, поднявшуюся на их стороне поля, они перестали видеть противника. Это позволило передовым хоругвям Витовта почти без потерь приблизиться вплотную и, перерубив часть пушкарей и пеших лучников, остальных обратить в бегство. Одновременно татарская конница обрушилась на левый фланг маршала Валленрода, стараясь оттеснить его от Танненберга и отсюда зайти ему в тыл.

По линии всего левого крыла тевтонов завязалась упорная битва, что вполне отвечало намерениям великого магистра, так как он и сам хотел в начале сражения разгромить и рассеять войско Витовта, чтобы потом все силы бросить на поляков, которых он считал более серьезным противником.

Сомкнутым строем, выставив вперед длинные, до восьми аршин, копья, одетые в железо рыцари Валленрода двинулись на русско-литовские полки. Тут лишь немногие были в кольчугах, и вооружение их значительно уступало тевтонскому, но все же никто не дрогнул и не ослушался, когда князь Витовт приказал идти на встречный удар.

По словам летописца, всадники сшиблись с такой силой, что треск ломающихся копий, грохот ударов о доспехи и лязг мечей были слышны за много верст. Яростная сеча продолжалась около часа. Несколько раз крестоносцы отбрасывали литовские полки, но те, хотя и вынуждены были постепенно подаваться назад, снова бросались на врага, всякий раз разбиваясь о его нерушимый строй. Для легко вооруженных воинов закованные в доспехи рыцари были почти неуязвимы, — чтобы свалить одного из них, приходилось платить десятком жизней.

И они платили, устилая своими телами поле, но железный вал неуклонно двигался вперед, и, наконец, литовское войско не выдержало натиска и побежало. Тщетно князь Витовт, надрываясь криком и раздавая удары мечом плашмя, старался остановить бегущих, — теперь его никто не слушал.

Охваченные паникой люди, по пятам преследуемые рыцарями Валленрода, беспорядочной толпой устремились в лес и, только углубившись в него версты на три, получили возможность перевести дух и опомниться, ибо стоявший здесь литовский резерв задержал преследователей. Последние, не ожидая встретиться тут со свежей частью противника, двигались разобщенно, широко рассыпавшись по лесу, и это сразу лишило их всех преимуществ: на одиночных, неповоротливых в чаще рыцарей из-за кустов и деревьев кидалось по нескольку человек сразу, стаскивая с седел или подрубая ноги их лошадям. Передовая хоругвь тевтонов была истреблена почти полностью, остальные вынуждены были прекратить преследование и возвратиться на поле. Впрочем, крестоносцы считали свою первую задачу полностью выполненной: литовские хоругви были выведены из боя и рассеяны.

Однако не все войско князя Витовта бежало с поля: три Смоленских полка остались на месте и продолжали упорно обороняться от трех лучших хоругвей Ордена, не подаваясь ни шагу назад. Валленрод бросил на них еще три хоругви, и вскоре первый Смоленский полк полег почти полностью. Но два другие, руководимые доблестным князем Юрием Лугвениевичем, тесно сомкнув ряды, продолжали биться и выстояли до конца, обратившись в неподвижную ось сражения, вокруг которой оно развивалось и перемещалось. Несокрушимое мужество смоленцев сыграло в этой великой битве важнейшую роль, ибо оно дало возможность Витовту собрать и снова ввести в бой свои полки, а полякам, — надежно защищая их фланг, — помогло выдержать тот двойной удар, который на них обрушили тевтоны, справившись с литовцами.

Великий комтур Куно фон Лихтенштейн с самого начала крепко теснил польские полки. Главный удар он направил на Краковскую хоругвь, так как развевавшееся над нею большое королевское знамя — белый коронованный орел на красном поле — заставило его подумать, что и сам король находится здесь.

На эту хоругвь и на две смежные, в которых тоже насчитывалось много прославленных рыцарей, вначале легла вся тяжесть боя. Кроме них, в первой линии находились еще три польские хоругви, моравская и чешская, стоявшая крайней слева.

Закипела битва. Поляки сражались с отменным му-

жеством, и среди них крестоносцы встретили немало достойных противников, не уступавших им ни в мастерстве боя, ни в вооружении. Тут еще раз покрыл себя славой знаменитый польский рыцарь Завиша Черный, — ни один из схватившихся с ним тевтонов не остался в седле; от него не отставали в доблести рыцари Повала из Тачева, Якса из Тарговиска, Ян Варшовский, Александр Горайский, Домарт из Кобылян, Павел Злодзий и многие другие, в этот день обессмертившие свои имена.

Более получаса шла уже яростная схватка, и поле покрылось телами павших. Копья давно были переломаны или отброшены, ибо действовать ими мешала страшная теснота боя, в густых облаках пыли, поднятой копытами лошадей, секлись мечами и саблями. Лязг оружия, воинственные крики сражающихся, ржание коней и вопли раненых сливались в разноголосый, но грозный хор, распаляя отважных и леденя сердца слабых духом. Но последних тут почти не было; поляки стояли крепко и еще не отступили ни на шаг.

Только чешская хоругвь, которую неприятель теснил не столь уж сильно, внезапно покинула свое место и, обнажив фланг польской линии, направилась к ближайшему лесу. Подканцлер Тромба, еще перед началом боя убедившийся в ненадежности чехов, снова нагнал их и стал жестоко корить, после чего некоторые возвратились назад и встали под польские хоругви, а все остальные, во главе со своим начальником Яном Сарновским, ушли в тыл, унося с собою и знамя.[1]

Как раз в это время Лихтенштейн бросил в битву вторую линию своих полков, и успех начал склоняться на его сторону. Новая железная волна обрушилась на Краковскую хоругвь, ряды которой уже сильно поредели, и докатились до королевского знамени. Меткий удар копья сразил знаменосца — хорунжего Мартина Врацимовского, и алое полотнище с белым орлом упало на землю. К нему сразу кинулось несколько крестоносцев, но со всех сторон сюда спешили и польские рыцари, которые после яростной схватки овладели знаменем и снова подняли его над сражающимися.

---

[1] Ян Длугош пишет, что этим поступком чешский рыцарь Ян Сарновский так обесчестил себя, что от него отвернулись все, даже собственная жена, и вскоре он умер в своем замке от стыда и печали.

В дело, между тем, вступили вторая и третья линии польских хоругвей и им удалось не только восстановить положение, но и потеснить тевтонов, которые, видя, что неприятель охватывает их фланг, начали загибать его и подаваться назад. Но в это время возвратились из леса полки маршала Валленрода, преследовавшие литовцев, и с ходу ринулись на польское войско и на смоленцев, стоявших у него на фланге.

Смоленцы стойко выдержали и этот удар, но поляки дрогнули и стали отходить. Положение спасли польские резервы, которые король Владислав, издали следивший за ходом битвы, вовремя двинул на подмогу. Часть их обошла правый фланг Лихтенштейна и стала заходить ему в тыл, другая ударила сбоку на полки Валленрода, стараясь отсечь их и окружить. Ободренное польское войско снова запело победный гимн и устремилось вперед. Тевтоны сдавали, их боевая линия разорвалась, ибо теперь им приходилось отражать противника, наседающего с трех сторон.

Но у великого магистра еще оставался мощный резерв — шестнадцать хоругвей, которые он теперь бросил в бой. Три хоругви ударили внезапно на польский отряд, вклинившийся между полками Лихтенштейна и Валленрода, а тринадцать других были посланы в глубокий обход, чтобы со стороны Танненберга зайти в тыл неприятельскому войску, большая часть которого при удаче этого маневра оказалась бы в мешке. Но в успехе великий магистр не сомневался: помешать этому движению могли бы только полки Витовта, а они были разбиты и рассеяны по лесу.

* *
*

Между тем король Владислав, послав в бой резервы и видя, что польское войско явно одолевает, сам тоже продвинулся вперед и с небольшой частью своих приближенных и телохранителей стоял на открытом месте, недалеко от сражающихся, наблюдая за происходящим.

На поле теперь все перемешалось. Отдельные отряды и группы поляков и крестоносцев, стремясь обойти противника или, наоборот, избежать охвата, скакали во всех направлениях. Вскоре один из таких тевтонских отрядов показался сбоку. Он был еще далеко, но бы-

стро приближался к тому месту, где стоял король. Заметив это, Владислав вздрогнул, лицо его покрылось зеленоватой бледностью. Полагая, что тевтоны его узнали и хотят захватить, он крикнул своему пажу, Збигневу из Олесницы:

— Скачи к войску и веди сюда ближайшую хоругвь! Скажи, что король в смертельной опасности и что его жизнь теперь зависит только от быстроты их коней!

Збигнев сломя голову бросился исполнять это приказание.

Ближайшей хоругвью оказалась Дворцовая[1]. Стоя в сражении рядом с Краковской, она все время вела особенно упорный бой, а сейчас перестраивалась, чтобы встретить удар одного из скакавших сюда полков Валенрода. В командование ею, вместо павшего Енджия Цолека, только что вступил рыцарь Миколай Келбаса. Выслушав Збигнева, он, не скрывая раздражения, сказал:

— Это безумие! Мы не можем сейчас уйти отсюда. Разве ты сам не видишь, что тут делается?

— Вижу, — ответил Збигнев. — Но ты получил приказ. Жизнь его светлости короля дороже...

— Провались ты в ад, вместе со всеми светлостями, проклятый щенок! — закричал Келбаса, выхватывая саблю. — Ты хочешь, чтобы мы покинули свое место и погубили сражение, пропустив неприятеля в тыл?! Вот тогда королю действительно крышка, а сейчас ему там сзади ничто не угрожает. Убирайся прочь, пока я тебе не обрубил уши!

Збигнев, сознавая в душе, что рыцарь прав, хотел привести какую-либо другую хоругвь, но в это время по всей линии возобновилась яростная сеча и, поняв, что этого не удастся сделать, он возвратился к королю и доложил о своей неудаче.

Тевтонский отряд был уже близко, но он несколько изменил направление и стало очевидным, что он имеет какое-то иное задание, которое спешит выполнить, не отвлекаясь ничем. Все же приближенные Владислава быстро спрятали находившееся при нем малое королевское знамя и заслонили собою короля, чтобы он не был случайно узнан.

---

[1] Эта хоругвь была составлена из придворных и из чинов дворцовой стражи.

Сам Владислав, видя, что опасность миновала, стал проявлять несвойственную ему воинственность: он потребовал, чтобы ему дали копье и сделал вид, что рвется в битву. Копье ему дали, но коня крепко схватили под уздцы и удержали на месте.

Отряд крестоносцев, вызвавший весь этот переполох, проскакал мимо, не обращая внимания на кучку мирно стоявших в стороне всадников. Но немного отставший от других германский рыцарь Диппольд Кикериц фон Дибер, поглядев туда, узнал польского короля.

Это был бесстрашный человек — достойный сын своего воинственного племени — и потому, не раздумывая долго, он повернул коня и, наставив копье, один бросился на свиту, окружавшую Владислава. Растерявшиеся придворные и телохранители шарахнулись в стороны, и король оказался прямо перед рыцарем, который в развевающемся белом плаще с черным крестом, несся на него. Дрожащей рукою король поднял копье, не чая остаться в живых. Но в это мгновение юный Збигнев, — безоружный и за минуту до того спешившийся, — схватил валявшийся под ногами обломок копья и, взмахнув им как дубинкой, сбоку нанес фон Диберу страшный удар по голове, сбив с него шлем и свалив с коня.

Владислав, подъехав ближе, ткнул копьем в лицо лежавшего на земле и силившегося подняться рыцаря, а подскочившие телохранители, добив его, тут же поделили доспехи и оружие[1].

Все присутствующие восторженно славили подвиг Збигнева, а король, сняв с себя рыцарскую перевязь, хотел возложить ее на своего спасителя. Но юноша отклонил эту честь, сказав, что сан рыцаря его не прельщает, ибо он давно решил посвятить себя духовной карьере. Владислав одобрил его намерение и обещал ему в этом содействие[2].

Много часов уже продолжалась битва. В полдень на землю пролился короткий дождь, сменившийся влажной жарой, сильно парило, и рыцари Лихтенштей-

---

[1] Весь этот эпизод, начиная с посылки Збигнева за помощью к Дворцовой хоругви, описан здесь в полном соответствии с данными хроники Яна Длугоша.

[2] Владислав это обещание сдержал: тринадцать лет спустя Збигнев был уже епископом Краковским, то есть польским первосвященником, а позже и кардиналом.

на и Валленрода, с утра находившиеся в бою, изнемогали в своих железных доспехах. Теперь они сражались вяло, медленно отходя к Грюнвальду под напором воодушевленных успехом польских полков, которые охватили их полукругом, тесня с трех сторон.

Около шести часов вечера со стороны Танненберга в клубах пыли показалась быстро приближающаяся масса всадников. Это были тринадцать хоругвей Ордена, удачно завершившие обход. Но о том, что у великого магистра еще сохранился столь сильный резерв, поляки не подозревали и потому, увидев у себя за флангом эту конницу, они приняли ее за возвращающиеся в бой полки Витовта и вместо того, чтобы приготовиться к отпору, разразились радостными криками.

Однако это недоразумение, едва не ставшее роковым, очень скоро выяснилось: свежие силы тевтонов лавиной обрушились сбоку и сзади на польское войско, одновременно отсекая его от леса и отрезая путь отхода.

Обстановка на поле битвы сразу изменилась: польские хоругви, только что победно теснившие маршала Валленрода и готовые завершить его окружение, теперь сами были почти окружены. Не чая ниоткуда помощи, ибо резервов больше не оставалось, они, наскоро перестраиваясь и напрягая последние силы, вынуждены были отбиваться от наседавшего со всех сторон врага.

Но в этот момент на опушке леса, правее Танненберга, показались новые массы конницы, быстро приближавшейся к месту действий. В рядах крестоносцев произошло смятение. Сразу ослабив натиск на поляков, они быстро начали перестраивать свои ряды. Но было уже поздно.

«Литва идет, Литва! Да здравствует князь Витовт!» — прокатились по всему польскому войску радостные крики.

Действительно, это были полки князя Витовта, которые в эту решающую минуту возвратились в бой и ударили сзади на резервные хоругви великого магистра. Одновременно тумены Джелал ад-Дина, мимо деревни Танненберг, во весь опор устремились в тыл тевтонскому войску, завершая его окружение.

Начался последний этап великой битвы, вскоре закончившийся полным разгромом крестоносцев.

ГЛАВА XXIV

> «Месяця июля в 15 день бысть побоище королю Яганлу Олгердовичу нареченному Володислав и князю великому Литовьскому Витовту Кейстутьевичу с немцы и с прусы в их земли в Пруской. И убиша местера, и моршолда, и кунтуры и побиша всю силу немечкую».
>
> *Новгородская летопись*

Утром этого дня, в самом начале битвы, когда татарская конница Витовта бросилась на фланговые хоругви маршала Валленрода, сотня Арсения шла в головном тумене и одной из первых сшиблась с тевтонами.

Приближаясь, ордынцы с обычным для них мастерством использовали условия местности и появились перед противником совершенно неожиданно, чему способствовал и пороховой дым, стелившийся над полем. Внезапность и стремительность этой атаки в первый миг ошеломили рыцарей: местами они подались немного назад и в их стройной линии образовались вмятины.

Самую глубокую из них произвел Арсений со своими людьми. Когда его сотня, проскочив сквозь дымовую пелену, очутилась перед строем крестоносцев, первое, что бросилось ему в глаза, было белое знамя с красным орлом, развевавшееся в каких-нибудь тридцати шагах впереди. Оглянувшись и увидев, что за ним вплотную следует Гафиз и еще несколько нукеров, а чуть поотстав, скачут и остальные, Арсений наставил копье и ринулся прямо к этому знамени.

Путь к нему преграждала шеренга одетых в тяжелые доспехи рыцарей, один из которых, быстро опустив забрало шлема, двинулся навстречу Арсению. Но последний в своей легкой кольчуге оказался проворней противника и в одно мгновение выбил его из седла. Тевтон тяжелой железной глыбой грохнулся под ноги стоявшим сзади, заставив их осадить, а конь его еще увеличил сумятицу: испуганный дикими воплями налетавших татар, потеряв всадника, он кинулся в сторону и, расстроив ряды, помешал действиям соседних рыцарей.

Это позволило Арсению и его нукерам потеснить тевтонов и пробиться почти к самому знамени. Возле

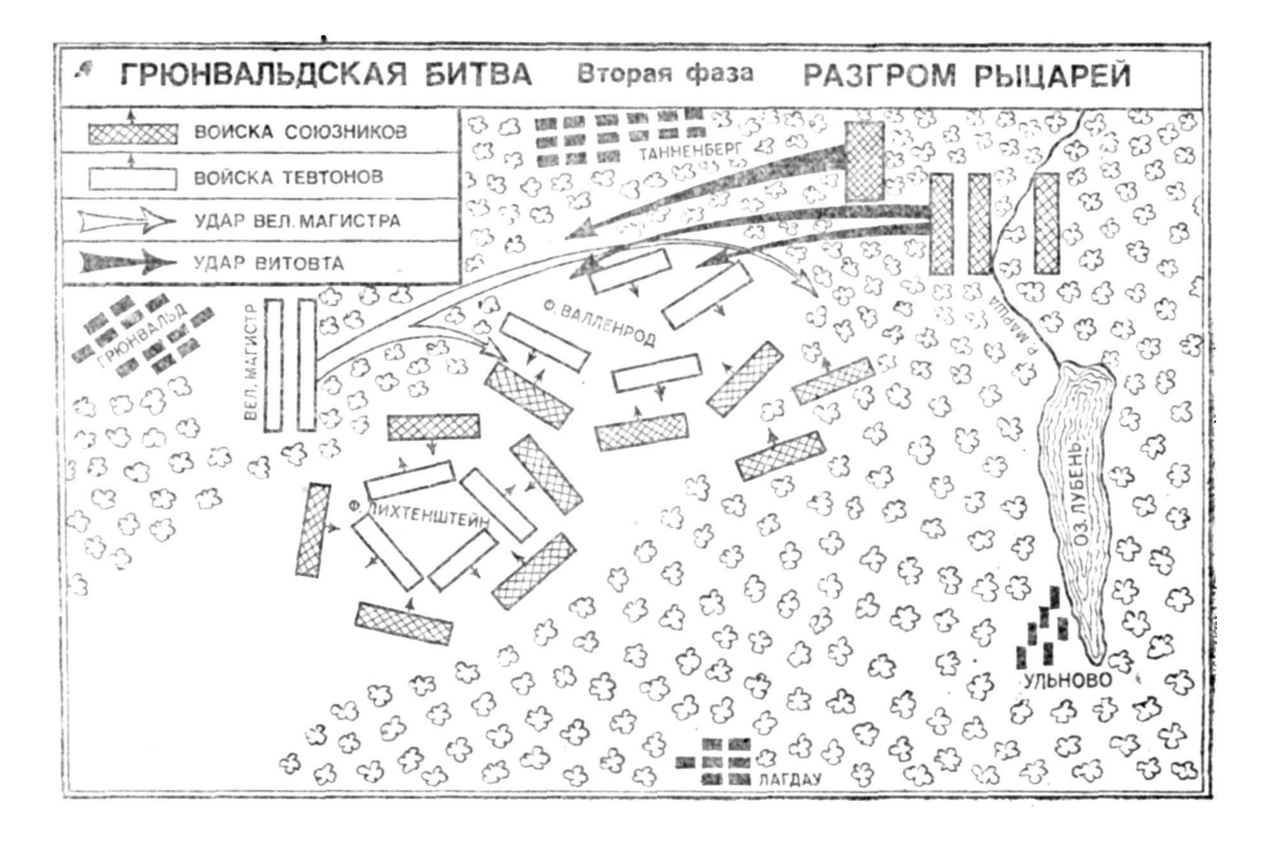
него сразу же возникла такая толчея и давка, что пришлось отбросить копья и пустить в ход мечи и сабли. Тут Арсению удалось свалить еще одного рыцаря, но увлеченный своим успехом, он не заметил того, что по всей остальной линии боя атака легкой татарской конницы разбилась о железные ряды крестоносцев, которые теперь сами двинулись вперед. Еще немного, и горсточке зарвавшихся удальцов был бы отрезан путь отступления. Но на их счастье сюда вовремя подскакал Юсуф-бей.

— Эй, сотник! — крикнул он. — Воистину Аллах отнял у тебя разум! Надо смотреть не только вперед, но и по сторонам. Назад, если не хочешь подарить свою глупую голову врагу!

Сразу отрезвев, Арсений повиновался приказу. Татары, потери которых были невелики, отскакав с полверсты, остановились. Рыцари их не преследовали, ибо полки Витовта еще упорно сражались, приковывая их к себе. Это позволило Джелал ад-Дину привести свои тумены в порядок и снова бросить их на врага. Но и эта атака была легко отбита крестоносцами, которые теперь, сломив сопротивление Витовта, всей массой устремились вперед, в преследование, рубя или захватывая в плен отстающих, а остальных рассеивая по лесу.

Отправляясь на эту войну, Арсений не задумывался о том, чем она вызвана, и будет ли он воевать за правое или неправое дело. Тевтоны ни его земле, ни его благополучию ничем не угрожали, он не испытывал к ним никакой ненависти, так же как не питал никакой любви к полякам и литвинам. Взаимные счеты этих чуждых для него народов были ему безразличны, и почему вспыхнула между ними война, его не интересовало. Но он с радостью пошел на эту войну, потому что она нужна была ему самому, чтобы стяжать свою долю воинской славы.

«Человек по-настоящему умирает только тогда, когда о нем забывают потомки», — эту фразу Арсений в детстве услышал от одного старого араба, и она глубоко запала ему в душу. И потому он особенно тяжело переживал в это утро горечь поражения: ведь до знамени ему оставалось каких-нибудь три шага, если бы он захватил его, об этом подвиге с гордостью рассказывал бы его сын своему сыну, а тот своему... И вот,


ГРЮНВАЛЬДСКАЯ БИТВА
Вторая фаза
РАЗГРОМ РЫЦАРЕЙ
ВОЙСКА СОЮЗНИКОВ
ВОЙСКА ТЕВТОНОВ
УДАР ВЕЛ. МАГИСТРА
УДАР ВИТОВТА
ТАННЕНБЕРГ
ГРЮНВАЛЬД
ВЕЛ. МАГИСТР
Ф. ВАЛЛЕНРОД
Ф. ЛИХТЕНШТЕЙН
Р. МАРША
ОЗ. ЛУБЕНЬ
УЛЬНОВО
ЛАГДАУ

вместо этого позорное бегство, о котором пусть лучше никогда не узнают потомки.

Однако к вечеру полки и тумены были собраны, приведены в порядок и снова брошены в битву. И теперь Арсений, сотня которого шла головной в тысяче Юсуф-бея, заскакав в тыл врага, неожиданно снова увидел перед собой то самое знамя, белое с красным, воинственно взъерошенным орлом.

Но сейчас его уже не прикрывала ощеренная копьями железная стена, тут шла неразбериха и сумятица: спереди крестоносцев теснили поляки, сбоку смоленцы, сзади с леденящими сердце криками налетели теперь татары. Тевтоны, ряды которых давно поредели и расстроились, метались по полю, одни в надежде прорваться и уйти, другие, небольшими группами и в одиночку, кидались на врага и упорно бились, пока не находили свою смерть, третьи бросали на землю мечи и сдавались. Но таких пока было не много, так как тут, на левом крыле, никто еще не знал, что от правого уже нельзя ждать никакой помощи, ибо великий комтур Куно фон Лихтенштейн пал, а от его окруженных со всех сторон хоругвей почти ничего не осталось. Сам же великий магистр и маршал фон Валленрод находились здесь и, сражаясь в первых рядах, подавали другим пример доблести и мужества.

Знамя, к которому устремился Арсений, принадлежало, как он после узнал, прославленной Бранденбургской хоругви. Его держал одетый в вороненые доспехи всадник, опирая конец древка в особую скобу, приделанную к левому стремени. Пока рыцари его хоругви отбивались от поляков, он находился позади их, в относительной безопасности, но когда сзади неожиданно появились татары, оказался прямо перед ними, без всякого прикрытия. Выхватив меч, ибо правая его рука была свободна, он сколько мог подался назад, громко призывая к себе на помощь.

На его крики обернулось несколько ближайших рыцарей. Увидев, что происходит, они тотчас пришпорили коней и успели прикрыть собой знаменосца, прежде чем подскакал к нему Арсений, за которым, рассыпаясь веером и дико вопя, неслась его сотня. Но тевтоны давно переломали свои копья и теперь были вооружены только мечами, тогда как в руках у Арсения было тяжелое копье.

С ходу, не сдерживая коня, он ринулся на рыцаря,

стоявшего прямо перед знаменем. Последний поднял меч, чтобы отбить копье, но не успел. Удар Арсения был так силен и стремителен, что древко его копья переломилось пополам, а тевтон, как перышко, вылетел из седла. В ту же секунду его соседа сорвал с коня аркан, ловко пущенный Гафизом, на каждого из остальных набросилось сразу по несколько татар, а Арсений, выхватив саблю, кинулся на знаменосца.

Движения последнего сильно стесняло знамя, которое он поддерживал левой рукой, тем более что Арсений это сразу учел и вел нападение именно с левой стороны. Он не рубил впустую по доспехам, а зорко высматривал уязвимые места противника и наносил удары наверняка, а потому бой был недолог: получив две или три раны, рыцарь бросил свой меч и сдался.

Выхватив у него знамя, Арсений велел своим людям взять пленного, а также поднять и увести рыцаря, выбитого им из седла, так как он был жив и силился встать. Но и знамя ему пришлось сейчас же передать Гафизу, ибо в этот миг он заметил, что на него несется с поднятым мечом крестоносец в богатых доспехах, сверкающих серебром и позолотой. Это был сам бранденбургский комтур Марквард фон Зальцбах, который издали увидел, что знамя его хоругви в опасности и спешил на выручку.

Спасти знамя он не поспел, ибо Газиф уже скакал с ним в тыл, но решил хоть отомстить за него и со всей яростью набросился теперь на Арсения. Последний сразу почувствовал, что это серьезный противник. Его длинный и тяжелый меч казался вездесущим, и Арсений еле успевал отбивать сыпавшиеся на него удары. Его сабля была намного короче, достать ею до противника он почти не мог и, поняв, что только хладнокровие и выдержка могут принести ему победу, ограничивался пока обороной, ожидая какой-нибудь оплошки комтура, чтобы ею воспользоваться.

Долго ждать ему не пришлось: за спиной Маркварда, оттуда, где остатки его хоругви еще сражались с поляками, вдруг послышались тревожные, полные отчаяния крики. Это были всего лишь три слова, которые, передаваясь из уст в уста по рядам рыцарей, скоро стали отчетливо слышны и тут: «Grossmeister ist tot!»[1] Значения этих слов Арсений не понял, но он сра-

---

[1] Великий магистр убит!

зу заметил, что они произвели ошеломляющее действие на его противника, который негромко повторил их и на мгновение опустил свой меч.

В ту же секунду стремительно послав коня вперед, Арсений сшибся с командиром вплотную и, выпустив саблю и повод, охватил его обеими руками. Марквард тоже бросил свой меч, ставший теперь бесполезным, они сцепились в железном объятии и каждый напрягал все силы, чтобы свалить другого с седла, в то время как их кони, тесно прижатые друг к другу, храпя и вертясь, топтались на месте.

Арсений был явно сильнее, — вскоре комтур начал сдавать и клониться на бок. Арсений нажал еще, но, падая, Марквард не выпускал его из рук, и на землю упали оба. Но тут уже все преимущества оказались на стороне Арсения: поверженный рыцарь в своих тяжелых доспехах был неповоротлив, как колода, и почти беспомощен. В одну минуту Арсений подмял его под себя и, передав своим нукерам, сам поднял саблю и снова вскочил на коня.

И вовремя: заметив, что татарская конница, подавляя сопротивление слабых сил ордена, находившихся с этой стороны, быстро продвигается к Грюнвальду и готова отрезать уцелевшим последний путь отступления, сюда уже спешил сам маршал Валленрод, во главе нескольких десятков рыцарей, оставшихся от его личной хоругви, знамя которой, — широкий черный крест на белом полотнище, — вез скакавший позади маршала знаменосец.

Резкими звуками трубы и высоко поднятым бунчуком сзывая к себе воинов своей тысячи, навстречу Валленроду двинулся Юсуф-бей. Началась последняя отчаянная схватка. Но силы были слишком неравны: несмотря на то, что рыцари были лучше вооружены и почти неуязвимы в своих доспехах, татары их подавляли числом, набрасываясь по десятку на каждого или издали заарканивая и стаскивая с седла. Очень скоро от них не осталось и половины.

Тысячник Юсуф-бей, соблазняясь не столько славой, сколько драгоценными доспехами маршала и его великолепным конем, занялся им лично. С изумительным для его возраста проворством он кружился на своем легком коне вокруг неповоротливого рыцаря, нанося ему удар за ударом и ловко увертываясь и отскакивая всякий раз, когда тяжелый меч последнего, казалось,

должен был рассечь его надвое. Валленрод, уже несколько раз раненый, с каждой минутой слабел и защищался все более вяло. Наконец, Юсуф-бей улучил мгновение и сквозь решетку забрала острием сабли попал противнику в глаз, поразив его насмерть.

Увидев это, немногие еще сражавшиеся рыцари начали бросать мечи на землю и сдаваться. Знаменосец, окруженный со всех сторон, покорно протянул древко знамени подъехавшему Юсуф-бею.

Сражение кончалось. Лишь кое-где еще виднелись небольшие группы и отдельные рыцари, которые продолжали биться, предпочитая смерть позору сдачи. Но и с ними скоро было покончено.

Однако не все войско Ордена было истреблено: благодаря тому, что победители, увидев возле Грюнвальда огромный обоз противника, бросились его грабить, позабыв все остальное, многим тысячам тевтонов удалось вырваться из окружения и уйти. Когда, покончив с обозом, поляки по приказу короля пустились в преследование, уже наступила ночь и настигнуть они успели лишь немногих.

Быстро сгущались сумерки. Огромное поле, еще вчера отходившее ко сну в первозданном покое, звеня голосами цикад и курясь легким туманом, смешанным с запахом вяжущих трав и полыни, сегодня курилось дымом и кровью. Казалось, это не ночь, а сама смерть разворачивает над израненной землей свое черное покрывало. Всюду, куда ни погляди, в причудливом и кощунственном безобразии громоздились вспухшие трупы людей и лошадей, и было их столько, что разум отказывался верить тому, что одного дня достало, чтобы скосить всю эту страшную жатву.

Опрокинутые пушки, шлемы, щиты с гербами славнейших родов и с начертанными под ними гордыми девизами, обломки копий и мечи, выпавшие из коченеющих рук, валялись меж телами мертвых, густо усеяв землю.

Стоны и вопли умирающих поднимались и висли над полем, самое жесткое сердце могли бы они залить леденящей жутью и ужасом, если бы их не заглушали хмельные и ликующие крики победителей, которые обнаружили в обозе побежденных множество бочек с вином и теперь буйно праздновали победу.

ГЛАВА XXV

> «В начале ночи королевский глашатай Богута объявил по всему войску приказ: наутро собраться к часовне, чтобы воздать благодарение всевышнему Богу за дарованную победу, после чего взятые знамена и знатных пленников представлять королю».
>
> *Ян Длугош*

Пьянство и разгул продолжались почти до рассвета. Воины — поляки, русские, литовцы и татары, простые и знатные, ибо всех уравняла и побратала на эту ночь победа, — с хохотом и криками выбивая у огромных бочек днища, черпали вино кто чем горазд, — шлемами, боевыми перчатками и даже сапогами. И пили сколько в кого вмещалось, пока сраженные хмелем, не падали рядом со сраженными железом.

Уже глубокой ночью король, встревоженный размахом этой оргии, выслал на поле вооруженный до зубов отряд своих телохранителей с приказанием разбить оставшиеся бочки. Не без сопротивления буйных гуляк это приказание было исполнено, и потоки вина хлынули на землю, еще не успевшую впитать в себя потоки крови. Но бражники, распластываясь ниц, прямо с земли хлебали и тянули сдобренную кровью хмельную влагу.[1]

Начавшийся под утро холодный дождь прекратил попойку, но он же послужил причиной смерти множества раненых, особенно поляков, еще остававшихся на поле сражения. Только лишь татары, в которых сильна была дисциплина, прежде чем предаться гульбе, выполнили полученный приказ и подобрали всех своих.

* *
*

Благодарственную мессу служили возле походной часовни, которую Владислав, сразу же по окончании битвы велел вместе со своим шатром перенести к Грюнвальду и установить на том самом месте, где накануне стоял шатер великого магистра. Несмотря на то, что

---

[1] См.: Ян Длугош. «Грюнвальдская битва».

торжественное богослужение началось поздно, оно привлекло не очень много народа: последствия перепоя были сильнее королевского приказа.

Православных и мусульман этот приказ вообще не касался, а потому Арсений на мессу не пошел, но с утра велел слугам начистить до блеска свои доспехи и шлем, и оделся, как подобает знатному витязю, готовясь после богослужения представить королю свои трофеи. Он был весел и счастлив, ибо судьба оказалась к нему исключительно милостивой: не каждому, даже славному воину, удается взять в битве неприятельское знамя, положить четырех важных рыцарей и еще пятерых убить, либо вышибить из седла! Кроме того, десять рыцарей захватили воины его сотни. О его подвигах уже знал сам хан Джелал ад-Дин, который, наверное, расскажет о них князю Витовту. Но самое главное, о них будут рассказывать его сыну, когда он подрастет, и сын будет гордиться своим отцом, да и сам постарается быть не хуже...

С такими мыслями Арсений, в сопровождении своих пленников и Гафиза, несшего захваченное знамя, около полудня явился к королевскому шатру. Вокруг него толпилось столько народа, что из-за моря голов Арсению, даже при его росте, ничего не было видно. Но польский рыцарь Зиндрам, который распоряжался церемонией и представлял королю отличившихся, увидев при нем орденское знамя, велел пропустить его вперед, ибо сдавать знамена было приказано прежде всего.

Теперь Арсений очутился в каких-нибудь десяти шагах от шатра, возле которого во всем черном сидел на золоченом кресле король Владислав, а рядом с ним великий князь Витовт и левее его Джелал ад-Дин. Позади них, сверкая великолепием одеяний, стояло десятка два князей и знатнейших рыцарей, среди которых виднелись и черные сутаны монахов.

К королю пока подходили польские витязи. Зиндрам громко называл имя и воинское звание каждого, герб, к которому он принадлежал, и местность, откуда был родом, а затем в коротких словах докладывал, чем он отличился в битве. После этого названный низко склонялся перед королем, клал к его ногам знамя и говорил имена своих пленников, которые королевский нотариус, сидевший сбоку, сейчас же записывал в особый реестр.

Владислав задавал каждому несколько вопросов,

хвалил его и жаловал, — кого поместьем, кого придворным или воинским званием, а кого деньгами. Рядом с ним, на низком квадратном столике, лежало десятка два шитых золотом рыцарских перевязей, иногда он брал одну из них и возлагал на шею особенно отличившегося, если тот еще не имел рыцарского звания и, по мнению короля, был его достоин. В этот миг посвящаемый опускался на колени, а стоявший за спиной Владислава ксендз скороговоркой читал молитву.

В ожидании своей очереди, Арсений с любопытством наблюдал за происходившим и рассматривал короля, которого он до сих пор вблизи не видел.

Владиславу на вид можно было дать лет шестьдесят. Черные, с легкой проседью волосы прямыми и довольно жидкими прядями спадали ему почти до плеч; гладко выбритое лицо с высоким лбом, припухшими веками и слегка отвисающей нижней губой, хранило искусно выработанное выражение молитвенной благости и казалось добродушным. Но когда король поднимал на собеседника свои маленькие, темные и плутовато елозившие глаза, делалось очевидным, что это впечатление ошибочно, и что Владислав совсем не таков, каким хочет казаться.

Наконец, Зиндрам покончил с представлением польских и литовских витязей и произнес имя Юсуф-бея. Последний, приблизившись, приветствовал короля низким восточным поклоном и молча положил к его ногам знамя маршала Валленрода.

— Ты сам захватил это знамя и в единоборстве одолел маршала? — по-польски спросил Владислав. Юсуф-бей не понял, но стоявший тут же толмач перевел ему вопрос короля. Татарин ответил утвердительно.

— Хвалю, хвалю! Хотя ты и не христианин, а славный воин, — сказал Владислав. — Чем же ты хочешь, чтобы я наградил тебя? Деньгами?

— Мне не нужно денег, — немного подумав, ответил тысячник. — Но мои волосы и борода уже начали седеть, а у меня нет своего угла. Мне хочется к старости иметь спокойное прибежище, а в Орде я потерял все, что мне принадлежало. Если ты дашь мне небольшой улус, я останусь тут и буду верно служить тебе.

Эта просьба несколько озадачила Владислава, и он вопросительно поглядел на Витовта.

— Чего лучше! Свободных земель у нас по украинам много, а это отличный воин, к тому же он с собою

сотни три людей приведет, а то и больше. Если хочешь, я его к себе возьму, — ответил Витовт, делая вид, что не замечает, как при этом насупился Джелал ад-Дин.

Последнему и впрямь жалко было терять своего лучшего тысячника, но Витовт был ему нужнее, а потому он быстро справился с собой и даже одобрительно улыбнулся. Впрочем, он сознавал, что сам виноват: по возрасту, положению и заслугам Юсуф-бею давно следовало быть темником, но Джелал ад-Дин его обходил и еще совсем недавно дал освободившийся тумен другому, совсем молодому тысячнику только потому, что тот был хитер и умел льстить. И, конечно, Юсуф-бей был обижен.[1]

— Ты кто таков, откуда родом и сколько взял пленных? — спросил в это время Зиндрам, подходя к Арсению. Последний вполголоса ответил на эти вопросы и, поняв, что его сейчас вызовут, принял знамя из рук Гафиза.

— Татарского войска сотник Арсений Карачеев. С бою взял знамя Брандербургской хоругви и полонил четырех рыцарей, средь которых один комтур, — возгласил Зиндрам, когда Юсуф-бей отошел. — Да сотня его полонила десять рыцарей, из них один фохт.[2]

Арсений подошел к королю, который смотрел на него с благосклонным любопытством, поклонился и положил перед ним знамя. Затем он стал называть имена всех четырнадцати пленников, которые забывал и безбожно коверкал, но они, стоя за его спиной, громко подсказывали.

Между тем Витовт, прежде сидевший небрежно отвалясь на спинку кресла, скользнув взглядом по лицам этих пленников, вдруг подался вперед и, опершись сжатыми кулаками о колени, впился в них глазами. В стоящем впереди он сразу узнал комтура Маркварда фон Зальцбаха, который несколько лет тому назад, будучи послом великого магистра, жестоко оскорбил самого Витовта и его мать. Оглядев внимательно остальных, литовский князь с удовольствием обнаружил среди них фохта фон Шенбурга, который приезжал к нему вместе с Марквардом и не уступал последнему в грубости.

---

[1] Позже Юсуф-бей был полковником польско-литовского войска и получил польское шляхетство герба «Радван». От него идет род Юзефовичей.

[2] Фохт — рыцарское звание, ниже командора.

Злорадная улыбка пробежала по тонким губам Витовта. Он поглядел на Арсения почти восхищенным взглядом и, склонившись к королю, стал что-то быстро говорить ему вполголоса. Арсений понял, что речь идет о нем, ибо до него долетали обрывки фраз:

«...не татарского войска, а моего... Из Карачевских князей, хотя и родился в Орде, — после все расскажу... Христианскую веру принял давно... Доблести беспримерной и достоин самой высокой награды.»

Закончив, Витовт снова откинулся на спинку кресла и поощрительно улыбнулся Арсению. Король тоже глядел на него с явным благоволением.

— Господь помог тебе совершить славные подвиги, и я молитвенно благодарю Его за то, что Он посылает мне таких слуг, — промолвил Владислав и, привычным движением возведя глаза к небу, пошептал что-то. Потом сказал: — Но ты еще совсем молод. Вероятно это твоя первая война?

— Первая, светлейший король, коли не считать того, что довелось мне участвовать в мелких стычках, да однажды отбивать осаду, — кланяясь, ответил Арсений.

— Воистину замечательное начало! Знамя и четыре взятых в плен рыцаря! Этим мог бы гордиться и прославленный воин. Подойди сюда, сын мой, — добавил Владислав и поднял со стола рыцарскую перевязь.

Сердце Арсения затрепетало от радости: в девятнадцать лет получить рыцарский сан от самого короля! Широко перекрестившись, он шагнул вперед, готовясь опуститься на колени, как делали другие.

— Но ты схизматик! — воскликнул Владислав, заметив, что он перекрестился справа налево. — Я думал, что ты исповедуешь истинную веру. Впрочем, никогда не поздно принять ее, — добавил он.

Арсений не понял, что такое схизматик, но зато очень хорошо понял и намек короля, и то, что становиться на колени уже не нужно. Взглянув прямо в лицо Владиславу, он сказал:

— Я не столь давно принял христианскую веру и еще плохо разбираюсь в этих делах. Но мой отец очень ученый и мудрый человек, и если он тоже стал схизматиком, значит это и есть истинная и самая лучшая вера!

Глаза короля вспыхнули гневом. Но он сейчас же овладел собой и принял свой обычный елейно-смиренный вид.

— Я скорблю о заблуждениях твоего отца и твоих, — сказал он, кладя перевязь обратно на стол, — и буду молить Господа нашего Иисуса Христа, чтобы Он просветил и спас ваши души. А сейчас иди. Благодарю тебя. Мы с князем Витовтом подумаем, чем тебя наградить.

Возмущенный и разочарованный, Арсений отошел в сторону. Все это не укладывалось в его голове и казалось какой-то нелепостью. Разве подвиг перестает быть подвигом, если его совершил человек другой веры? И разве татарские ханы, которых тут называют погаными, прежде чем наградить храбреца спрашивают — суннит он или шиит?[1]

Очевидно поняв, что происходит в душе Арсения, несколько минут спустя к нему подошел князь Витовт.

— Ты не печалься, — сказал он, — таков уж король Владислав, — для него дела веры это главное. Я твоему родителю говорил, что для вас будет лучше, коли примете вы католичество, да он меня не послушал. Ну, да теперь что о том говорить! Славные же подвиги твои тем не умаляются, что ты православный, и я о них не забуду, коли король забудет. А что он тебя не возвел в рыцари, то пустое: и без его перевязи ты рыцарь, потому что таким родился, и чего стоишь, всем вчера показал.

— Спасибо, княже великий, на добром слове. Похвала полководца, который шел в битву впереди своего войска, мне дороже, чем награда того, кто стоял сзади, с молитвенником в руках.

Витовту понравились эти слова. Он в душе ненавидел и презирал убийцу своего отца — Владислава, в прошлом не раз поднимал против него оружие и не исключал такой возможности в будущем. И сейчас он понял, что в лице Арсения всегда будет иметь пламенного сторонника.

— Ну, ладно, — сказал он, — об этом деле мы еще побеседуем. А сейчас вот что: ты не уступишь ли мне двух твоих пленников? Я дам за них, вестимо, хороший выкуп, не меньше того, что они бы и сами дали.

— Бери без выкупа, пресветлый князь, я рад услужить тебе. Которых тебе надобно?

— Комтура Маркварда и фохта фон Шенбурга.

[1] Сунниты и шииты — два основных, но противоречивых направления в исламе.

Только без выкупа не возьму, почто обижать тебя? Ты за них жизнь на кон ставил. Коли не хочешь денег, проси, что тебе любо.

— Коли так, поменяй мне их на пушки, князь. Мы их у немцев, почитай, больше сотни отбили, только все они, вестимо, идут в твое и в королевское войско. Так вот, если дашь мне по пушке за каждого рыцаря, они бы нам в Карачеевке вельми сгодились на случай татарских набегов.

— Бери не две, а четыре! Мне от того прямая польза, что вы мою окраину будете от Орды защищать. Доспехи и оружие этих рыцарей тоже оставь себе, — там, куда я их отправлю, доспехов не носят, — усмехнулся Витовт. — Ну и сверх того все же дам тебе по тысяче злотых за каждого немца, и ты своему государю не перечь: коли так не хочешь, прикажу, чтобы взял!

ГЛАВА XXVI

> «Литовский князь последовал бы королевским велениям, если бы его снова не раздражали заносчивые речи крестоносцев Маркварда и Шенбуга. Оскорбленный их словами, слишком дерзкими для пленников, он велел отправить их на казнь, причем король Владислав уже ему не препятствовал».
>
> *Ян Длугош*

Витовт по натуре не был злопамятным и умел прощать обиды. Но такого оскорбления, какое нанесли ему рыцари Зальцбах и Шенбург, простить было нельзя, и он давно таил надежду когда-нибудь свести с ними счеты.

Теперь они были в его руках, но дело осложнялось тем, что король Владислав строжайше приказал никому из пленников обид не чинить и обращаться с ними милостиво. Даже тела великого магистра, маршала Валленрода, Куно фон Лихтенштейна и нескольких убитых командиров он велел с подобающей честью отправить в столицу Ордена, Мариенбург, для достойного погребения. Конечно, во всем этом им не столько руководили христианские чувства, которыми он прикрывался, как простая осторожность: война еще не была окончена. На

стороне Ордена могли выступить его союзники, венгры и чехи, и было неблагоразумно давать им к этому лишний повод.

Таким образом, чтобы отсечь головы своим обидчикам, Витовту нужно было получить особое разрешение короля, но последний в нем отказал.

— Недостойно христианина предаваться низменному чувству мести, — назидательно сказал он, выслушав своего двоюродного брата. — И не подобает нам проливать кровь тех, кого мы победили не столько силою оружия, сколько соизволением и помощью Божьей. Будем помнить, что Христос, всеблагий и кроткий, заповедал нам милосердие даже к врагам.

Поняв, что Владислав прочно сел на своего любимого конька, Витовт перестал настаивать и в сердцах вышел из королевского шатра.

Оставалось одно: заставить рыцарей признать свою вину и публично просить прощения. Но когда вечером их привели в шатер к Витовту, последний сразу почувствовал, что это нелегко будет сделать: оба держались гордо, не обнаруживая ни малейшего страха, и глядели на него почти с открытой насмешкой.

— Может быть, ты думаешь, рыцарь, что я уже забыл те дерзкие слова, которые ты сказал мне, когда приезжал послом в Вильну? — помолчав, спросил Витовт, обращаясь к Маркварду. — Но не тешь себя такой надеждой: я их очень хорошо помню!

— Если бы ты и забыл, в том беда небольшая, — усмехнулся комтур, — я бы тебе повторил их еще раз!

— Молчи, собака! — крикнул взбешенный Витовт. — Воистину Бог помутил твой разум: теперь, когда ты в моей власти, вместо того, чтобы валяться у меня в ногах и молить о прощении, ты смеешь так говорить со мной!

— Только варвар, не знающий, что такое рыцарская честь, мог подумать, что фон Зальцбах способен валяться у кого-то в ногах, — надменно ответил Марквард. — Я не боюсь ни тебя, ни того, что меня ожидает, ибо, как рыцарь, всегда был готов встретить смерть с достоинством и без страха.

— А я жалею лишь о том, — вставил фон Шенбург, — что тогда, в Вильне, я был скромнее моего славного товарища. Можешь казнить нас, и ты увидишь, как умирают настоящие рыцари. Но помни: военное

счастье переменчиво и вы дорого заплатите за вашу случайную победу.

С трудом преодолев желание тут же изрубить дерзких рыцарей в куски, Витовт хлопнул несколько раз в ладоши.

— Увести этих негодяев! — крикнул он появившейся страже. — Да в цепи их!

Пленников увели, а Витовт, полный бешенства и решимости, снова отправился к Владиславу.

— Светлейший король! — воскликнул он, едва переступив порог. — Ты мне не позволил наказать наглецов, оскорбивших меня, твоего брата. И они, пользуясь твоей защитой, сейчас оскорбили меня вторично! Я пришел требовать их казни!

— Христос сказал... — начал было Владислав, но Витовт, потеряв остатки самообладания, перебил его:

— Не юродствуй, Ягайло! Мне ли не знать тебя! Ты разыгрываешь святого, хитришь и боишься, кажется, всего, кроме того единственного, что тебе действительно угрожает: что я завтра уведу свое войско назад, в Литву! Клянусь тебе, я это сделаю, если ты еще будешь читать мне проповеди и упорствовать в защите наших врагов и оскорбителей!

Во время этой гневной тирады Владислав оставался совершенно спокойным, во всяком случае ни одним движением лица не выдал своих чувств. Поглядев на Витовта с кроткой укоризной, он ответил:

— Ты, кажется, не понял меня, дорогой брат: я сказал тебе, что Господь не позволяет из чувства мести проливать кровь и что Он заповедывал нам милосердие к побежденным врагам. Как христианский король я обязан требовать, чтобы заповеди Господни не нарушались. Но я не буду возражать, если ты проявишь милосердие к этим врагам, избавив их от земных страданий и сделаешь это без пролития крови, — добавил он, и в его глазах на мгновение зажглись лукавые огоньки.

Витовт понял. Молча он поклонился королю и стремительно вышел из шатра. Хотя ему и удалось добиться своего, от слов Владислава душу его мутило отвращением, будто он прикоснулся к гниющей падали.

Час спустя комтур Марквард фон Зальцбах и фохт Иоганн фон Шенбург были повешены.

ГЛАВА XXVII

«Мы находим необходимым, чтобы рабы, обращаемые братьями Ордена в христианство, получали там[1] от господ хотя бы столько свободы, чтобы они могли ходить в церковь на богослужения».

Из буллы папы Григория 9, 1238 год

Итоги Грюнвальдской победы оказались блестящими. Рыцари потеряли около сорока тысяч убитыми и пятнадцать тысяч попало в плен. Были взяты пятьдесят два знамени,[2] сто полевых бомбард, горы другого оружия и доспехов; почти все высшие военачальники Ордена были убиты в сражении. Из всего грозного войска тевтонов спаслась лишь седьмая часть.

Однако разгром орденской Пруссии не был полным, — предстояло еще завершить его, и это надо было сделать как можно скорее, пока рыцари не опомнились и не собрали новое войско. И прежде всего, следовало, не теряя дня, двигаться на Мариенбург и овладеть им. Столица крестоносцев была фактически беззащитна, ибо отправляясь в поход, великий магистр Ульрих фон Юнгинген оставил там в качестве гарнизона всего несколько десятков наименее боеспособных людей. Потрясенные известием о гибели своего войска, они, несомненно, сдались бы без всякого сопротивления, как сдавались в эти дни все другие города и крепости Пруссии. Там же, в столице, находилась и вся орденская казна, потеряв которую, рыцари не смогли бы в ближайшее время создать новое войско и оплачивать наемников.

От Грюнвальда до Мариенбурга можно было дойти за два дневных перехода — расстояние не превышало ста верст. И многие военачальники, во главе с Витовтом, настаивали на необходимости сделать это немедленно. Но король Владислав ничьих советов не слушал и по обыкновению медлил. Три дня продолжались бла-

---

[1] Имеется в виду Пруссия.

[2] В этом сражении Тевтонский Орден потерял знамена всех своих полков (пятидесяти одного) и большое Прусское знамя, сопровождавшее великого магистра. Это вполне достоверно, так как все эти знамена потом хранились в краковском кафедральном соборе и Ян Длугош уже 28 лет спустя сделал их подробное описание и зарисовки.

годарственные богослужения и победные празднества. Только на четвертый войско выступило в поход, но двигалось медленно, захватывая по пути мелкие города и замки, которые сдавались без боя, но тем не менее подвергались полному разграблению, за которым следовали новые пиры и попойки, еще более задерживающие продвижение войска.

Только на двенадцатый день поляки подошли к Мариенбургу. Но почти на неделю раньше их в город уже успел войти командор Свецинской области Генрих фон Плауэн, вскоре избранный великим магистром, который привел с собою пять тысяч свежего войска из Померании и собрал большую часть рыцарей, бежавших из под Грюнвальда.

Таким образом, польско-литовскому войску теперь предстояло иметь дело не с горсточкой растерявшихся людей, а с многочисленным гарнизоном, который хорошо понимал, что от его стойкости зависит судьба Ордена и потому был полон решимости защищать город до последней возможности.

И более всех такой решимостью был проникнут фон Плауэн, принявший в этот критический момент верховную власть. Он был потомственным тевтонским рыцарем: один из его далеких предков вступил в Орден еще в Палестине, и с тех пор в каждом поколении кто-нибудь из фон Плауэнов носил белый плащ с черным крестом. И потому теперь, когда от его действий зависело спасение или гибель всего созданного этими предками, он острее чем кто-либо чувствовал свою ответственность перед ними и допускал только две возможности: или, несмотря на отчаянное положение, победить врага, или, в крайности, добиться таких условий мира, при которых Орденскому государству будет обеспечено дальнейшее существование, хотя бы ценою крупных территориальных потерь. В том, что эти потери позже удастся вернуть, фон Плауэн, хорошо знавший историю Ордена, нисколько не сомневался.

Эта история, по существу была сплошной цепью военных авантюр и захватов. Орден был основан в 1128 году в Иерусалиме, которым незадолго до того овладели крестоносцы, и первоначально назывался братством святой Марии Тевтонской. Своей целью оно ставило помощь и заботу о приезжающих в Палестину германских паломниках, но очень скоро установки его изменились и скромное братство превратилось в военно-

монашеский орден, получивший название Тевтонского, ибо пополнялся он главным образом представителями немецкой аристократии. В Палестине этот орден особенно не возвысился и такой роли, как тамплиеры или иоанниты не играл, — вероятно потому, что в борьбе, которая в то время началась между Ватиканом и германскими императорами, явно держал сторону последних.

Когда султан Салах-ад-Дин отвоевал у крестоносцев Святую Землю, Тевтонские рыцари нашли прибежище в Венеции, но вскоре венгерский король Андрей Второй отдал им Трансильванию, с тем что они будут защищать ее от половецких набегов. Однако рыцари немедленно начали истреблять там коренное население и заселять страну немцами, вследствие чего венгерский король два десятка лет спустя их оттуда изгнал.

Нового покровителя Тевтонские рыцари нашли в лице польского князя Конрада Мазовецкого, который предложил отдать им во владение Кульмскую землю, на границе с Боруссией, с условием, что они будут защищать Мазовию от нападений боруссов, а заодно обращать их в христианство[1]. Великий магистр Ордена это предложение принял, но отнюдь не собираясь ограничивать свою деятельность защитой земель Мазовецкого князя, он заблаговременно попросил у германского императора Фридриха Второго грамоту на владение Боруссией, «дабы ввести там добрые обычаи и законы укрепления веры Христовой и мира между жителями». Боруссия Фридриху не принадлежала, — надо было еще завоевать ее, а поскольку это собирались сделать его единоплеменники тевтоны, он такую грамоту охотно выдал.

Но оказалось, что на шкуру еще не убитого борусского медведя имелся второй претендент: за несколько лет до этого римский папа, тоже считавший себя вправе распоряжаться чужими землями, выдал такую же грамоту на владение Боруссией своему епископу Христиану. Получив эту грамоту, Христиан попробовал организовать против боруссов крестовый поход, но в этом не преуспел. Однако Боруссию он уже считал своим законным владением и уступить ее тевтонам не согла-

---

[1] Боруссы принадлежали к литовскому племени и были язычниками.

шался. Три года по этому поводу шли препирательства между папой и германским императором и наконец порешили на том, что Орден получает Боруссию, но признает приоритет епископа Христиана и обязывается платить ему дань. Впрочем, такое положение длилось не долго: несколько лет спустя Христиан попал в плен к боруссам, где, очевидно, ему помогли умереть, после чего тевтоны остались тут полными хозяевами и без помехи приступили к захвату борусских земель.

Это завоевание шло, конечно, под флагом насаждения христианства и проводилось с немецкой методичностью: захватывалась определенная область, на ней, пользуясь трудом порабощенного населения, строились каменные замки и укрепленные города, затем это население уничтожалось и на его место привозились колонисты из Германии. Таким образом область превращалась в чисто немецкую и даже претендовать на нее больше было некому. Потом продвигались дальше, строя новые города и замки.

Боруссы сопротивлялись, как могли, — бывали моменты, когда они поднимались поголовно и с помощью литовцев наносили тевтонам серьезные поражения, но на подмогу последним сейчас же приходили Ливонские рыцари и многочисленные добровольцы из Германии, и немецкий вал, раздавив непокорных, продолжал двигаться вперед.

К началу XIV столетия тевтоны полностью овладели всеми землями боруссов, которые превратились теперь в германскую Пруссию, а также славянским Поморьем, принадлежавшим Польше, что лишило ее всех выходов к морю. Польский король Локоток обратился к суду папы Иоанна 22, последний решил дело в его пользу, но рыцари, опираясь на германского императора, этому решению не подчинились. Поморье обратилось в немецкую Померанию, а населявшее его славянское племя кошубов было уничтожено без остатка.

Застроив покоренные области крепостями и замками, полностью их германизировав и создав тут мощное государство, главой которого являлся пожизненно избираемый великий магистр, тевтоны приступили к захвату литовских и польских земель, с применением тех же методов.

Пока дело касалось языческих племен, Ватикан эти методы вполне одобрял и оказывал Ордену неизменное покровительство. Но положение изменилось,

когда деятельность рыцарей стала распространяться на католическую Польшу, где всех чинимых ими насилий, грабежей и зверств уже нельзя было оправдывать «насаждением христианства», тем более что тевтоны не церемонились и с владениями католических епископов. Теперь папы начали увещевать и протестовать, а когда это не возымело никакого действия, — даже посылать рыцарям проклятия. Но капитул Ордена не обращал на это внимания, оправдываясь тем, что в Польше и в Литве настоящего христианства нет, и оно там служит лишь вывеской, прикрывающей языческую сущность.

Но сам Орден этого упрека заслуживал в гораздо большей степени, ибо он давно утратил свою духовно-религиозную основу и внешним благочестием только прикрывал чисто хищнические действия. При вступлении в Орден рыцари по-прежнему давали обеты верности Церкви, скромности, послушания и целомудрия, но смотрели на это как на простую формальность и вели вполне светский образ жизни, соперничая друг с другом в роскоши, а с авторитетом папы считались только тогда, когда им это было выгодно. Германский император значил для них гораздо больше.

Несмотря на папские протесты, их нападения на Польшу и Литву не прекращались в течение всего XIV века, что и привело в конце концов к Грюнвальдскому поражению и к тому, что судьба Ордена повисла теперь на волоске. Она должна была решиться под стенами Мариенбурга, и все сейчас зависело не столько от мужества сражающихся сторон, сколько от личных качеств и способностей короля Владислава и командора Генриха фон Плауэна.

ГЛАВА XXVIII

> «Если бы фон Плауэн не пришел столь быстро и своей кипучей деятельностью и умением не укрепил дух защитников, то было бы покончено не только с Мариенбургом, но и со всем Орденом крестоносцев»
>
> *Ян Длугош*

Мариенбург или, как поляки называли его, Мальборг, вот уже сто лет бывший столицей Ордена, стоял на правом берегу Ногаты, одного из рукавов Вислы.

Тут, среди ровной местности, возвышался приземистый круглый холм, на котором рыцари и поставили свой замок, превратив весь этот холм в сильнейшую цитадель, с тремя поясами высоких зубчатых стен и множеством массивных башен.

Таким образом вся твердыня тевтонов делилась как бы на три отдельных крепости. На самой вершине холма стоял храм святой Девы Марии с устремленными в небо готическими шпилями, а вокруг него лепился так называемый Высокий замок, окруженный толстыми кирпичными стенами и рвом. В этом замке помещались органы управления, монастырь, резиденция великого магистра, здание капитула, казначейство и все святыни и сокровища Ордена. Несколько массивных дубовых ворот, украшенных черными крестами, соединяли этот замок со Средним, расположенным по кругу на склонах холма, обращенных в широкие террасы. Здесь размещались все наиболее знатные рыцари, склады оружия и обмундирования, пороховые и винные погреба и часть продовольственных складов. Этот замок был опоясан особенно мощными каменными стенами со множеством приземистых квадратных башен и глубоким рвом, с перекинутыми через него подъемными мостами.

Внизу, у подножия холма ютился укрепленный военный городок или Предместный замок, тоже окруженный крепкими стенами и широким рвом. Тут находились обширные казармы и конюшни, огромные зернохранилища и продовольственные склады, в которых хранились запасы, достаточные на два года осады, арсенал, пушечный и ядерный двор, пороховой завод, госпиталь, склады, строительных материалов, всевозможные мастерские, кузницы, мельницы, цейхгаузы, хлебопекарни, дворы для воинских упражнений, дома служащих и все прочее, что было необходимо для того, чтобы обеспечить нормальную жизнь, снабжение и обороноспособность грозного гнезда рыцарей, даже в условиях длительной осады.

С внешней стороны всех этих укреплений, уже на ровной и незащищенной местности, раскинулось обширное предместье, которое по существу и было городом Мариенбургом, ибо тут жила вся мирная часть населения столицы: торговый и рабочий люд, всевозможные ремесленники и дельцы со своими мастерскими, лавками и предприятиями, уже не общинно-орденского, а частного характера.

При приближении польского войска все здешние жители вынуждены были покинуть свои жилища и, за исключением пригодных к обороне, которых взяли в замок, бежать кто куда может, ибо фон Плауэн приказал разрушить и сжечь город, чтобы неприятель не мог его использовать как укрытие на подступах к крепости.

Когда подошли передовые польско-литовские отряды, уничтожение города еще не было закончено. Застилая окрестность едким дымом, в разных местах пылали пожары, но почти все постройки тут были кирпичными или глинобитными и потому огонь среди них распространялся медленно, сжигая лишь деревянные части зданий и крыши. В полосе, прилегающей к крепости, отряды рабочих и воинов, довершая работу огня, рушили уцелевшие стены, действуя тяжелыми бревнами как таранами. Кое-где в дыму мелькали белые плащи конных рыцарей, руководивших этими работами.

Вся западная часть города была еще почти цела, — ее только начинали жечь и рушить, — а потому подошедшие сюда передовые части литовской конницы, среди которых была и сотня Арсения, сразу же попытались захватить ее. Но рыцари были наготове и дали атакующим сильный отпор: с крыш и из окон окраинных домов на них градом посыпались стрелы, а когда Арсению, скакавшему впереди своей сотни, все же удалось ворваться в ближайшую улицу, навстречу ему грянул оглушительный выстрел и вокруг на разные голоса завыла резаная свинцовая картечь. Арсений, защищенный прочной кольчугой, от нее не пострадал, но конь его сразу подвернул колени передних ног и начал валиться на бок. Кто-то из подскакавших нукеров сейчас же уступил сотнику своего, и Арсений с десятком воинов без промедления бросился вперед, к перекрестку, откуда вползал теперь в улицу черный язык порохового дыма.

Зарубить четырех пушкарей и овладеть стоявшей здесь пищалью оказалось делом одной минуты. Но пищаль была тяжела и длинна, вывезти ее на седле нечего было и думать, а потому Арсений приказал троим своим воинам спешиться и взять ее на плечи. Не отошли они и десяти шагов, как один упал, пораженный стрелой, пущенной почти в упор из окна ближайшего дома. Стрелы засвистели со всех сторон, и еще один нукер, убитый наповал, свалился с коня, другой получил

рану в ногу. Оглядевшись, Арсений увидел, что в конце улицы показался отряд одетых в доспехи рыцарей, быстро приближающихся к ним. Не хотелось отказаться от захваченной пищали, но благоразумие подсказало Арсению, что надо бросить ее и отходить. Потеряв по пути еще двух воинов, сраженных стрелами, его маленький отряд, по пятам преследуемый рыцарями, едва успел выскочить из города.

В продолжение этого дня и почти всего следующего тевтоны . успешно отражали все попытки неприятеля проникнуть в город, разрушение которого тем временем продолжалось. Только к вечеру этого второго дня к Мариенбургу подошли главные силы союзного войска, и три лучших польских хоругви, бросившись на приступ, сломили сопротивление защитников и заставили их укрыться за стенами Предместного замка.

Теперь выяснилось, почему тевтоны с таким упорством защищали развалины предместья, которое сами же предполагали оставить без сопротивления: в стене Нижнего замка оказалась большая брешь.

Уже несколько лет тому назад, копая во дворе этого замка яму для каких-то хозяйственных надобностей, рабочие возле самой стены обнаружили подземный родник. Это было весьма кстати, — рядом стояла казарма, и вода была тут очень нужна. Родник выложили камнем и широко им пользовались, что вызывало усиленное движение подпочвенных вод, которые постепенно подмывали стену. И теперь, когда на нее стали втаскивать пушки, ядра и камни, готовясь к обороне, она рухнула, образовав пролом шириной в добрых пять сажень.

В течение двух дней и ночей рыцари с лихорадочной поспешностью поднимали стену, не давая неприятелю к ней приблизиться. Но все же, когда это случилось, в ней еще оставалась порядочная брешь, через которую можно было ворваться в замок.

Заметив это, начальники польских хоругвей, овладевших предместьем, решили продолжать бой, штурмуя пролом. Но для захвата замка сил у них было явно недостаточно, а соседние хоругви их не поддержали. О положении дел было доложено самому королю, который и тут остался верен своей обычной медлительности.

— Уже вечер, — ответил он, — и войско устало

после похода. Завтра начнем приступ, за одну ночь они пролома не заделают.

Но тут Владислав жестоко ошибся, упустив и эту последнюю возможность, дарованную ему судьбой: наутро стена оказалась восстановленной, а когда поляки все же пошли на приступ, надеясь на ее непрочность, сверху их засыпали камнями и стрелами, а под конец обрушили два свежевыведенных зубца этой стены, задавив более двадцати человек. Польскому рыцарю Петру Олесницкому упавшим сверху камнем так нахлобучило шлем, что его пришлось сбивать с головы молотом.

Отступив от стен, польско-литовское войско обложило крепость со всех сторон и начало правильную осаду, время от времени повторяя приступы. Рыцари их успешно отражали, нанося осаждающим большой урон и в свою очередь часто предпринимали вылазки, особенно первое время: фон Плауэн собирался вступить с королем Владиславом в переговоры и перед этим хотел показать, что он еще достаточно силен.

Наконец, в начале второй недели осады, после особенно успешной вылазки, когда рыцари ворвались в центр польского расположения и едва не овладели стоявшими тут бомбардами, фон Плауэн через парламентера попросил короля о личном свидании с ним.

Получив гарантии безопасности, вечером того же дня он, в сопровождении нескольких рыцарей, выехал из ворот замка и приблизился к черте польского лагеря, где ожидал его Владислав со свитой. Сойдя с коня, король в ответ едва кивнул головой.

— Я готов тебя выслушать, рыцарь, — промолвил он, — ибо надеюсь, что сила польского меча подействовала на тебя и твоих собратьев благотворно и что ты пришел с разумными предложениями.

— Светлейший и христианнейший король! — сказал фон Плауэн. — Сокрушительной силы твоего меча после злосчастного для нас Грюнвальдского сражения отрицать никто не может. Не буду я отрицать и того, что мы, Тевтонские рыцари, во многом виноваты перед тобою и заслужили полученное возмездие. Но я знаю, что ты добрый христианин и католик и потому думаю, что покарав нас достаточно сурово, ты смиришь свой справедливый гнев и не будешь стремиться к полному уничтожению нашего славного Ордена, заслуги которого

перед христианством и святой католической церковью неисчислимы.

— Так было пока вы приобщали к святой церкви язычников, — перебил Владислав. — Но не теперь, когда вы нападаете на христианские земли.

— Твои слова справедливы, светлейший король. И потому теперь, когда мы своею рукой наказаны за свои ошибки, я, как принявший в эти трагические дни верховную власть над Орденом, предлагаю возвратить тебе Померанию, Кульмскую и Добжинскую земли и все другие области, когда-либо принадлежавшие Польской короне, а также Жмудскую и иные земли, принадлежавшие подвластной тебе Литве. И с тем я уповаю, что ты великодушно оставишь нам Пруссию, которую мы к пользе всего христианского мира отвоевали у варваров ценою больших жертв и многолетних кровавых войн.

Еще месяц назад такой итог войны Владиславу и не грезился, — он бы согласился на возвращение одной Добжинской земли. Но сейчас он был опьянен успехами, почти вся Пруссия находилась в его руках, и он надменно ответил:

— Ты предлагаешь мне то, что и без того мое и что я уже отобрал у вас силою своего оружия. А что до Пруссии, то если вы отвоевали ее у варваров, то я теперь отвоевал ее у вас и думаю, что христианский мир на этом ничего не потеряет.

— Позволю себе заметить, светлейший король, что о завоевании Пруссии еще рано говорить, — оно не завершено, а военное счастье переменчиво. Мы хотим мира, но мира на справедливых условиях и, если отвергнув их, ты нас вынудишь продолжать войну, у нас еще есть для этого силы.

— Горсточка людей, укрывшихся в этом замке, который мы возьмем не сегодня-завтра! — усмехнулся Владислав. — Впрочем, твои предложения мы обсудим на большом королевском совете, и ты будешь извещен о нашем решении.

На большом совете, который собрался на следующий день, наиболее благоразумные военачальники, и в их числе Витовт, настаивали на том, что следует принять условия фон Плауэна, ибо отказ принудит его защищаться до последней крайности и искать помощи в других странах, что может совершенно изменить течение войны. Но большинство польских вельмож о том не

хотело и слышать. «Жадность получить больше, чем предлагали, вела поляков по неверному пути, — пишет Ян Длугош, — и они, вознесясь заносчивостью победителей, не взвесили того, что череда событий переменчива и что никогда счастье не благоволит только одной стороне».

Фон Плауэну гордо заявили, что все прусские города, замки и области, которые поляки взяли или еще возьмут, останутся за ними навсегда, добавив, что если он немедленно сдаст Мариенбург, то «король не откажет Ордену в подобающем возмещении». Короче говоря, поляки требовали безоговорочной сдачи на милость победителей. Выслушав королевского посланника, фон Плауэн ответил, что если так, то он, защищая существование Ордена, будет бороться до конца.

К этому времени на всей территории Орденского государства только девять городов оставались в руках тевтонов, причем три из них уже были осаждены поляками. Все остальные Владислав роздал в управление своим вельможам и рыцарям, в них стояли польские гарнизоны, страна была разграблена и опустошена, всюду в ней хозяйничали победители.

Положение казалось безнадежным, но благодаря энергичным действиям фон Плауэна, вскоре оно изменилось. Пользуясь беспечностью осаждающих, он сумел под покровом ночи отправить из Мариенбурга несколько гонцов, которые повезли в соседние страны его воззвания и крупные суммы денег на вербовку войска. Не прошло и месяца, как в Пруссию отовсюду стали стекаться добровольцы и отряды наемников. Занятые поляками города и замки один за другим начали переходить в их руки.

ГЛАВА XXIX

> «После долгих переговоров, на Торуньском острове был заключен и подписан пагубный и позорный для поляков мир с пруссаками, на условиях для Польского королевства несправедливых и невыгодных... Великолепная и достопамятная Грюнвальдская победа сошла на нет и обратилась почти что в насмешку».
>
> *Ян Длугош*

Осада Мариенбурга затягивалась и с каждым днем принимала все более неблагоприятный для осаждаю-

щих оборот. Уже через неделю после неудачно окончившихся переговоров рыцари сделали новую успешную вылазку и, перебив много поляков, захватили у них несколько пушек, а часть остальных переломали. Взбешенные этим поляки ответили яростным приступом, но он был отбит с большим для них уроном.

Вскоре стало известно, что в Пруссию вошел со значительными силами магистр Ливонского Ордена Герман фон Витгенштейн. Владислав выслал против него крупный отряд под начальством князя Витовта, но магистр вступил в переговоры и предложил свои услуги в качестве посредника для сговора и заключения мира. Он долго беседовал с Витовтом наедине и поклялся, что ему во всяком случае будет возвращена Жмудь. Витовт, который именно ради этого вступил в войну и теперь, видя что король действует неумело и безрассудно, не надеялся на большее, этим вполне удовлетворился и потерял к продолжению кампании всякий интерес.

После этого, отправив своих рыцарей на подкрепление тевтонских гарнизонов в Пруссии, сам Витгенштейн вместе с Витовтом приехал в королевский лагерь. Владислав, с которого события уже согнали спесь, в душе обрадовался появлению посредника и пропустил его в осажденный Мариенбург, сказав, что он согласен на условия, предложенные фон Плауэном. Но последний, окрыленный своими успехами и новостями, которые сообщил ему Витгенштейн, теперь об этом не хотел и слышать.

Возвратившись на следующий день из замка, ливонский магистр сообщил о том королю, выразив сожаление, что его посредничество не увенчалось успехом. С ним вместе явился старенький монах, который просил разрешения покинуть крепость и отправиться в ближайший монастырь, так как по немощи ему трудно переносить тяготы осады. Владислав приказал пропустить его, но после выяснилось, что этот монах вынес на себе огромную сумму денег для уплаты наемникам фон Плауэна.

Потекли новые дни осады, которая велась теперь вяло. В польском лагере нарастали недовольство и уныние, чему способствовало и новое бедствие: после нескольких штурмов под стенами крепости остались тысячи мертвых тел, которых не могла убрать ни одна, ни другая сторона. Стояла августовская жара, трупы

разлагались, отравляя окрестности невыносимым зловонием, вдобавок на них развелись мириады мух, которые наводнили лагерь осаждающих. Начались болезни и дезертирство, принимавшее все более широкие размеры.

Король Владислав, поняв, что дело принимает совсем скверный оборот, снова начал дни и ночи проводить в молитвах. И настал момент, когда ему показалось, что молитвы эти услышаны.

Однажды чешский рыцарь Ясько Сокол, служивший в польском войске, прогуливаясь недалеко от крепостных стен, увидел что прямо перед ним вонзилась в землю стрела с подвязанной к ней запиской. В этой записке чешские наемники, служившие у фон Плауэна, просили его довести до сведения короля, что за сорок тысяч флоринов они предлагают отворить полякам ворота замка в одну из ближайших ночей, когда вступят на стражу. В случае согласия, Сокола просили на этом же месте поставить синий флажок, после чего один из чехов явится ночью сюда для того, чтобы лично договориться обо всем.

Ясько Сокол доложил об этом королю, который тотчас собрал старших военачальников, дабы обсудить полученное предложение. На этом совете мнения разделились. Рыцари Зиндрам, Завиша Черный и некоторые другие находили такой образ действий несовместимым с честью польского оружия. Но Владислав все же уполномочил Сокола продолжать переговоры с чехами, согласившись на их условия.

Между тем татары Джелал ад-Дина, по-прежнему находившиеся в войске Витовта, изнывали от безделья и тоже роптали. В то время как польские отряды разъезжали по всей Пруссии, захватывая города и богатую добычу, их держали под стенами Мариенбурга, как им не без основания казалось, именно для того, чтобы этой добычи лишить.

Джелал ад-Дин давно бы уже увел отсюда свои тумены, если бы не нуждался в помощи Витовта для захвата ордынского престола. Волей-неволей надо было терпеть. Но обидевшись на поляков, он в их лагере почти не появлялся и время коротал преимущественно с Арсением, которого приблизил к себе как родича и доблестного воина.

В частых разговорах о текущих событиях, связанных с осадой, у них постепенно зародилась и созрела

смелая мысль: попытаться взять Мариенбург своими силами. У Джелал ад-Дина было около тридцати тысяч воинов, — вполне достаточно для выполнения их плана, который сводился к внезапному ночному штурму. Татары стояли под восточной стеной крепости, на участке самом спокойном, откуда осажденные менее всего могли ожидать нападения, ибо до сих пор все приступы велись на них с юго-западной стороны. Заготовив штурмовые лестницы, шесты и крючья, можно было рассчитывать в темную ночь незаметно взобраться на стену и быстро перебить стражу, которая едва ли окажется многочисленной, а пока к ней подоспеет помощь, наверху будут уже сотни татар.

Когда пришли к этому, Арсений вызвался лично произвести предварительную разведку и вплотную осмотреть стену и ров.

В первую же темную ночь, взяв с собой Гафиза, он благополучно приблизился к самой крепости и спустился на дно рва. Оно оказалось ровным, лишь кое-где поросшим небольшими кустами, но тут внизу было особенно темно и потому, подойдя к стене, Арсений ощупью двинулся вдоль нее, стараясь обнаружить какие-либо трещины или выступы, которые могли бы облегчить подъем.

Вскоре рука его коснулась чего-то мягкого, и он увидел веревочную лестницу, свисавшую с верхушки стены. Это его чрезвычайно удивило и обрадовало. Повинуясь первому побуждению, он уже взялся за нее, чтобы лезть наверх, но сразу сообразил, что сейчас этого нельзя делать: конечно, лестница висит здесь не потому, что ее забыли, — кто-то будет по ней спускаться или уже спустился, и она ждет его возвращения. Арсений не сомневался, что это лазутчик, хотевший что-то высмотреть в их лагере. Прежде всего следовало схватить его, а потому он и Гафиз, прикрывшись вырванными поблизости кустиками затаились у стены и стали ждать.

Не прошло и получаса, как какая-то темная фигура со стороны лагеря спустилась в ров и, подойдя к стене, начала шарить по ней руками, отыскивая лестницу. Но едва она поравнялась с Арсением, последний, стремительно вскочив, схватил ее за горло и повалил на землю. Пленник почти не сопротивлялся. Вытащив кинжал, Арсений отрезал ему полу кафтана и засунул в рот, а затем передал Гафизу с приказанием не спу-

скать с него глаз и зарезать при малейшей попытке двинуться.

Покончив с этим, Арсений подошел к лестнице и стал осторожно подниматься наверх. План дальнейших действий он уже обдумал. Лазутчика, без сомнения, спускали тайно, соблюдая все предосторожности и тишину, — значит на стене поблизости наверное нет никого, кроме одного-двух человек, которые ждут его возвращения и не подозревают, что вместо него поднимается другой. В темноте они не сразу поймут свою ошибку и этим Арсений рассчитывал воспользоваться.

Когда ему оставалось уже немного до гребня стены, сверху послышался тихий голос, сказавший несколько слов на незнакомом языке. Арсений успокоительным тоном буркнул что-то нечленораздельное и продолжал подъем. Несколько секунд спустя, стараясь не показывать своего лица, он уже ступил на стену и метнул быстрый взгляд по сторонам.

Кроме одного человека, стоявшего перед ним, поблизости никого не было видно. Человек этот, подавшись вперед, снова прошептал что-то на чужом языке, который, однако, не был немецким. Вместо ответа Арсений схватил его левой рукой за горло, а правой, выхватив кинжал, нанес ему два удара в грудь.

Сунув труп под стоявшую в двух шагах пушку, он теперь огляделся лучше. Справа от него, шагах в тридцати виднелась массивная башня, из бойниц которой выбивался слабый свет; другая такая же башня стояла чуть дальше слева. На всем пространстве между ними не было видно ни души, — очевидно оно обслуживалось одним часовым, которого он убил, а вся остальная стража находилась в башнях. Поняв, что если кто-нибудь выйдет, его примут за часового, Арсений, не таясь, зашагал по стене, стараясь примечать все, что могло оказаться полезным при штурме.

Тут стояло семь пушек, возле каждой из них бочонок с порохом и груда каменных ядер; кроме того, было два больших котла со смолой и несколько куч камней. Но крючьев и шестов для отпихиванья штурмовых лестниц нигде не было видно, значит, тевтоны с этой стороны приступа не ожидали.

Пройдя два раза все расстояние между башнями и сделав эти наблюдения, Арсений уже думал спускаться, но в этот миг из левой башни вышел человек и направился прямо к нему. Судя по белому плащу, это

был какой-то начальник, очевидно проверявший посты. Вытащив кинжал и держа его за спиной, Арсений спокойным шагом двинулся ему навстречу. Минуту спустя они сошлись вплотную, рыцарь начал было говорить что-то, но едва он успел открыть рот, Арсений схватил его за лицо и проткнул кинжалом.

Теперь на стене задерживаться не следовало, да в этом и не было больше надобности. Спрятав и второго убитого под пушку, чтобы его не обнаружили сразу, Арсений направился к лестнице и благополучно спустился в ров. Наверху все было тихо. Забрав Гафиза и пленника, через полчаса он уже входил в шатер Джелал ад-Дина.

Пленный, которого начали допрашивать, оказался чехом. Он сказал, что ходил в польский лагерь для тайных переговоров о сдаче крепости, которые велись по поручению самого короля.

Не очень веря этому, наутро Джелал ад-Дин все же посвятил в дело Витовта. Последний, поговорив с пленником, отправился вместе с ним к королю.

Узнав о случившемся, Владислав пришел в бешенство. С чехом он уже договорился, — три ночи спустя полякам обещали отворить ворота. Но теперь предатель возвратиться в крепость не мог, и все рушилось, ибо обнаружив на стене двух убитых, висящую лестницу и бегство одного из чехов, рыцари, конечно, заподозрили измену и будут настороже.

— Какой негодяй посмел вмешаться в это дело и перехватить человека, с которым я вел переговоры? — кричал король. — Повесить его сейчас же!

— Это один из военачальников хана Джелала, — не сморгнув глазом ответил Витовт. — За что его вешать? Татары ни о чем не были предупреждены, и если они заметили и схватили неприятельского воина, который ночью пробрался в наш стан, это только показывает их похвальную бдительность.

— А кто позволил этому ослу лезть в крепость и резать там людей? Повесить за самоуправство!

— Его послал хан, который на своем участке имел полное право производить разведку. И если мы тронем этого человека, честно выполнявшего свой воинский долг, татары, конечно, уйдут отсюда, а то еще и немцам помогут.

— Пускай убираются! От них все равно толку мало.

— Хан Джелал ад-Дин мой союзник, — твердо сказал Витовт. — И если он уйдет, потому что будет несправедливо обижен, уйду и я со всем литовским войском. Кстати, я и сам хотел тебя предупредить, светлейший король, что не думаю тут долго оставаться. При нынешнем положении дел продолжать осаду Мариенбурга по-моему бессмысленно. Война складывается не в нашу пользу и чем скорее мы прекратим ее и вступим в переговоры о мире, тем больше спасем из того, что могли бы получить раньше.

— Осада будет продолжаться, — упрямо сказал Владислав. — И если у других не хватит мужества выстоять до конца и до полной победы над врагом, ее завершит доблестное польское войско! А насчет татарина ты прав, черт с ним, оставим его в покое.

После этого осада велась еще две недели. Джелал ад-Дин, до которого дошли слухи о недовольстве короля, обиделся вконец и от своего намерения штурмовать крепость отказался. Он даже не поддержал последнего приступа, предпринятого поляками, который был отбит с жестоким для них уроном.

С каждым днем дела осаждающих шли все хуже. В их лагере свирепствовали болезни, дезертирство приняло массовый характер, а в довершение всего королевская казна совершенно опустела и нечем было платить жалованье войску, вследствие чего наемники стали покидать его. Отовсюду приходили вести о том, что тевтоны получают все новые подкрепления и, отбирая у поляков город за городом, вытесняют их из Пруссии и из Померании. Ободрившийся фон Плауэн тоже возобновил вылазки.

Теперь уже многие польские военачальники и рыцари высказывались за прекращение осады. И, наконец, когда пришел слух о том, что на помощь Ордену выступил сам венгерский король со своим войском[1], Владислав решился: девятнадцатого сентября он приказал снять осаду Мариенбурга и отходить в Польшу, потеряв за эти два месяца едва ли не больше людей, чем в Грюнвальдском сражении и обесценив свою победу. По словам Длугоша, «он возвращался на родину скорее в обличии побежденного, чем победителя». Витовт и татары ушли на неделю раньше.

По пути всем им еще пришлось вести частые и мно-

---

[1] Слух этот оказался неверным.

гда очень упорные бои с тевтонами и их наемниками, которые в тылу у поляков уже успели захватить многие города и замки. Только перед самым Рождеством Владислав пришел в Добжинскую землю и распустил свое измученное и недовольное войско.

Вследствие неумелых действий и постоянной медлительности польского короля, Тевтонский Орден не был уничтожен и почти все плоды Грюнвальдской победы оказались потерянными. Но ее последствия все же были благодетельны не только для Польши, но и для всего славянского мира. Эта победа имела огромное политическое и моральное значение, ибо она навсегда положила конец продвижению немцев на восток, а славянским народам показала, что даже при относительном единении они способны защитить свои земли и свою независимость от любого врага.[1]

Кроме того, страшное поражение, понесенное под Грюнвальдом, навсегда подорвало силы и дух Тевтонского Ордена. И хотя он просуществовал еще довольно долго[2], с этого времени начал хиреть и, проиграв еще несколько войн Литве и Польше, пятьдесят лет спустя вынужден был признать себя вассалом польского короля, которому великий магистр присягал на верность, получая от него утверждение в должности.

Месяца два спустя по окончании военных действий, после долгих переговоров и личной встречи короля Владислава с великим магистром фон Плауэном, в Торуни был подписан мирный договор, который удовлетворил только Витовта, ибо он получил то, ради чего воевал: Орден возвратил ему Жмудь. Кроме того, тевтоны выплатили победителям денежную пеню в размере ста тысяч марок и возвратили Польше Добжинскую область, но Померания и все другие польские земли, захваченные раньше, остались за ними. В Польше условия этого договора вызвали справедливое возмущение.

---

[1] Принято считать, что в Грюнвальдской победе значительная доля участия и славы принадлежит и чехам. Документальные данные говорят скорее об обратном, если не считать несомненной доблести и верности отдельных воинов чехов.

[2] Как самостоятельное государство Тевтонский Орден прекратил свое существование в 1525 году, а окончательно был уничтожен в 1807 году декретом Наполеона.

ГЛАВА XXX

> «Был Арсений Иванович ростом и силою велик, а по доблести из славных славный. И многажды принял он честь от королей и князей великих.
>
> *Из архива князей Карачевских*

После осады тевтонской столицы и многих других боев Арсений со своими людьми в декабре вернулся домой. Долго были они в отсутствии, полгода матери и жены ежедневно возносили и Христу и Аллаху горячие молитвы о спасении жизни ушедших в этот поход. Не все такие молитвы были услышаны: карачевская сотня потеряла в сражениях около сорока человек. Но остальные вернулись целыми, с богатой добычей, и их возвращение было ознаменовано шумными празднествами. Каждому было что порассказать своим родным и друзьям об этой войне, о себе самих и в особенности о сотнике своем Арсении Ивановиче, который столько славных дел совершил и в Грюнвальдской битве, и под Мариенбургом, и еще во многих других сражениях. Подвиги его, постепенно обрастая все большими домыслами и преувеличениями, вскоре приобрели совершенно легендарный характер и в таком виде прочно закрепились в памяти потомства.

С радостью и гордостью встретили Арсения в семье. Его трофеи тоже были велики, хотя и не совсем обычны: золота и серебра тут не было, но он привез с собой четыре пушки и несколько возов всевозможного холодного оружия, луков, арбалетов и доспехов. Оружие было его подлинной страстью, во время похода он приказал своим людям собирать его на полях сражений и сам собирал, выменивал и даже покупал, где только было возможно. Все это сослужило Карачеевке хорошую службу: теперь она могла выдержать даже серьезную осаду и отразить любой татарский набег.

Доспехи Маркварда фон Зальцбаха были собраны в виде цельной фигуры рыцаря и поставлены в углу трапезной. По рисунку и описанию Арсения было точно воспроизведено и взятое им знамя. Навеки сжатое железной рукой тевтонского командора, многим поколениям оно напоминало о славном подвиге их предка, побуждая быть достойными его.

Арсений знал, что так будет, и теперь был спокоен.

* *
*

Вскоре после святок умер князь Хотет. Из Карачеевки все приехали на похороны и тут, узнав, что овдовевшая княгиня Юлиана Ивановна думает переселиться на жительство в Вильну, к своему отцу, Карач-мурза вызвался сопровождать ее. Он и сам давно собирался съездить к Витовту, чтобы просить о расширении своего земельного надела, ибо количество новоселов, оседавших на землях Карачеевки, непрерывно росло. Теперь, вдобавок, следовало выяснить судьбу Карачевского княжения, все законные права на которое после смерти Хотета оставались за Карач-мурзой.

Только после сороковин[1] княгиня собралась в путь, и в Вильну они прибыли в середине марта.

Князь Витовт, недавно возвратившийся в свою столицу после подписания мирного договора с Тевтонским Орденом, был в отличном настроении и Карач-мурзу принял приветливо. Он много лестного сказал об Арсении, коснулся и минувших войн, потом спросил, спокойно ли ныне на Карачевских рубежах и как идет жизнь на Неручи.

Карач-мурза на эти вопросы ответил обстоятельно и в конце добавил, что отведенные ему угодья быстро заселяются, а людей приходит все больше и потому, если великий князь хочет, чтобы народ и впредь оседал на порубежье, — нужны новые земли. О Карачеве он пока речи не заводил, ожидая, что это сделает сам Витовт. И в том не ошибся, ибо последний, действительно, почти сразу заговорил об этом.

— За землями дело не станет, мне нужно, чтобы те места заселялись. Бери там рядом верховья реки Рыбницы, либо вниз по Неручи, сколько будет потребно, — сделаешь опись и грамоту получишь тотчас. Но ныне надобно мне с тобой об ином потолковать, — помолчав, добавил он. — Князь Иван Мстиславич-то умер. Тебе ведомо, что в государстве своем я с уделами стараюсь покончить, прошла уже их пора. Однако удел уделу рознь, — от Карачевского княжества мне никакого беспокойствия нет, и я его покуда хотел оставить, посадивши на княжение тебя либо твоего сына, который,

[1] Сороковины — поминание усопшего в сороковой день после его кончины.

женившись на дочери покойного князя, получил на это двойное право. Но в таком деле короля Владислава обойти никак нельзя, — надобно иметь его дозволение. И я с ним о том говорил, ибо когда подписывали мы с немцами мир в Торуни, уже мне было ведомо о смерти князя Ивана Мстиславича.

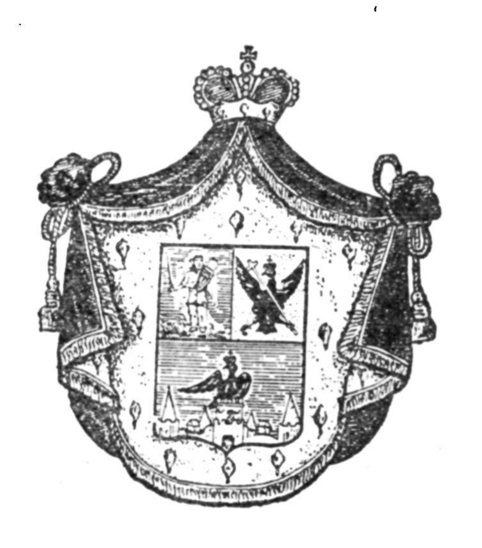
— Так вот, — снова помолчав, продолжал Витовт, — Ягайло, то бишь король Владислав, о том и слышать сперва не хотел. Не зря говорил я тебе в свое время, чтобы ты принимал католичество, — ты меня не послушал, а тут еще твой Арсений короля особо взъярил, сказавши ему при всем народе, что православная вера лучше католической! Король Владислав такого не забывает, и потому он уперся крепко на том, что ни тебе, ни Арсению князем в Карачеве не бывать. Но я стал его уговаривать еще, помянув о праве вашем и о том, что вы люди верные и нужные. Ну, в конце он смягчился и вот его последнее слово: коли ты и сын твой примете католичество, он свое согласие даст.

— Я вижу, что польский король к нам очень милостив, — промолвил Карач-мурза, — и думаю, что Господь воздаст ему должное за дела его и за такое усердие к своей вере. Но и я от своей ради корысти не отступлюсь, а сын мой на это уже сам королю ответил. Тебя же, пресветлый князь, да спасет Христос за ласку твою и за то, что порадел ты о нашем праве и о справедливости.

— Ну, что же, — сказал Витовт, — коли говорить истину, зная тебя, я иного ответа и не ждал. А если так, Карачевскому княжеству отныне не быть, — будет вместо него Карачевский повет. Старостою на нем тебя ставлю, — на это королевского согласия не нужно, — и даю тебе полную власть, но только будешь зваться не князем, а моим наместником. Держи там порядок, ослушникам и смутьянам потачки не давай, а наипаче заселяй рубежи. Край этот обнищал и обезлюдел, надобно снова поднять его и в том на тебя полагаюсь, ибо вижу сколь много преуспел ты на Неручи за короткое время. Коли что будет нужно — скажи, и я помогу. Тебе верю и знаю, что под твоей рукой в Карачевской земле все будет ладно. А когда тебя Бог призовет, если сам буду жив, поставлю на твое место Арсения.

С тем Карач-мурза и уехал. Когда он возвратился домой и рассказал все сыну, тот не удивился и не проявил никаких признаков огорчения.

ГЕРБ КНЯЗЕЙ КАРАЧЕВСКИХ



— Так оно и лучше, отец, — промолвил он, — недостойно было бы нам принимать милости от такого короля. Мы свое и сами возьмем. Придет время — выметем отсюда всех этих чужих королей, рыцарей и иную нечисть. И землю свою русскую устроим как нам любо.

Взяв из рук вошедшей Софьи своего годовалого первенца, Арсений поднес его к железному Маркварду, стоявшему в углу со знаменем Бранденбургского командорства в руке, и, постучав пальцем о латы рыцаря, сказал:

— Гляди, Васюк, какой крепкий дядя, — словно орех! Но ты, когда вырастешь, небось, тоже сумеешь расколоть такой орешек?

И Васюк бодро крикнул: «Угу!» — ибо понимал, что второе известное ему слово, «мама», тут явно не к месту.

ЭПИЛОГ

Через несколько месяцев после Грюнвальдской битвы Джелал ад-Дин при помощи Витовта овладел Крымом, а потом и Сараем. Русские летописцы, неизвестно почему, называют его Зелени-Султаном и пишут, что для Руси это был плохой хан. Вероятно это объясняется тем, что он во всем поддерживал Литву и с интересами Москвы мало считался. С его воцарением Эдигей ушел в Хорезм и там утвердился настолько прочно, что все попытки Джелал ад-Дина изгнать его оттуда успехом не увенчались.

Но и без Эдигея в Орде было немало претендентов на верховную власть, и уже полтора года спустя Джелал ад-Дин был убит своим младшим братом Керимом-Берди. Этот хан благоволил к Москве и считался русским ставленником, — очевидно великий князь Василий Дмитриевич оказал ему какую-то помощь в овладении престолом. Но он царствовал недолго: через пять месяцев его сверг третий брат, Кепек-Берди, которому помогал Витовт. Однако не прошло и года, как он вынужден был уступить престол Чекрихану, ставленнику Эдигея. Несколько месяцев спустя у этого хана отобрал Сарай четвертый тохтамышевич — Кидырь-Берди. Ему удалось продержаться у власти года три-четыре, и он даже успел покончить с Эдигеем, который был убит в 1419 году. Но беспрерывная смена ханов и усобицы продолжались и после его смерти, что через два десятка лет привело к окончательному распаду Орды на отдельные ханства: Казанское, Крымское, Сибирское, Астраханское, Ногайское, Казахское, Узбекское и другие.

Московская Русь до конца княжения Василия Дмитриевича, который умер в 1425 году, продолжала жить относительно спокойной жизнью и с соседями сохраняла мирные отношения, чему, конечно, способствовало то обстоятельство, что все эти соседи хорошо чувствовали ее внутреннюю мощь.

Власть и популярность Витовта после Грюнвальдской битвы сильно окрепли, и следующие двадцать лет были для Литвы периодом наибольшего могущества и расцвета. Витовт поднял благосостояние своей страны на небывалую дотоле высоту и непрерывно расширял ее пределы. Искусно пользуясь царившей в Орде разрухой, он постепенно овладел черноморским побережьем от Днепра до Днестра и поставил там ряд крепостей; путем новой победной войны с Тевтонским Орденом продвинул свои границы и на запад. И, наконец, посредством ловких дипломатических ходов заключив с Москвой, Тверью и Рязанью чрезвычайно выгодные для себя договоры, получил полную свободу действий в отношении Пскова и Новгорода, которые, хотя и не перешли под его прямую власть, в торговом и политическом отношении оказались под его влиянием. Конечно, никто из других литовских князей теперь и думать не мог о каком-либо соперничестве с Витовтом, и даже король Владислав старался не вмешиваться в его дела, понимая, что в польско-литовской унии ведущая роль фактически перешла к Литве.

Годы как будто бы не сказывались на жизнедеятельности Витовта, — бодрость, ясный ум и кипучую энергию он сохранил до конца жизни. Овдовев в шестидесятивосьмилетнем возрасте, он, едва миновал срок траура, женился на своей бывшей воспитаннице, вдове Карачевского князя Юлиане Ивановне, которая была на двадцать пять лет моложе его и еще сохранила свою редкую красоту.

Таким образом, все складывалось для Витовта удачно, Литва под его управлением превратилась в огромное и могущественное государство и теперь ему не хватало только королевской короны, о которой он давно мечтал. Наконец, в 1430 году он добился и этого: император Сигизмунд согласился короновать его и объявить Литву независимым королевством, на что король Владислав вынужден был дать свое согласие, ибо противиться можно было только опираясь на силу, а она была на стороне Витовта.

Итак, сговор состоялся и был назначен день коронации, который Витовт готовился отпраздновать с небывалой пышностью. По его приглашению в Вильну прибыли великие князья Московский, Рязанский и Тверской, гроссмейстеры Тевтонского и Ливонского орденов, татарские ханы, представитель византийского

императора и другие высокопоставленные гости. Приехал и король Владислав, который, несомненно, знал, что произойдет.

А произошло следующее: польская шляхта, отнюдь не желавшая отделения Литвы, перехватила в пути императорского посла с короной, которую он должен был возложить на Витовта.

Коронация была сорвана, вместо нее получился грандиозный скандал. Владислав, делая вид, что возмущен больше всех и лицемерно утешая Витовта, предлагал ему свою корону, от которой последний, разумеется, отказался.

Конечно, все принятые решения оставались в силе, это происшествие вызвало лишь задержку и коронация состоялась бы позже. Но восьмидесятилетний Витовт не выдержал пережитого потрясения, — с ним случился удар и вскоре он умер.

Ягайло-Владислав пережил его на четыре года.

* *
*

Карач-мурза прожил долгую жизнь, и старость его была спокойной, он умер в возрасте восьмидесятипяти лет, почти в одно время с Витовтом. Семейные предания говорят, что после него осталась толстая тетрадь в зеленой сафьяновой обложке, листы которой были исписаны на каком-то незнакомом языке, вероятно, на арабском. Эта тетрадь долго хранилась в роду его потомков, но никто из них не мог ее прочесть и в конце концов она была утеряна.

В истории своей эпохи Карач-мурза оставил заметные следы, — имя его встречается во многих русских и восточных летописях.

Арсений участвовал, после Грюнвальдской битвы, почти во всех дальнейших походах Витовта и трех следующих за ним литовских государей — Свидригайла, Сигизмунда и Казимира, прославив себя новыми подвигами. Сын его и внук были литовскими воеводами, но об их жизни почти не сохранилось сведений, а правнука, воеводу Степана Юрьевича, «за службу его за ратную» уже жалует великий князь Московский и всея Руси Василий Третий, ибо к началу его княжения бывшее Карачевское княжество отошло от Литвы к Москве и стало ее наместничеством.

Князья Хотетовские, уже во втором поколении утратив всякую связь с Карачевом, продолжали служить Московским государям, но боярства не выслужили и высоких постов никто из них не занимал.[1] Последний представитель их рода, князь Анисим Иванович, умер в 1711 году, в должности стольника царя Петра Первого. Единственная пережившая его племянница, *княжна Ксения Гавриловна, вышла замуж за боярина* Колычева.

Возвратимся, однако, к Арсению. Когда и при каких обстоятельствах он умер, — неизвестно. Но о нем сохранилась любопытная легенда:

> За свою воинскую доблесть и прямой, бескорыстный нрав Арсений особенно полюбился небесному покровителю рода, архангелу Михаилу. И однажды, когда стар уже был Арсений и готовился к смерти, явился ему Архангел и сказал:
>
> — Ты прожил славную жизнь и как воин, не знавший страха и ничем не запятнавший ни руки своей, ни совести, достоин награды. Но о душе своей и о будущей жизни ты мало думал, и потому награда тебе будет земная, а не небесная, — так рассудил Господь. Проси, чего хочешь, я исполню твое желание.
>
> И Арсений ответил:
>
> — Истину рек ты, пресветлый Архангел, — не столько я о душе своей пекся, сколько о чести рыцарской да о том, чтобы не осрамить ничем своего славного рода. Сделай же так, чтобы я мог увидеть своими глазами всех предков своих и всех потомков, дабы знать, умирая, занял ли я среди них достойное место.
>
> — Хорошо, — сказал Архангел, — да будет так. Ты не умрешь, доколе не увидишь последнего из своих потомков. И если захочешь, можешь общаться с ними, но жить должен в бедности и в смирении, ни словом ни делом не выдавая, кто ты. Никому из потомков ни в чем не указывай и в судьбы их не мешайся, — ты только зритель. И коли эти мои запреты порушишь, в тот же год умрут все, в ком будет хоть капля твоей крови, и ты сам тоже. Раз в сто лет, в ночь, которую те-

[1] Лишь один из них имел звание окольничего.

бе укажу, будут к тебе приходить семеро твоих предков, доколе не увидишь и не узнаешь их всех. На эту ночь веление бедности и смирения с тебя снимаю, — можешь принимать гостей как знатный витязь, каким был ты доселе. И о душе своей помни, ибо когда свершится все это, предстанет она перед судом Господним, — добавил Архангел и исчез.

А Арсений вскоре принял схиму и ушел в далекую лесную обитель, где его никто не знал.

Когда родилась эта легенда — трудно сказать. Может быть, только в прошлом столетии, когда появился тот повод к ее созданию, который памятен еще и ныне живущим. А может быть такие поводы бывали и раньше, и легенда насчитывает сотни лет. Никто этого не знает. Наши предки были «ленивы и нелюбопытны», и многие интереснейшие детали прошлого и тайны истории никогда не будут раскрыты только потому, что в свое время никто не проявил к ним должного интереса и знавшие поленились их записать.

Лет сто тому назад в Карачеевку, остатками которой еще владели потомки Карач-мурзы, явился странник, высокий и крепкий старик с белой бородой, которому на вид можно было дать лет восемьдесят. Сказал, что он монах-одиночка и просил дозволения поселиться в лесу, недалеко от усадьбы, где он нашел на берегу реки небольшую пещеру.

Разрешение ему было дано, и старец Амвросий, — так звали отшельника, — прочно обосновался в Карачеевке.

Он расширил свою пещеру, привел ее в жилой вид, соорудил себе стол, скамью и постель, в углу повесил потемневший образ Архангела. Был молчалив и нелюдим, на вопросы о своем прошлом не отвечал. Но по всей округе о нем поползли самые фантастические слухи и толки. Старики из дворни и из окрестных крестьян божились, что его знают. Будто бы, когда были они детьми, уже приходил сюда этот старец, пожил тут какое-то время, а потом исчез. Только звался он тогда не Амвросием, а Арсением, выглядел же как и сейчас — лет на восемьдесят.

Конечно, за полвека можно было забыть черты лица и это был, наверное, другой старик. Но вера в сверхъестественное в людях неистребима, ибо она рас-

ширяет тесные рамки жизни и приобщает к вечности, — с нею краше жить и легче умирать. И народ верил, что это не простой старец и что живет он уже многие сотни лет. Может быть отсюда и родилась легенда, но возможно и обратное: легенда существовала раньше и под нее теперь окрашивали события.

К старцу Амвросию все относились с огромным уважением и приписывали ему всевозможные чудеса, но его суеверно боялись, и без крайней нужды к пещере его никто не приближался. Сам он тоже не любил показываться на людях и в усадьбу, откуда ему посылали все необходимое для жизни, приходил редко, только в тех случаях, когда что-нибудь ему было нужно. При этом он не просил смиренно, а говорил голосом властным, как хозяин, словно и мысли не допускал, что ему могут в чем-либо отказать. И ему не отказывали, тем более что потребности его были очень скромны.

Трудно определить, в какой степени сами хозяева верили в то, что этот старец их отдаленный предок Арсений. Женщины верили. Мужчины стеснялись верить открыто, а в душе, — кто знает? — может быть и допускали такую возможность. Ведь это происходило в прошлом столетии, когда мир чудесного не был окончательно разгромлен. Да многим из тех, кто еще чувствовал свою органическую связь с далеким прошлым, и не хотелось громить его.

Во всяком случае, к Амвросию относились с почтением, а легенду и все, что касалось его жизни в Карачеевке, записали, и это уже само по себе говорит о многом.

Был записан и такой случай: однажды утром хозяин имения, отставной майор и кавалер Василий Павлович, со всей семьей отправился к кому-то из соседей помещиков. Возвратиться он предполагал к вечеру, вместе с этими соседями и потому, уезжая, велел повару Прошке приготовить хороший ужин и ждать гостей.

Все было исполнено. В положенный час ужин был готов, стол накрыт, на него поставлены бутылки с винами, настойки и ендовы с медом. Но уже стемнело, а хозяева не возвращались. Прошка, вместе со своей женой, ключницей Саней, сидели на кухне, сюда же подошел и дворецкий, — все ждали появления господ. Но вместо них пришел старец Амвросий.

— Все, что у вас наготовлено, — сказал он, — не-

сите в мою келью. Да стол там соберите на восемь человек.

— Я тебя, отец Амвросий, воистину как святого уважаю, — ответил озадаченный дворецкий, — и что хошь для тебя готов сделать, но этого не могу. Чай, сам понимаешь, что мне будет, коли вернется барин с гостями, а ужина нет.

— Сегодня не вернется никто, остались ночевать у соседей. Делай, что я тебе велю!

Амвросия так боялись, что перечить ему больше не посмели. В келье накрыли стол, отнесли туда все бутылки и блюда.

— Теперь уходите, — сказал он. — И когда взойдет солнце, не прежде, — придете забрать посуду.

Слуги ушли и долго толковали на кухне об этом удивительном случае и о том, кого бы мог ждать в гости старец? Потом, уже поздно ночью, снедаемые любопытством, которое пересилило страх, они подобрались к пещере Амвросия и, спрятавшись в кустах, стали смотреть и слушать.

Таинственные гости уже были в келье и вели себя шумно: всю ночь оттуда слышались громкие голоса, звон посуды и песни. Говорили и пели, будто, по-русски, но хотя и четко долетали до слуг многие слова, только два оказались им понятными: «архангел» и «воевода». И напевов таких они никогда прежде не слышали.

Перед рассветом огонь в келье погас, но было слышно, как отворилась дверь и вышли несколько человек. С того места, где затаилась ключница, в просвете неба между деревьями были видны промелькнувшие тени, она насчитала их семь. Затем все стихло. Утром, когда дворовые пришли за посудой, Амвросий, стоя на коленях перед ликом Архангела, молился и не обратил на них никакого внимания.

Хозяева, действительно, возвратились только на следующий день после обеда и о заказанном накануне ужине даже не вспомнили. Много позже слуги им поведали о случившемся, причем все трое клялись, что говорят правду.

Говорят, что Амвросий дожил в Карачеевке до революции. В 1918 году имение, в котором хозяева уже давно не жили, было разграблено, усадьба сожжена, управляющий убит. На следующее утро после этого погрома из своей пещеры вышел, с узелком и с посохом в руках, Амвросий.

— Ухожу, — сказал он встретившим его крестьянам. — Но я еще вернусь сюда, когда снова наступит на Руси тишина.

Конечно, все это только «народный эпос». И многие скажут, что тут люди приврали, что слуги, съевши господский ужин, выдумали небылицу, чтобы оправдаться, или что дошлый старик, зная о существовании легенды, ловко ею пользовался.

Что же, — так вероятно и было. Но, все же, спасибо этим вольным или невольным выдумщикам, ибо в том, что они сочинили, заключается неповторимый аромат прошлого. Того прошлого, которое примиряет с настоящим и позволяет с надеждой смотреть в будущее.

И, вопреки разуму, хочется верить в эту легенду и особенно в то, что Арсений еще возвратится...

ОЧЕРКИ

РУСЬ И ТАТАРЫ

Русь пробыла под татарским владычеством 242 года[1]. И этот период ее истории (особенно первые полтораста лет, до победы Дмитрия Донского на Куликовом поле, которая значительно ослабила иго завоевателей и фактически прекратила их вмешательство во внутренние дела страны) ознаменовался чрезвычайно тяжелыми материальными жертвами и полным упадком русской культуры, которая дотоле блестяще развивалась и опережала культуру западноевропейских стран.

Русские летописи изобилуют красочными описаниями разрушений, грабежей, жестокостей и беззаконий, творившихся на Руси татарами. Впрочем, выражение «красочными» тут не вполне подходит: для описания татар и их действий наши летописцы применяли только одну — черную краску и притом очень густую. Ею же, нисколько не смягчая тонов, пользовалась в отношении татар и вся дальнейшая русская литература, а беллетристика в особенности.

Всё это, включая и неизбежные в таких случаях преувеличения, вполне понятно и психологически легко объяснимо: привыкший к победам, великий русский народ, попав под тяжелую пяту завоевателей, разумеется, не мог испытывать к ним ничего кроме ненависти, и в те годы кощунством показалась бы всякая попытка дать беспристрастную оценку национального характера татар и особенностей их правления. Татарин мог быть только «поганым» — диким, коварным, бесчеловечным грабителем и насильником. И подобный образ его, далекий от истины, сделался традиционным в нашей литературе и в представлении русских людей.

А вместе с тем, если взглянуть на дело без предвзятости, следует признать, что кроме отрицательных качеств, татары обладали и многими положительными, и как люди, и как правители. Прежде всего, они отлича-

[1] С 1238 по 1480 год.

лись непревзойденной честностью[1], верностью долгу и дисциплинированностью, и в этом отношении влияние их на русский народ могло быть только хорошим. Иго их было несомненно тяжелым, но помимо всех принесенных им бедствий, косвенно оно оказало Руси и большую услугу: из губившего страну удельного раздробления привело ее к единству, вызванному необходимостью общими силами свергнуть это иго.

Татарские ханы правили твердой рукой и нередко бывали жестоки (хотя ни один из них не может в этом сравниться с Иваном Грозным), но за ничтожными исключениями они отличались справедливостью и если казнили некоторых русских князей, то в большинстве случаев это делалось с достаточным основанием и чаще всего по наветам других русских князей — соперников. В моральном и духовном отношении гнёт их для Руси не был тяжел: на ее исторические традиции и бытовой уклад они не посягали, были абсолютно веротерпимы, к православной Церкви относились с неизменным уважением и оказывали ей всяческое покровительство, о чем красноречиво свидетельствует ряд сохранившихся ханских ярлыков. Чтобы не быть голословным, приведу выдержку из ярлыка великого хана Менгу-Тимура, данного им в 1269 году главе русской Церкви, митрополиту Кириллу:

> «Церковные земли все, — и леса, и воды, огороды, виноградья и сады, зимовища и летовища, — да не занимают онных ни в чем наши баскаки, ни сановные, ни служилые люди, а что было взято, да отдадут немедля и беспосульно. А церковные люди все: мастеры, сокольники, пахари, холопы и слуги, и работницы, и все, кто будут из церковных людей, — никого да не заимают ни во что, ни в работу, ни в сторожу. А попове и чернецы ни дани, ни поплужницы, ни таможницы, ни иного чего не дают, а кто с них возьмет, — баскаци наши, княжьи писцы либо иной кто, — смертию да умрет. А что в законе их, — иконы, книги либо иное что, —того да не емлют, не издерут и не по-

---

[1] Испанский путешественник Педро Тафур в XV веке пишет: «Если на восточных рынках среди рабов продается татарин или татарка, то цена на них в три раза выше, чем на других рабов, ибо с уверенностью можно сказать, что ни один татарин не обманет и не предаст своего господина».

губят. А кто веру их будет хулити, тот человек обвинен будет и умрет».

Все последующие ханы не только подтверждали этот ярлык, но и расширяли права и привилегии русской Церкви. В самом Сарае существовала русская епархия и имелось пять православных храмов.

Что же касается общей жестокости татарских завоевателей на Руси и чинимых ими насилий, то они вовсе не являлись исключением и были вполне нормальными для средневековья. И эти их жестокости во всяком случае уступают тем, которые творили крестоносцы в мусульманских странах или «святая» инквизиция в освобожденной от мавров Испании, где десятками тысяч сжигались на кострах остатки мирного арабского населения [1].

Татары грабили народ, но это делали все другие армии того времени. Подобный грабеж являлся своего рода жалованием для воинов, которые никакого иного вознаграждения за свою службу не получали. При своих походах и набегах татары полоняли русских людей, но отнюдь не в таких количествах, как принято думать, и положение этих невольников в Орде не было особенно тяжелым, — с рабами татары обращались гораздо гуманнее, чем современные им венецианцы, генуэзцы и византийцы.

И русских нравов, как и русского законодательства весь долгий период татарского вкладычества не ожесточил в такой степени, как византийские влияния, которым поддались свергнувший татарское иго государь Иван Третий и его ближайшие преемники.

* *
*

Как в государственной, так и в частной жизни русских и татар постепенно соединяли многие бытовые и кровные связи, оставившие глубокий след в нашей истории.

Десятки русских князей женились на татарских царевнах, многие из них большую часть своей жизни проживали в Сарае, некоторые там рождались и умира-

[1] Только лишь за первые восемь лет своей деятельности в Испании инквизиторы вынесли 15 000 приговоров к сожжению на костре и 90 000 к полной конфискации имущества, то есть более ста тысяч семей обрекли на голодную смерть или в лучшем случае на нищенство.

ли; множество русских купцов и простых людей по тем или иным причинам тоже жили в Орде, нередко достигая там богатства и высокого служебного положения.

В силу различных политических и семейных причин, представители татарской аристократии, уже начиная с княжения Александра Невского, стали в свою очередь выселяться на Русь. Тут они всегда встречали хороший прием, переходили в православие, получали землю и службу, женились на русских боярышнях и, вливаясь в ряды русской знати, преданно служили своему новому Отечеству. Каждый из них приводил с собой десятки и сотни нукеров[1] и слуг, которые тоже быстро растворялись в русской массе, — таким образом смешение русской и татарской крови шло не только в верхних, но и в нижних слоях общества.

По мере развала Орды и усиления Руси такие выезды становились всё более многочисленными, а с падением последних татарских ханств, — Казанского, Астраханского, Сибирского и Ногайского, — они приняли массовый характер и большая часть татарской знати оказалась на службе у московских государей, положив начало множеству княжеских, боярских и дворянских родов, в большинстве которых русский человек, не сведущий в вопросах генеалогии, сегодня даже и не заподозрит татарских корней.

Целые татарские отряды и улусы, переходя на службу к Москве, селились на ее восточных рубежах, защищая их от внешних врагов. Так, например, Касимовское царство, которое великий князь Василий Темный создал в Мещерском крае из покорившихся ему татар, служило Руси надежным заслоном от Казанского ханства, а позже, как сказано в энциклопедии Брокгауза и Ефрона,

> «оно обратилось в место приюта для тех мусульманских выходцев, которые являлись служить русскому правительству и которым всегда покровительствовали русские государи. Здесь эти выходцы, ничем не стесняемые в отправлении своих религиозных обрядов, мало-помалу свыкались с русскими настолько, что и сами обращались в русских людей по религии и по чувствам».

---

[1] Нукер — дружинник.

Существует известная поговорка: «поскреби русского и найдешь татарина». Тут, конечно, подразумевается иное, но в прямом, «биологическом», смысле ее можно признать достаточно обоснованной: в русской крови есть значительная примесь татарской. И это нам отнюдь не пошло в ущерб.

Не занимаясь специально генеалогией, но всесторонне изучая эпоху татарского владычества и интересуясь всей совокупностью русско-татарских связей в прошлом, я встретил и выписал из различных исторических источников и документов 92 княжеских, 50 боярских, 13 графских и более трехсот древних дворянских родов, ведущих свое начало от татарских предков. И если к указанному количеству титулованных родов едва ли можно многое добавить, то не подлежит никакому сомнению, что из губернских родословных книг не трудно было бы извлечь еще несколько сот дворянских фамилий татарского происхождения. Недворянским фамилиям, к сожалению, учет не вёлся, и определить их невозможно, но несомненно они исчисляются многими тысячами.

Все эти многочисленные потомки татарских родоначальников уже во втором-третьем поколении обращались в людей чисто русских по духу и по воспитанию. Они честно и верно служили Отечеству, не только сражались за него в бесчисленных войнах, на всех поприщах мирной жизни, но и дали ему немало выдающихся и даже гениальных людей, прославивших русскую культуру. Приведу лишь самые известные примеры.

В области науки потомками татар были гениальные русские ученые Менделеев, Мечников, Павлов и Тимирязев, историки Кантемир и Карамзин, исследователи севера Челюскин и Чириков. В литературе — Достоевский, Тургенев, Державин, Языков, Денис Давыдов, Загоскин, К. Леонтьев, Огарев, Куприн, Арцыбашев, Замятин, Булгаков и целый ряд других талантливых писателей и поэтов. В области искусства, только в числе самых ярких его светил можно назвать балерин Анну Павлову, Уланову и Спесивцеву, артистов Каратыгина и Ермолову, композиторов Скрябина и Танеева, художника Шишкина и др.

Нет возможности перечислить всё то множество славных военачальников, генералов и адмиралов, которые идут от татарских предков. Назову из них только

двух «больших» воевод Дмитрия Донского — князя Юрия Мещерского и боярина Андрея Серкизова, павших на Куликовом поле; известнейшего сподвижника Петра Великого — генерал-адмирала Ф. М. Апраксина, фельдмаршала С. Ф. Апраксина и героев Отечественной войны — генералов Ермолова и Дохтурова. «Татарами» были известные русские адмиралы Матюшкин, Мордвинов, Епанчин и Бирилев, генералы Жилинский и Щербачев, командующие фронтами на первой мировой войне.

Татары дали России двух царей — Бориса и Федора Годуновых, и пять цариц: Соломонию Сабурову — первую жену Василия Третьего, Елену Глинскую — его вторую жену, Ирину Годунову — жену царя Федора Иоанновича, Наталию Нарышкину — вторую жену Алексея Михайловича и мать Петра Великого, и Марфу Апраксину — жену царя Федора Алексеевича. Евдокия Сабурова была женой царевича Ивана, убитого своим отцом — Иваном Грозным.

Небезынтересно отметить и то, что несколько татар были причислены русской Церковью к лику православных святых. Наиболее известен из них св. Петр Ордынский — племянник хана Батыя, принявший православие, а позже и монашество. Другой татарин — св. Петр мученик Казанский.

Стоит упомянуть и о том, что Батый позволил своему старшему сыну и наследнику — хану Сартаку и его жене принять православие. Этот случай хорошо иллюстрирует татарскую веротерпимость и лишний раз опровергает то совершенно ошибочное, но крепко укоренившееся мнение, что татары были религиозными фанатиками и гонителями христианства. Если бы не ранняя смерть Сартака, отравленного своим соперником, братом Батыя, на престоле великих ханов утвердился бы православный человек.

Из всего этого видно, что наши исторические и даже кровные связи с татарами были гораздо теснее и разностороннее, чем это принято думать.

И если татарское нашествие в свое время принесло Руси много зла и бедствий, то они в какой-то мере искупились богатым наследием, оставленным нам татарами и тем полновесным вкладом, который татарские выходцы и их потомки внесли в дело защиты России и в развитие ее культуры.

КАЗАНСКОЕ ЦАРСТВО

Осенью 1437 года великий хан Золотой Орды Улу-Мухаммед был побежден и изгнан из Сарая своим соперником Кичи-Мухаммедом. С тремя тысячами воинов, которые остались ему верны, он ушел в русские пределы, занял город Белев на берегу Оки и отсюда вступил в переговоры с московским великим князем Василием Васильевичем[1], прося его помощи в борьбе с Кичи-Мухаммедом и обещая за это навсегда освободить Русь от дани и от какого-либо вмешательства татар в ее внутренние дела. На гостеприимство и помощь русского государя он мог рассчитывать, ибо будучи великим ханом, относился к нему по-дружески и неизменно поддерживал в борьбе с соперниками.

Однако Василий Васильевич все его просьбы и мирные предложения отверг. Он потребовал, чтобы татары немедленно ушли из Белева, а когда Улу-Мухаммед этого не исполнил, выслал против него сорокатысячную рать.

Заметим, что такова версия московских летописцев и особенно убедительной ее считать нельзя. Сомнительно, чтобы великий князь без особых причин отказал в прибежище дружественному хану, — в подобных случаях Москва всегда его давала. Трудно поверить и тому, что сорокатысячное войско было им послано против трех тысяч ордынцев, да еще, как мы увидим из дальнейшего, потерпело от этой горсточки татар полное поражение.

Гораздо более правдоподобную трактовку этих событий мы находим в «Сказании о царстве Казанском», которое некоторые историки называют также казанской летописью. Ее автор, русский и видимо широко образованный человек[2], плененный татарами и проживший в Казани 20 лет, несомненно, был лучше осведомлен. Он пишет, что когда Улу-Мухаммед с тремя тысячами своих татар вынужден был бежать на Русь,

> «князь великий повелел принять его с честью, не яко беглеца, а яко царя и дарами его почтиша и друголюбие с ним великое сотвори... И обе-

[1] Василий Второй, позже ослепленный и получивший прозвание Темного.

[2] Почти с полной несомненностью установлено, что это был священник Иван Глазатый.

щание и клятву между собой взяша царь Улуахмед и князь великий Василий Васильевич друг друга ничем озлобити дондеже царь от земли руския не отыдет. И даша князь великий царю в кочевище Белевские земли».

Таким образом, татарский хан был принят на Руси вполне дружественно. Но, согласно тому же «Сказанию», утвердившись в Белеве, он отовсюду начал стягивать туда своих приверженцев, и вскоре у него собралось значительное войско, что и встревожило великого князя. Опасаясь, что эта орда может приступить к захвату смежных русских земель, он потребовал чтобы Улу-Мухаммед очистил Белев, а когда вместо этого хан приказал укрепить город, выслал против него большую рать. Любопытно, что московские летописцы дают ей весьма нелестную оценку, — может быть потому, что возглавлял ее князь Дмитрий Шемяка, впоследствии ослепивший великого князя Василия Васильевича. В Никоновской летописи читаем: «Войско тое, идучи к Белеву, всё пограбиша у своего же православного христианства и мучаху людей из добытка, и животину биюще и неподобные дела деяху».

У хана Улу-Мухаммеда было уже, конечно, не три тысячи войска, а гораздо больше, но все же силы были неравны и потому он всячески старался поладить миром, особенно после того, как в первом столкновении русские одержали верх. Но когда все его предложения были Шемякой отвергнуты, татары вышли из города и вступили в битву. Они сражались с силою отчаянья и, как повествует та же Никоновская летопись, «за множество согрешений наших попустил Господь худому и малому неверных войску одолети многое воинство православное». Иными словами, русская рать потерпела полное поражение и отступила, но Улу-Мухаммед не стал ее преследовать, а ушел на Волгу, где в следующем году[1] захватил город Казань, принадлежавший татарскому князю Али-бею[2], вассалу Золотой Орды, и тут объявил себя независимым ханом. Этим и было положено начало Казанскому царству.

Существует ошибочное, но довольно распространен-

---

[1] По некоторым, не вполне достоверным данным, Улу-Мухамед провел год или даже больше в захваченном по пути Нижнем Новгороде и только после этого ушел в Казань.

[2] По русским летописям князь Либей.

ное мнение, что и самый город Казань основал Улу-Мухаммед на месте разрушенного Тимуром Великого Булгара[1]. В действительности Казань расположена на 150 километров выше по Волге и основана она была гораздо раньше.

В связи с этим, автор «Сказания» приводит следующую легенду: в 1177 году пришел сюда с Камы, из города Бряхова, болгарский царь Саин. Место ему очень понравилось, но тут обитали громадные змеи, царь которых имел две головы, — одна из них пожирала людей и скот, а другая сады и посевы. Однако нашелся колдун, который сумел истребить змеев, после чего царь Саин основал город Казань и перенес в него свою столицу из Бряхова.

Менее фантастическая версия гласит, что Казань была основана во времена хана Батыя его сыном Сартаком. Это находит косвенное подтверждение и в приведенной выше легенде: никакого болгарского царя Саина история не знает, но «Саин», что означает «доблестный», — это один из титулов Батыя. Восточные историки очень часто называют его Саин-ханом.

Вначале этот город заметной роли не играл, и русские летописи начинают упоминать о нем только с 1376 года. Но после нашествия Тимура сюда хлынуло множество беглецов из разрушенного им Булгара[2], и Казань быстро приобрела первенствующее значение на территории бывшей Волжской Болгарии.

Этот город историки называют Старой Казанью. Он был плохо укреплен и неблагоустроен, а потому Улу-Мухаммед рядом с ним выстроил Новую Казань, которая и сделалась столицей его царства. Впрочем, есть сведения, что и Новую Казань основал еще в 1402 году татарский князь Алтын-бек, а Улу-Мухаммед только расширил ее и превратил в сильную крепость.

Казанский кремль (то есть укрепленная часть города) занимал площадь около четырнадцати гектаров и был окружен рвом и мощной стеной из заполненных землей бревенчатых срубов. При общем протяжении около пяти километров эта стена имела десять ворот и ряд деревянных башен. Вокруг кремля вскоре выроc-

---

[1] В 1395 году Тимур разрушил Великий Булгар до основания и эта столица древней Волжской Болгарии перестала существовать.

[2] Беглецами из Великого Булгара в эти годы поблизости был основан и ряд других городов: Лаишев, Мамадыш, Тетюш, Аджал, Акал, Тарнат, Богай, Шердан и др.

ли обширные посады. В 1555 году, после взятия Казани русскими, ее старые стены были заменены каменными.

Точно определить границы Казанского царства не представляется возможным, но площадь его значительно превышала территорию Волжской Болгарии и по приблизительному подсчету была близка к 700 000 квадратных километров. Занимая среднее течение Волги и почти весь бассейн реки Камы, на севере оно граничило с Вятской и Пермской землей, на востоке доходило до Уральского хребта, на юге соприкасалось с Ногаями и с Большой Ордой, а на западе, с русской стороны, граница его шла по рекам Ветлуге и Цне, в промежутке проходя вблизи городов Курмыша, Мурома и Касимова. Таким образом, Казанское царство включило, помимо Болгарии, земли вотяков, черемисов, башкиров, чувашей, частично мордвы и мещеры. Всё это отразилось и на языке казанских татар: тут к его кипчакской основе[1] примешалось много тюрко-болгарских и чувашских элементов.

Неисчислимые богатства края, судоходные реки и выгодное местоположение Казани превратили ее в крупнейший торговый центр и потому, когда Улу-Мухаммед стал отовсюду призывать татар в основанное им государство, обещая новосёлам всяческие льготы, сюда двинулось множество народа из Большой Орды, из Крыма и из других татарских ханств, благодаря чему Казанское царство очень быстро заселилось и окрепло. Подвластных им народов — черемисов, башкиров, чувашей и других — татары не притесняли и потому никаких мятежей и восстаний против них тут не было. Наоборот, все эти народы, по-видимому, были довольны порядком, который установили казанские цари, и поддерживали их в борьбе с внешними врагами.

По своей внутренней организации Казанское царство в общих чертах строилось на тех же основах, что и Золотая Орда, но имело некоторые отличительные особенности, в частности, оно было более аристократическим. Знать тут играла видную роль и была много сильнее, чем в Золотой Орде, где великий хан был са-

---

[1] Монголы Чингиз-хана, овладев кипчакскими степями и смешавшись с кипчаками (половцами) очень скоро усвоили их язык, который с той поры и считается татарским.

мовластен и, как правило, не считался ни с кем. В Казани мы видим иное: тут аристократическое сословие, в лице своих высших представителей, составляло нечто похожее на русскую боярскую думу и принимало прямое участие в управлении государством.

Четырем знатнейшим родам — Ширин, Баргин, Аргын и Кипчак — принадлежал особый титул **карачи**, который русские летописи переводят как «князь князей»[1]. Они по положению были ближайшими советниками и фактически соправителями царя. В каждом роду карачи должность эта была наследственной. Большинство других высоких государственных должностей также было закреплено за теми или иными знатными семьями и вместе с титулом переходили к старшему в роду.

Младшее дворянство, так называемые уланы, составляли царскую гвардию и занимали второстепенные командные посты в войске, — это был военно-служилый класс, по положению совершенно схожий с «боярскими детьми» на Руси.

Таким образом, в Казанском царстве аристократия, наследственно занимая крупнейшие посты в государственном аппарате, в войске и в управлении отдельными областями страны, была настолько сильна, что царю приходилось с ней серьезно считаться. И если при Улу-Мухаммеде она еще не вполне осознала свою силу, то при его преемниках фактически уже распоряжалась престолом и не раз случалось, что она сгоняла неугодного ей царя и ставила по своему выбору другого.

Духовенство в Казани тоже обладало несравненно большим весом, чем в Золотой Орде. Там ему оказывали внешнее уважение, и только, но великий хан и даже его вельможи почитались неизмеримо выше, и никакого влияния на государственные дела оно не имело. В Казанском же царстве духовный глава «сеинд»[2] был окружен чисто патриаршим почетом и играл очень важную роль в делах правления. Царь не мог пренебрегать его мнениями, а иной раз и прямыми указаниями, даже публично оказывал ему знаки самого высокого ува-

---

[1] Этот титул носил только старший в каждом роду, также как и титулы беков, то есть обыкновенных князей. Младшие члены титулованных фамилий именовались мурзами.

[2] Само это название показывает, что главой казанской церкви мог быть только потомок Магомета, то есть высочайший представитель мусульманской знати, носивший титул сейида.

жения, вплоть до того, что пешим выходил встречать едущего на коне сейида. В дипломатической переписке и в государственных актах имя сейида ставилось выше царского.

Все эти особенности внутренней структуры Казанского царства говорят о том, что близкое соседство с Русью оказало на него заметное влияние и привело к известным заимствованиям: в отличие от Золотой Орды, казанский диван приобретает характер, схожий с русской боярской думой, сильно возрастает значение Церкви, а ее глава сейид по своему положению уподобляется патриарху.

* *
*

В области внешней политики Казань была государством явно агрессивным, особенно в отношении Руси. Уже через год после прихода на Волгу Улу-Мухаммед напал на Русь, подступил к Москве, одиннадцать дней осаждал ее, но взять не смог и отошел, разграбив по пути Коломну и некоторые другие русские города. В 1444 году он совершил набег на Нижегородское и Рязанское княжества, а в следующем предпринял большой поход на Русь, разбил русское войско под Суздалем и захватил в плен самого великого князя Василия Васильевича.

Как обращались татары с этим пленником, можно судить по следующей выдержке из «Сказания о царстве Казанском»: «Держа его царь не в темнице, но посаждаху его с собою ясти за единою трапезой и не скверниша его поганым своим ядением и питием, а кормяще его ядением чистым руским». Отпустили великого князя на слово, три месяца спустя, обязав заплатить огромный по тем временам выкуп в сто, а по некоторым летописям даже двести тысяч рублей[1]. Кроме того, ему были навязаны и какие-то другие условия, видимо не очень лестные для русского самолюбия, ибо наши летописи о них умалчивают, только лишь в новгородской имеется на это общий намек.

Вероятно, одним из таких условий была передача Мещерского края царевичу Касиму, младшему сыну Улу-Мухаммеда, который приехал из Казани одновре-

[1] Реальная ценность одного рубля того времени равна приблизительно ста рублям начала нашего века.

менно с освобожденным великим князем. Официальная русская история гласит, что Касим получил Мещеру и позволение основать там, под протекторатом Руси, так называемое Касимовское царство только в 1452 году.

Но этому явно противоречат две сохранившиеся договорные грамоты между московским, суздальским и рязанскими князьями, из которых явствует, что Мещерский край был отдан Касиму за шесть лет до этого, то есть сразу же после пленения великого князя Василия. Очевидно, это было сделано по требованию Улу-Мухаммеда, а сближение царевича Касима с Василием Васильевичем произошло позже, под влиянием событий, случившихся в Казанском царстве в конце 1445 года: Улу-Мухаммед был убит своим старшим сыном Махмутеком, который и воцарился в Казани. Касим с братом был во вражде и предпочел служить московскому государю, в результате чего в Мещере и оформилось Касимовское царство. Возможно, что это случилось именно в 1452 году, но несомненно и то, что Мещера в течение шести предшествовавших лет уже была удельным владением царевича Касима.

* *
*

Казань продолжала свои нападения и стала постоянной угрозой для Руси и, кроме того, почти полностью парализовала ее торговлю с восточными странами, ибо казанцы сделались хозяевами на Волге, которая служила главным путем товарообмена с Востоком.

Царь Махмутек умер в 1464 году и ему наследовал его старший сын Халил. Он царствовал всего три года, затем на престол вступил его брат Ибрагим. Но положение этого нового царя было непрочным: большая часть казанской знати его не любила и предпочитала видеть на троне его дядю Касима (царя касимовского), который к этому времени уже обратился в верного слугу московского государя.

Великий князь Иван Третий — сын и преемник умершего Василия Васильевича — был рад возможности возвести на казанский престол своего ставленника и потому вскоре объявил Ибрагиму войну. Она длилась два года и сопровождалась исключительными жестокостями с обеих сторон. Вначале перевес был на стороне казанцев, которым удалось захватить Вятку и некоторые другие русские города и области, но все

же дело кончилось тем, что московское войско осадило Казань, выжгло ее посады и Ибрагим вынужден был сложить оружие. По мирному договору казанский престол оставался за ним, но он должен был заплатить большой откуп, возвратить захваченные русские земли, отпустить всех пленников и рабов христиан, находившихся в его царстве, и дать клятву никогда больше не посягать на Русь. Однако девять лет спустя Ибрагим это последнее условие нарушил и совершил нападение на Вятку, следствием чего была новая война, опять неудачная для татар.

Когда умер царь Ибрагим — в точности неизвестно, но случилось это в начале восьмидесятых годов. Среди казанской знати началась распря: одни хотели возвести на престол Али-хана[1], старшего сына Ибрагима, другие стояли за его второго сына Магмет-Амина. При помощи Ногайской Орды воцарился Али-хан, а Магмет-Амин бежал на Русь, где Иван Третий, дальновидный политик, не терявший надежды посадить в Казани своего ставленника, принял его ласково и дал ему в удел город Каширу.

В 1487 году, воспользовавшись тем, что в Казанском царстве начались какие-то внутренние неурядицы, великий князь Иван Васильевич двинул туда свое войско, которое подступило к Казани и после трехнедельной осады вынудило Али-хана выйти из города и сдаться. Со всей своей семьей он был отправлен на жительство в Вологду, а на казанский престол сел Магмет-Амин, фактически ставший вассалом Москвы. Он был во всем покорен Ивану Васильевичу, платил ему подати и даже, собираясь жениться на ногайской княжне, испрашивал его согласия на этот брак.

Несколько лет внешне всё было спокойно. Но в среде казанской знати нарастало недовольство новым царем, и главная тому причина была не в прорусской политике Магмет-Амина, а в его излишнем женолюбии. Он был чрезвычайно падок на красивых женщин, и если ему нравилась жена, сестра или дочь какого-либо вельможи, не стеснялся в средствах для достижения своей цели. Как следствие этого, против него составилась сильная партия, которая вошла в сношения с сибирским ханом Мамуком и предложила ему казанский престол.

---

[1] По русским летописям Алегам.

В 1496 году Мамук подступил к Казани, но был отогнан русским отрядом, пришедшим на помощь Магмет-Амину. Но едва этот отряд возвратился в Москву, хан Мамук, которому оказали помощь ногайцы, ворвался в Казань и был провозглашен царем, а Магмет-Амин со своей семьей успел бежать на Русь.

Однако Мамук с казанской аристократией не ужился, — здешние нравы и порядки были ему совершенно чужды. В Сибири он привык видеть иное, там все раболепствовали перед ханом и никто не дерзал вмешиваться в его распоряжения. С казанским диваном он совершенно не считался, а со строптивыми расправлялся круто, не пощадил даже тех князей, которые больше всего способствовали его воцарению в Казани.

Всё это кончилось для него скверно: однажды с небольшим войском он выступил в какой-то поход, а когда возвратился, перед ним заперли ворота кремля и в Казань его больше не пустили. Еще раньше того казанский диван отправил в Москву послов с покаянием и просил великого князя снова прислать им царя, но не Магмет-Амина, а его младшего брата Абдул-Летифа, который тоже жил на Руси.

Иван Третий согласился. Из Москвы в Казань отправился сильный отряд под начальством князей Семена Холмского и Федора Палецкого. Они прогнали стоявшего под городом Мамука, посадили на царство Абдул-Летифа и привели к присяге казанских вельмож и военачальников. Магмет-Амину, который остался на Руси, в утешение добавили к Кашире Серпухов и Хатунь.

Абдул-Летиф царствовал около трех лет. Казанская знать с ним тоже не ладила и всячески старалась очернить перед великим князем, обвиняя в различных злоупотреблениях и в тайных переговорах с врагами Москвы. Очевидно, какая-то доля истины в этом была, так как в 1502 году Иван Васильевич отправил в Казань воевод князя Ивана Звенигородского-Ноздреватого и Василия Телешова с приказанием арестовать царя Абдул-Летифа и привезти его в Москву. Это было исполнено в точности. Летифа сослали на Белоозеро, а на Казанский престол Иван Третий снова посадил Магмет-Амина.

Этот царь, уже хорошо знакомый с политической атмосферой Казани, быстро и круто расправился со

всеми главными интриганами и на некоторое время наступило внутреннее и внешнее затишье.

Магмет-Амин, с разрешения великого князя, вскоре женился на вдове своего старшего брата Али-хана, которая проживала в Вологде. Эта ногайская царевна, разумеется, не могла питать светлых чувств к московскому государю, который лишил престола ее первого мужа и много лет продержал всю его семью в вологодской ссылке. Она начала уговаривать Магмет-Амина выйти из подчинения Москве и в конце концов в этом преуспела.

В 1505 году, придравшись к тому, что великий князь оставил без внимания какую-то его жалобу, Магмет-Амин приказал перебить в Казани русских послов и купцов, а затем двинул свое войско на Русь, осадил Нижний Новгород, выжег и ограбил его окрестности, но самого города взять не смог и отошел. В это самое время в Москве умер великий князь Иван Васильевич и потому немедленных репрессий со стороны русских не последовало.

Но уже в следующем году новый московский государь Василий Третий выступил в поход на Казань, однако потерпел в своих действиях полную неудачу. Весной 1507 года он собрал большое войско и приготовился к новому походу, но узнав об этом, Магмет-Амин запросил мира, соглашаясь возвратиться к прежнему положению фактической подчиненности Москве. Великий князь Василий Иванович это предложение принял и в течение следующих четырнадцати лет отношения между Казанским царством и Русью были вполне мирными.

Магмет-Амин умер в 1518 году, а его брат Абдул-Летиф годом раньше. На них пресеклась династия Улу-Мухаммеда и перед смертью Магмет-Амин просил великого князя Василия Третьего назначить ему преемника по своему собственному усмотрению.

* *
*

Но если до этой поры в русско-казанские отношения никто посторонний не вмешивался и они развивались более или менее по-домашнему, то после смерти Магмет-Амина их значительно осложнили внешние политические влияния, направляемые Турцией.

Как известно, до захвата Багдада монголами верховным главой и повелителем всех мусульман считался багдадский халиф из династии Аббаса. После этого светскую власть халифы аббасиды утратили, но духовную сохраняли до 1517 года, когда турецкий султан Селим Первый заставил последнего из них, Мотоваккиля Третьего, отречься от халифского звания в свою пользу. Это по духовной линии подчинило ему всех мусульманских монархов, а крымский хан и в политическом отношении был уже вассалом. Стремясь поставить в прямую зависимость от Турции и Казань, султаны Селим Первый и его преемник Сулейман Второй стали побуждать крымского и ногайского ханов к открытому вмешательству в русско-казанские дела и натравливать их на Москву.

После смерти Магмет-Амина великий князь Василий Иванович посадил на царство в Казани астраханского царевича Шаха-Али[1], который перед этим был царем касимовским и человеком, вполне преданным московскому государю. Но в дело сейчас же вмешался крымский хан Магомет-Гирей, подстрекаемый Турцией. Он стал возбуждать казанскую знать против русского ставленника и сумел создать в Казани очень сильную антирусскую партию, чему способствовало и то, что Шах-Али нравом был довольно крут и своим вельможам воли не давал.

Составился хорошо согласованный с Крымом заговор, который вполне созрел к 1521 году. Под Казанью внезапно появился сильный отряд крымских татар, возглавляемый братом хана Сахиб-Гиреем. Одновременно в городе вспыхнул мятеж, Шах-Али был свергнут с престола и отослан в Москву, а казанским царем провозгласили Сахиб-Гирея.

Этот последний, едва утвердившись в Казани, вторгся с войском в русские пределы, опустошил суздальские и владимирские земли, а его брат, крымский хан Магомет-Гирей одновременно напал на Русь с юга и дошел почти до самой Москвы, грабя и разоряя всё на своем пути. Следующей весной он совершил новый опустошительный поход и захватил Астрахань, а Сахиб-Гирей, получив известие о таких успехах брата, приказал перебить в Казани всех русских, в том числе и московского посла боярина Василия Юрьева.

[1] По русским летописям Шиг-Алей.

Таким образом, цели Турции казались почти полностью достигнутыми. Но год спустя положение резко изменилось: крымское войско потерпело жестокое поражение от внезапно напавшей ногайской орды и сам хан Магомет-Гирей был при этом убит. Избавившись от угрозы со стороны Крыма, русские сейчас же захватили смежные казанские окраины и тут, в устье реки Суры, поставили крепость Васильсурск, ставшую мощным опорным пунктом для действий против Казани.

В следующем, 1524 году сильное руское войско осадило Казань. Незадолго до этого Сахиб-Гирей уехал в Крым, где ему вскоре удалось овладеть ханским престолом, а в городе оставался его тринадцатилетний сын Сафа-Гирей. Не надеясь выдержать осаду, казанцы запросили мира, обещая московскому государю свою покорность, но просили утвердить у них на царстве юного Сафа-Гирея, — казанские вельможи не сомневались, что он будет простой марионеткой в их руках. Великий князь на это согласился и был заключен мир, который ничем не нарушался в течение следующих пяти лет.

В Казани продолжала верховодить крымская партия, но сильна была и русская, которая держала Василия Третьего в курсе происходящих событий. В 1529 году, видя, что эти события принимают тревожный оборот, великий князь предложил Сафа-Гирею и его вельможам принести клятву верности. Молодой царь согласился, но когда в Казань прибыл русский посол, чтобы принять эту клятву, жестоко оскорбил его. Как следствие этого, вспыхнула новая война, которая кончилась победой русских и изгнанием Сафа-Гирея. На его место Василий Иванович хотел снова посадить Шаха-Али, но казанцы упросили дать им в цари его младшего брата Джан-Али [1], который и воцарился в Казани.

Следующие пять лет прошли мирно и тихо. Джан-Али обладал мягким характером, по-видимому не очень утеснял казанскую знать и во всем был покорен Москве, — в дипломатической переписке великий князь называет его «братом нашим и сыном».

Но крымско-турецкая партия в Казани отнюдь не считала свое дело проигранным и деятельно готовилась к реваншу. В 1535 году вспыхнуло новое восстание, царь Джан-Али был убит, и при помощи своего отца

---

[1] По русским летописям Еналей.

Сахиб-Гирея на казанский престол возвратился Сафа-Гирей. Понимая, что предстоит трудная борьба с Русью, он сразу сделал всё возможное, чтобы обеспечить себе помощь Ногайской Орды, и с этой целью женился на Суюн-беки[1] — дочери повелителя ногаев, князя Юсуфа[2].

Москва, где за малолетнего Ивана Грозного правила в ту пору его мать, великая княгиня Елена (Глинская), с таким положением примириться, конечно, не могла. Тут было решено снова посадить на царство в Казани Шаха-Али, и с этой целью в следующем году русские предприняли поход, но он успехом не увенчался и существующего положения не изменил.

Три года спустя Сафа-Гирей, побуждаемый крымским ханом, выступил против Руси, но поход его закончился полной неудачей и едва не стоил ему престола, ибо в Казани против него подняла восстание прорусская партия. Озлобившийся Сафа-Гирей начал жестоко расправляться с неугодными ему вельможами, и это привело к тому, что в 1546 году его согнали с престола и при помощи Москвы в Казани снова воцарился Шах-Али.

Но его правление на этот раз длилось очень недолго. Вся казанская знать, включая и сторонников Руси, Шаха-Али терпеть не могла, против него сразу же составился заговор, и через три меясца его положение сделалось настолько опасным, что он тайно бежал в Москву, после чего в Казань возвратился Сафа-Гирей. Русские ответили на это новым походом и опустошили окраины Казанского царства, но престол Сафа-Гирей удержал. Он умер три года спустя и в 1549 году царем был провозглашен его двухлетний сын Утемиш-Гирей, при регентстве матери, Суюн-беки.

Но фактически править стала не она, а крымский царевич Кучук-оглан[3], приехавший в Казань с двадцатитысячным отрядом крымских и ногайских татар. Этот царевич, «муж зело величав и свиреп», как аттестуют его русские летописи, по-видимому стал любовником Суюн-беки, но планы его простирались гораздо дальше: он рассчитывал жениться на ней и провозгласить себя казанским царем.

[1] По русским летописям Сюнбека.

[2] Юсуф был правнуком знаменитого эмира Эдигея и родоначальником русских князей Юсуповых.

[3] По русским летописям Кощак.

Казань наводнилась крымскими вельможами, хан, побуждаемый турками, требовал от Кучук-оглана решительных действий против Руси. Турция со своей стороны оказывала ему дипломатическую поддержку, делая всё возможное, чтобы вовлечь ногайцев в борьбу с «неверными». Зная об этом, московское правительство тоже отправило в Ногайскую Орду своего посла Петра Тургенева, с миссией обратного характера, но она успехом не увенчалась и русский посол, по словам летописца, «претерпел в ногаях поругание великое от Юсупа князя, Сюньбекина отца».

Таким образом, всё складывалось благоприятно для Кучук-оглана, и он хотел сразу же выступить в поход, но казанские вельможи, уже не раз испытавшие силу Москвы, уговорили его повременить и лучше подготовиться к войне. Воспользовавшись этим, Иван Грозный сам пошел на Казань, но сильные дожди и распутица помешали развитию военных действий.

Весной следующего года русское войско подошло к Казани осаждало ее около двух недель, но взять не смогло. После этого русские с необыкновенной быстротой (в течение всего лишь месяца) в устье реки Свияги, в тридцати восьми верстах от Казани выстроили крепость Свияжск и, опираясь на нее, без особого труда овладели землями чувашей, черемисов и мордвы, а народы эти привели к присяге на верность московскому царю.

Положение Казани становилось настолько угрожающим, что она поспешила заключить мир, согласившись принять царем Шаха-Али и отпустить всех русских пленников, захваченных в предыдущих войнах и набегах.

Кучук-оглан из города бежал, но за ним погнался воевода Иван Шереметьев и захватил в плен. Его привезли в Москву, где Иван Грозный предложил ему креститься и перейти на русскую службу. Служить Кучук соглашался, но вере своей изменить не пожелал, тогда Грозный приказал его и всех взятых с ним татар вывести в поле и перебить дубинами. Жену Кучука и двух его детей окрестили насильно и после этого приютили при московском дворе.

Всеми нелюбимого Шаха-Али казанцы приняли очень неохотно, надеясь, что эта уступка побудит русского царя возвратить захваченные области и уйти из Свияжска. Но Иван Грозный возвратить ничего не пожелал,

а в Свияжске оставил очень сильный гарнизон. В Казани, при Шахе-Али, тоже находился отряд русских стрельцов.

В связи с этим, в городе нарастало недовольство, которое усиленно разжигали сторонники Крыма и Турции. Шах-Али подавлял эти брожения с нарастающей жестокостью, вплоть до того, что устроил во дворце празднество, во время которого приказал перебить несколько сот человек из числа враждебной ему знати. Многие из уцелевших поспешили после этого бежать в Крым и в Ногайскую Орду.

Видя, что положение до крайности обострилось, наиболее благоразумные вельможи, в надежде примирить интересы московской и крымской партий, предложили Шаху-Али жениться на Суюн-беки, которая, вместе со своим малолетним сыном Утемиш-Гиреем, оставалась в Казани и по существу была центральной фигурой в лагере, враждебном Москве. Такой проект одобрили и русский царь, и ногайский князь Юсуф, отец Суюн-беки.

Разумеется, этот брак мог принести лишь кратковременное успокоение, ибо основной проблемы он не разрешал и прочного мира не обеспечивал: за спиной Суюн-беки стоял крымский хан Девлет-Гирей, которого усиленно науськивал на Русь его фактический повелитель, турецкий султан Сулейман Второй. Было совершенно очевидно, что никакие брачные связи между пешками этой большой политической игры положения не изменят и не остановят агрессивных намерений Турции.

Сам Шах-Али, — по мнению историков человек далеко не глупый, — понимал это лучше всех. Конечно, сознавал он и то, что как супруг, будучи стариком и обладая безобразной наружностью, ничего кроме отвращения внушить красавице Суюн-беки не сможет. Иными словами, ему было ясно, что выйдя за него замуж, она своих политических интриг не прекратит и, как только позволят обстоятельства, постарается от него отделаться и править одна, от имени своего сына.

Однако на этот брак он согласился, в расчете на временное успокоение, которое было ему необходимо, чтобы укрепить свои позиции в Казани. По тем же соображениям согласилась на него и Суюн-беки, которая вела тайные переговоры с Крымом и с Ногайской Ор-

дой и тоже нуждалась во времени, чтобы подготовиться к решительным действиям.

После того как было объявлено о предстоящей свадьбе, в Казани на короткое время наступило внешнее затишье. О том, что произошло дальше, казанский летописец сообщает следующее: Суюн-беки, по обычаю, послала в подарок своему жениху сшитую ею рубаху и какое-то традиционное кушанье, тоже ее собственного изготовления. Шах-Али заподозрил неладное и велел надеть эту рубаху на приговоренного к смерти преступника, — тот сразу же умер; кушанье дали попробовать собаке, и ее постигла та же участь. Царь обвинил Суюнбеки в попытке отравить его и приказал выслать вместе с сыном в Москву.

Трудно сомневаться, что если Суюн-беки и собиралась устранить Шаха-Али, столь поспешно и таким примитивным образом она не стала бы действовать. Обвинение было явно неправдоподобным, и дело вероятно объяснялось проще: Шаху-Али стало известно, что ее партия в ближайшее время готовится нанести ему какой-то удар, и он поспешил предупредить его, отправив Суюн-беки в надежное место. Кроме того, этот случай он использовал как повод для расправы с ее сторонниками, среди которых находился и сам казанский сейид. Шах-Али приказал отрубить ему голову.

Суюн-беки такой быстроты действий со стороны Шаха-Али не ожидала, но все же еще не считала свое дело проигранным. Так как вопрос о ее отправке в Москву нужно было согласовать с Иваном Грозным, она успела послать гонцов к своему отцу и к турецкому послу в Ногаях, извещая их о случившемся, и надеялась, что на выручку подоспеет ногайская орда. Поэтому, когда в Казань прибыл русский воевода, князь Василий Серебряный-Оболенский, с наказом немедленно везти ее в Москву, она, симулируя болезнь и отчаяние, всячески старалась затянуть отъезд.

Ее обмороки, слезы и мольбы предоставить ей время, чтобы должным образом проститься с прахом покойного мужа Сафа-Гирея, растрогали князя Серебряного и он, несмотря на протесты Шаха-Али, дал ей отсрочку на десять дней. Но всё это оказалось напрасным, — ногайцы на помощь не пришли: зная силу Москвы, они отказались от вооруженного вмешательства в русско-казанские дела, как ни настаивал на этом турецкий посол.

Суюн-беки пришлось отправиться в Москву. Везли ее с подобающим почетом и по пути князь Серебряный, видимо не оставшийся равнодушным к ее красоте, оказывал ей всяческие знаки внимания и уверял, что в Москве ее ждут ласковый прием и богатые милости русского царя. Действительно, Грозный принял ее хорошо и ничем попрекать не стал, но это отношение сменилось опалой, когда она решительно отказалась принять православие. Ее сына Утемиша крестили насильно, с именем Александра, и после этого он прожил на Руси много лет

О дальнейшей судьбе Суюн-беки мы узнаём из казанской летописи: год спустя после взятия Казани русскими войсками она все-таки стала женой Шаха-Али, который возвратился на царство в Касимове. Летописец добавляет, что муж с нею не жил и держал ее в заточении. Надо полагать, что Грозный отдал ее Шаху-Али насильно, а последний свел с нею старые счеты.

Память о Суюн-беки и до сих пор жива у казанских татар, особенно у националистов, и с ее именем у них связывается много легенд и мифов. В казанском кремле была башня, названная ее именем. Одна из легенд гласит, что Суюн-беки, держа на руках маленького сына, бросилась с этой башни и разбилась насмерть, когда царский воевода хотел везти ее в Москву. Согласно другому варианту этой легенды, она таким образом покончила с собой в Москве, когда царь Иван Грозный стал принуждать ее к крещению.

* * *

Все вышеописанные события создали в Казани такую обстановку, что Шаху-Али пришлось покинуть престол и бежать в Свияжск. Стремление избавиться от него объединило всех казанских вельмож, но достигнув этого, большинство из них все же не хотело ссориться с русским царем и, желая положить конец неурядицам, отправило к нему послов с просьбой принять Казань под свою высокую руку и прислать им наместника из русских бояр.

Иван Грозный на это согласился и назначил казанским наместником князя Семена Микулинского. Последний приехал в Свияжск и вызвал туда из Казани «лучших людей» для принесения присяги на верность рус-

скому царю. Приехавшие князья и вельможи присягнули, но когда после этого все, во главе с Микулинским и его свитой, отправились в Казань, ее ворота оказались запертыми: сторонники Крыма, воспользовавшись отсутствием своих политических противников, подняли в городе мятеж и захватили власть.

Князь Микулинский вынужден был возвратиться в Свияжск, так как войска при нем не было, а в Казани был провозглашен царем астраханский царевич Едигер-Мухаммед, ставленник Турции, который при вступлении на престол дал всенародную клятву быть непримиримым врагом Москвы. Одновременно с этими событиями, крымский хан Девлет-Гирей, со своей ордой и с турецкими янычарами, вторгся в русские пределы, дошел до Тулы и осадил ее.

Всё это привело Ивана Грозного к решению раз и навсегда покончить с Казанским царством. Во главе стопятидесятитысячного войска в июне 1552 года он выступил в поход, отогнал крымцев от Тулы, а в середине августа осадил Казань. Ее тридцатитысячный гарнизон отчаянно защищался, отвергая все предложения сдаться и за это получить полную пощаду. Наконец, 2 октября русским удалось при помощи подкопов взорвать крепостные стены и Казань была взята приступом, после многочасовой резни на улицах.

Царь Едигер, запершись во дворце, продолжал упорное сопротивление, пока его не схватили и не выдали русским сами же татары. Иван Грозный приказал перебить всех мужчин, защитников Казани, а город отдал на разграбление своему войску. Но к Едигеру он отнесся милостиво: заставил принять крещение, а потом подарил ему двор в Москве и даже окружил некоторым почетом. Позже Едигер, в качестве русского воеводы, участвовал во многих его походах.

Вслед за Казанью были покорены и все подвластные ей земли. Упорней и дольше других сопротивлялись башкиры, но через два года и они были приведены к повиновению.

Время от времени кое-где еще вспыхивали восстания, которые обычно поддерживала Ногайская Орда, и полного замирения края русским удалось добиться только через пять-шесть лет. Достигнуто это было не столько силой оружия, сколько разумной политикой Москвы. Ее хорошо характеризует хотя бы следующий пример: в 1555 году была учреждена казанская епархия, глава

которой, епископ Гурий, получил строгий наказ: никого не крестить насильно, не допускать никакой хулы на мусульманскую веру, обращаться с магометанами по-отечески и никому из них не отказывать в своем заступничестве.

Казанское царство пало, просуществовав 114 лет. С той поры царем казанским по традиции титуловался русский государь.

СОДЕРЖАНИЕ

М. Д КАРАТЕЕВ

Железный Хромец. Возвращение

Редактор В. С. Хабарова
Художник В. Я. Вигант
Технический редактор Т. Ф. Панкратова
Корректор Н. И. Смирнова

Сдано в набор 10.04.92. Подписано в печать 05.06.92.
Формат 84×108 1/32. Бумага тип. № 2. Гарнитура литературная.
Печать высокая. Усл. печ. л. 21,84. Усл. кр.-отт. 22,58.
Уч.-изд. л. 22,58. Тираж 50 000. Заказ 235.

МП «Апрель», 113184, Москва, Озерковская набережная, 8.

Типография ИПО Профиздат, 109044, Москва, Крутицкий вал, 18.